

Роман «Шарлотта Исабель Хансен» был признан самой успешной книгой года и удостоен премии книготорговцев (*Booksellers' Prize*).

Type Ренберг

ШАРЛОТТА
ИСАБЕЛЬ
ХАНСЕН



Jore Renberg

CHARLOTTE ISABEL HANSEN

SHOUT
SHARE

IT



Annotation

Ярле Клеппу двадцать пять, он без пяти минут выпускник университета, подающий блестящие надежды исследователь творческого метода Марселя Пруста. Он вполне счастлив своим рафинированным академическим существованием и необременительными отношениями с красавицей Хердис. «Жизнь на службе у мысли» — такой видится ему собственная судьба. Пока однажды он не получает официального предписания пройти ДНК-тест на установление отцовства. Для Ярле это как гром среди ясного неба. Теперь от столкновения с реальной жизнью ему не уйти, придется срочно повзрослеть. Но хочет ли Ярле, способен ли он, сумеет ли?..

- Type Ренберг

- Часть первая

- Какой сегодня день
 - Темперированный полутон
 - Бабочка
 - Поня моя
 - «Girl Power»[9]

- Часть вторая

- А что значит «феминистка гребаная», папа?
 - Это было большой-большой ошибкой, Ярле
 - Французское совещание
 - «Spice Up Your Life»[19]
 - Тайна
 - Лотта давно уже поняла это
 - Мы должны сделать для Лотты что-нибудь здоровое, что-нибудь позитивное, говорит бабушка, и Ярле уходит на встречу с Робертом Гётеборгом, предполагая, что увидятся они в последний раз
 - Плевать на эту жалкую газетенку «Моргенбладет», пропади она пропадом!
 - Анетта Хансен

- Часть третья

- Иногда я смеюсь, потому что боюсь бояться, говорит Лотта, а вскоре после этого Ярле приходится выслушать мнение Сары о том, что она увидела и услышала
 - С днем рождения, Шарлотта Исабель!
 - Tamagotchi is a tiny pet from cyberspace who

needs your love to survive and grow[29]

■ Ведь будет день и завтра!

☐ О романе

• notes

- ☐ 1
- ☐ 2
- ☐ 3
- ☐ 4
- ☐ 5
- ☐ 6
- ☐ 7
- ☐ 8
- ☐ 9
- ☐ 10
- ☐ 11
- ☐ 12
- ☐ 13
- ☐ 14
- ☐ 15
- ☐ 16
- ☐ 17
- ☐ 18
- ☐ 19
- ☐ 20
- ☐ 21
- ☐ 22
- ☐ 23
- ☐ 24
- ☐ 25
- ☐ 26
- ☐ 27
- ☐ 28
- ☐ 29

Туре Ренберг
Шарлотта Исабель Хансен

Посвящается Петру и Аллану

Часть первая

Какой сегодня день

Когда Ярле Клепп в субботу, 6 сентября 1997 года, вышел из зеленой двустворчатой двери своего дома, он не знал, что это за день такой. Сентябрьский свет сеялся сквозь кроны деревьев в Нюгорс-парке, воздух был чист и резко отдавал мятой, как бывает, когда лето, устав сиять, вынуждено уступить место осени. Ярле застегнул молнию короткой черной куртки и тихонько покачал головой.

— Господи! — пробормотал он себе под нос. — Как это может быть?

Он провел рукой по свежевыбритой голове.

— Господи! — повторил он. — Как это может быть, в самом-то деле?

Он похлопал руками по куртке, нашел во внутреннем кармане мятую пачку «Мальборо», извлек из темных джинсов зажигалку и посмотрел на нее против солнца.

Со стороны улицы на блестящей черной оградке сидели четыре птички и поглядывали на него.

Ярле остановился.

Тельца птичек напоминали теннисные мячики, у них были печальные анонимные глазки и эдакие лапки гусеничками, какие часто бывают у птичек. Они не поспешили взлететь, они не издавали никаких звуков; птички просто сидели там, неподвижные и ненастоящие, будто фигурки из чугуна.

Он так и стоял, во рту было сухо, в голове — сауна. Он и поспал-то самое большее три часа. Всю ночь он пропьянствовал вместе с другими старшекурсниками, в конце концов оказался с компанией дома у Роберта Гётеборга, профессора-литературоведа, а потом — когда профессор капитулировал, сложив голову на собственный кухонный стол, — между сырного цвета ляжек Хердис Снартему.

Ярле осторожно отвел глаза от сосредоточенно переваливающихся с боку на бок птиц и нервно огляделся, медленно поворачивая голову. Он посмотрел вдаль, в сторону бакалейной лавки на углу, и, когда увидел, что та закрыта, по его телу разлилось неприятное ощущение.

Месяцами Ярле каждую субботу по утрам заходил туда и пытался убедить хозяина, толстого мужика Эрнана из северной части Венесуэлы, пышноусого, с волосатыми руками и многочисленным семейством, расширить ассортимент, чтобы в нем присутствовал и еженедельник для интеллектуалов «Моргенбладет», а не только таблоиды, комиксы и порнография.

Но Эрнан лишь посмеивался, он так посмеивался каждую субботу, дошло до того, что он начинал посмеиваться, уже когда Ярле входил в дверь; он смеялся от души, широко открыв рот и прижав руки к колыхающейся груди, и приговаривал: «Вот, Ярле, пожалуйста, яблоки, вот груши, вот вам пиво и шоколад, но «Моргенбладет»? «Моргенбладет»? Ха-ха». Последние несколько недель Эрнан даже начал называть самого Ярле Моргенбладетом. «Ага, вот и Моргенбладет пожаловал», — говорил необъятный мужик и посмеивался.

И вот наступило еще одно субботнее утро, и никакого вам Эрнана, и никакого несчетного семейства из Венесуэлы, а только закрытая лавка. Прищуренные глаза Ярле неуверенно скользнули дальше, в сторону шоссе.

Нет. Ни машин. Ни людей. Он скрипнул верхними клыками о нижние, подвигал челюстями и направил испытующий взгляд в сторону университетского холма. Нет. И там ничего. По тропинкам парка не выгуливали собачек старые дамы. На зеленых скамейках не сидели, завязывая шкурки, тяжело дышащие любители утреннего бега трусцой. По склонам не поднимались резвые студенты с распечатками учебных материалов под мышкой и флировальными мыслями в голове.

Никого.

На лбу у него проступил пот.

Вокруг не было ни души. Только тишина. Только покой.

Все так же неподвижно сидели на оградке четыре птички, все так же анонимно и печально вглядывались они в пространство, и Ярле пришлось признать, что он чувствует откровенный и непонятный страх. Уж так было тихо там, где он стоял под этим резким сентябрьским светом, — как-то противоестественно тихо.

«Госсподи! — пробормотал он про себя. — Госсподи, что же это такое?»

Тихо было не так, как бывает в большом городе пасхальным утром, и не так, как бывает майским вечером в затерянном в лесной чаще домишке; этот покой шел не от природы. Тихо было так, как только когда случается что-то ужасное, возможно, странное, но все равно сплывающее людей.

Птички взлетели, когда позади него открылась дверь и вышла соседка, женщина лет тридцати с небольшим, имени которой Ярле не помнил, но знал, что она чем-то занимается в районной администрации — строительной документацией?

Охраной зданий?

Текущим ремонтом?

— Привет, — сказала она и размеренно кивнула два раза, и

рот у нее сложился в какую-то кроткую улыбку. Улыбалась она понимающе, как показалось Ярле, и по какой-то причине горестно.

Он кивнул в ответ с ощущением, что ему надо бы изобразить на лице сочувствие, — может, он чего-то не знает? Она лишилась кого-то из близких? Следует выразить соболезнование? Так что он пожал плечами и приподнял брови.

— Господи, — сказала женщина, вид у нее был слегка экзотичный из-за необычно широко расставленных глаз, — так странно, правда?

Ярле тщательно порылся в мыслях, с облегчением оттого, что она явно не понесла какой-то личной утраты, о которой он должен был бы знать. Странно?

— Ну да, — сказал он и решительно сжал зубы, так решительно, что они щелкнули, — конечно.

— Да-а.

Женщина вздохнула, поиграла скулами и привычно на ходу обернулась:

— Даниэль! Мама ждет! Быстро сюда! — Так же быстро и так же привычно она, не двигаясь, меланхолично повернула к нему свою несколько эскимосскую голову: — Серьезно, все как будто — ну, не знаю... Я просто думаю: ведь вот все это от нас так далеко, да и вообще, что нам-то до этого, собственно говоря? Даниэль! Не слышишь, что ли! Мама ждет! Иди сейчас же!

— Нда-а, — сказал Ярле, все еще роясь в памяти в поисках того, о чем она говорила. — Нда, верно. С чего бы нам, как ни посмотри, беспокоиться об этом?

Герда.

Да. Так ее зовут, эту женщину, которую Ярле никогда не мог представить себе ни пылкой, ни охваченной сильным чувством, но которая на самом деле, как он сейчас обнаружил, была весьма привлекательна, несмотря на неправдоподобно широко расставленные глаза. Да, Герда. Он разглядывал ее, стараясь изобразить интерес к этому таинственному дню, который так ее занимал. Герда была не просто привлекательна, какими оказывается большинство девушек, стоит только немножко поговорить с ними и разглядеть их, она была прямо-таки красивая. Нечто черепашье в лице не делало ее ни отталкивающей, ни смешной, совсем наоборот. До этой самой минуты она была соседкой, которую Ярле старался избегать, очевидно по столь простой причине, что она занималась чем-то там в *районной администрации* и у нее был сын, — две вещи, которые Ярле сложно было представить применительно к себе. Но теперь? Теперь — вот она стояла перед ним, она была пылкой и

привлекательной и с глазами, которые придавали ей ошеломляюще чувственный вид.

«Да-да, ну и Герда, ах ты, Герда», — подумал Ярле и ошарашенно кивнул, она же между тем сунула руку в сумку и выудила бумажный листок.

— Мне показалось, так здорово, что я это записала, — сказала она и протянула листок ему.

Вслушиваясь в ее голос, высокий и нежный, с завершающей каждое предложение хрипотцой, он посмотрел на листочек.

— Правда, отлично сказано?

Ярле прочитал написанное на бумажке предложение: «Someone's got to go out there and love people, and show it»^[1].

Госсподи! Да кто же говорит такое?

— Даниэль! Слышишь ты! Мама больше не ждет! Иди сейчас же! Сию минуту!

Он смотрел, как она, зовя сына, притоптывает каблучками по асфальту. Ярле попробовал, вручая бумажку назад, улыбнуться ей. Госсподи! Нельзя же такое говорить!

— Правда, отлично? — сказала она; а он слушал и удивлялся плавности и привычности ее перехода от непонятной меланхолии из-за чего-то, что, очевидно, произошло, к шумному раздражению из-за копушливости сына.

Ярле снова кивнул, не найдя более подходящего жеста, пробормотал, что да, это отлично сказано, «отлично и просто», — и вот только теперь закурил сигарету.

Но все-таки.

«И госсподи», — подумал он, когда она повторила это предложение прочувствованно и без стеснения: «Someone's got to go out there and love people, and show it».

Спаси и помилуй.

Она, вообще-то, понимает смысл этого предложения?

Какое оно неуклюжее?

Как если бы на свете не существовало любви, оно начинается оскорбленным «someone's got to», напоминающим единственно о тупых супругах, с возмущением высовывающихся из двери на веранду и орущих:

«Да, *кто-то* же должен убрать на зиму садовую мебель, и, уж конечно, это буду я!» — затем с грохотом захлопывающих за собой дверь. А что потом вытворяет это предложение? А вот что: оно продолжает в том же стиле, еще более настойчиво требуя справедливости по отношению к себе, еще более настырно требуя любви, как если бы оно исходило из уст миссионера, потому что что же должен сделать этот оскорбленный «someone»? Ну что, а вот то, что он или она должны «go out there and love people». А это

возможно? Что это еще за проект в духе Христа, что это за мероприятие такое мессианское? «Go out there» и люби людей? И что это значит? *Что* это?

Go out there?

And «love people»?

И, как если бы этой мелкотравчатой, наивной, более того — просто дебильной чуши было недостаточно, добавлен последний кусок: «And show it».

Значит, тот или иной «someone» должен отложить в сторону то, чем он или она нормально занимаются, отправиться прочесывать улицы, останавливать людей, выходящих из своих домов, останавливать людей в магазине, останавливать людей у прилавков рыбных магазинов и говорить им: «Здравствуйте, я вас люблю», улыбаясь по-детски и обнимая их?

Так, что ли?

«И какой такой дурик типа Боба Гелдофа^[2] заставит себя *такое сказать*? И кто себя заставит *записать такое*? — думал Ярле, разглядывая стоящую перед ним ужасно прекрасную женщину. — Кто же это заставит себя *носить такое в сумке*, как если бы это было изображение любимого человека, и *показывать его всем*, не стесняясь своей собственной мелкотравчатой и наивной сентиментальности?»

— Ну, — пробормотал он, переступив с ноги на ногу, — мне пора, наверное. У бакалейщика вон закрыто сегодня. Не знаешь почему, а?

— Знаю, — сказала женщина, которую, как казалось Ярле, вроде бы звали Гердой; потом она подняла правую руку, прося его минутку погодить, резко распахнула дверь в подъезд, молниеносно всунула в нее голову и не то что крикнула — нет, заорала: — Даниэль! А ну иди! Кому говорят!

Ярле слышно было, как захлопнулась дверь на третьем этаже, как звонко отдается топот детских ног от стен лестничной клетки, а Герда меж тем, улыбнувшись, как и до того, с видом всезнайки, произнесла:

— Знаю, совершенно очевидно, почему у Эрнана сегодня закрыто, ага. Это же, понимаешь, интернациональное событие. Чувства глобальны, пойми, Ярле.

Чувства глобальны.

Ему не послышалось?

Герда продолжала:

— Такие вот дела. Ох уж эти детки. Ну. Странно, конечно, что такие вещи так цепляют. А вот поди ж ты. Цепляют, на самом деле. Заставляют думать. Я посмотрю у подруги. Ты ведь тоже идешь с кем-то вместе смотреть, да?

Что смотреть?

Из двери выбежал маленький мальчик со взъерошенными волосами, в тоненьком голубом дутике и с ключом, висящим на веревочке на шее, и соседка на автопилоте выудила из сумки вязаную шапку, которую она ошеломляюще споро, как показалось Ярле, нахлобучила мальчугану на голову.

— Ветрюга сегодня — ты знаешь, что мама говорит в таких случаях, тем более что у тебя вечно уши болят. И никаких «но». О-о-ох, Даниэль, Даниэль, когда мама тебя зовет, когда мама сто раз сказала, что пора идти, если мы не хотим опоздать, то нужно идти, ты понял?

Вытаращив глаза, мальчик быстро вдохнул и выдохнул, кивая:

— Но, мама, мама, а карточки покемон! Я не мог найти карточки: покемон!

Ярле смотрел, как мальчик, силясь объяснить матери, что произошло, протягивал ей стопочку карточек, очень даже похожих на карточки с разными футболистами, которые и у него самого были в детстве, и отчаянно тряс головой.

Сколько же ему может быть лет?

Пять?

Может, десять?

Или, может, семь?

Герда снова повернулась к нему:

— Ох уж эти дети!

Ярле игриво прищелкнул языком и опустил перед мальчуганом на корточки:

— Ну-ка, сколько же этому мужичку лет, а?

Мальчик тут же со скептической миной отпрянул, а его мать сказала:

— Семь, Даниэлю семь лет.

Ярле поторопился выпрямиться и посмотрел на наручные часы.

— Ой нет! — сказал он, как бы удивившись. — Как время-то бежит, ничего не успеваю, нда, есть время внешнее и есть внутреннее, — воскликнул он со смехом и сразу же сам услышал, как его попытка придать простонародный оттенок сразу и Бергсону, и Прусту с треском провалилась. — Ну ладно, — поторопился он сказать. — Ярле Клеппу пора идти, есть у него дело в аэропорту.

— Ах да, ведь ваша мама приезжает в гости? — сказала Герда и забрала из рук сына карточки покемон. — Ну, ты же их потеряешь или испортишь. — Она опять взглянула на Ярле. — Какая у вас мама милая! Когда она приезжала прошлый раз, мы с

ней разговорились; она тогда зашла попросить у меня гладильную доску, чтобы погладить вам рубашки.

— Нет-нет, это не она приезжает, — поторопился возразить Ярле, сконфуженно вспоминая, как мама вышла в гостиную, держа в руках все его рубашки и качая головой; она сказала, что в этом доме явно никто никогда не гладит, а потом убежденно заявила, что нет ничего стыдного или неприличного в том, чтобы одолжить гладильную доску у соседей. Что тут такого?

— Кто же тогда приезжает? Ваша девушка? — Герда улыбнулась широкой сердечной улыбкой и обнажила два прелестных заячьих зуба, которые каким-то неожиданно симметричным образом подходили по стилю к широко расставленным глазам и как-то даже украшали ее лицо; получалось, что зубы — это было украшение, а глаза с неожиданно длинными ресницами, которые Ярле обнаружил, как раз когда она улыбнулась, являли собой тщательно декорированное крепление украшения.

Сын тянул ее за руку:

— Мама, ты же говорила, что нам пора! Эй, мама! Ты же говорила, что мы опаздываем!

— Нет, Герда, — сказал Ярле, отметив про себя, какими надоедливymi бывают дети, — не девушка.

Она рассмеялась:

— Меня Грета зовут. Да, Даниэль! Да! — Она опять рассмеялась, а сын еще сильнее потянул ее за руку. — У тебя в голове все книги да книги, да? Это тебе же нужен у Эрнана журнал какой-то, да? Как там его — «Моргенбладет», кажется?

Ярле смущенно кивнул.

— Ой, он так весело над этим смеется, — продолжала она. — Ты ведь не обижаешься, правда? Да нет, конечно нет. У тебя ведь есть чувство юмора? А меня зовут Грета, вот. Ну ладно. Ну и кого тогда?

Ярле опешил:

— Что «кого тогда»?

— Кого встречаешь?

— А-а-а, кого я встречаю... понятно. — Он провел языком по передним зубам. — Спрашиваете, кого я встречаю. Ну... — Ярле призадумался. — Нуу... *Грета...* как бы это сказать...

Ощущая страшную неловкость из-за того, что перепутал ее имя, и из-за того, что не знал, что это был за такой удивительный день, утомленный ужимками семилетнего мальчугана, дергающего мать за руку и демонстрирующего эгоистичное нетерпение, присущее всем детям, слегка оскорбленный дурацкой байкой о «Моргенбладет», которую она рассказала,

растревоженный ее последним вопросом, на который он никак не мог придумать подходящего ответа, к тому же растерявшийся из-за разговора с человеком, к которому он чувствовал сильное, чуть ли не колоссальное влечение и который в то же время казался ему непропорционально простоватым и глуповатым, Ярле извинился, назвал ее по имени «Грета», криво улыбнулся и распрощался, двинувшись прочь по улице.

«Господи!» — пробормотал он про себя.

Он остановился, сунул руку в задний карман брюк, проверил, не потерял ли.

Нет. Не потерял.

Он поспешил дальше.

Он почувствовал, что страшно устал.

А еще и резкая, пронзительная головная боль.

«Господи, — подумал он, — как это может быть?»

Уже немного свыкнувшись со звенящей тишиной этого дня, Ярле поскорее миновал питейное заведение «Хюлен» и поплелся наверх, к студенческому центру возле Ботанического сада, а потом спустился к отелю «Норвегия» на площади Торгалменнинген.

Он больше не пугался тишины, поняв, тем не менее не без определенного любопытства, что принадлежит к несведущему меньшинству. Очевидно, была на то своя причина, чтобы и магазины были закрыты, чтобы практически не ездили по дорогам автомобили и чтобы на улицах было так мало народу.

Грустная, а может, печальная, а может, величественная причина, о которой он понятия не имел. Он начал задумываться о том, не приостановлено ли и движение автобусов до аэропорта по причине того, что ему неизвестно, но автобус вывернул на остановку возле отеля за пару минут до того, как он туда подошел. Он заплатил и сел. На сиденье перед ним оказалась пожилая женщина со свежим перманентом. По колышущимся волнам плыла лиловая шляпка с темно-синей ленточкой вокруг тульи, и на какую-то минуту Ярле заулыбался себе под нос, когда ему пришло в голову сравнить кудри дамы с морем, а шляпку — с суденышком. Он наклонился чуть вперед и увидел, что она чем-то напоминает ему бабушку, с которой он так много времени проводил ребенком, и он почувствовал укол совести из-за всех не написанных им писем и из-за всех писем, которые она ему присылала, пока он учился в Бергене. Каждое из них начиналось словами «Мой дорогой Ярле», и в каждом подробно рассказывалось о том, как проходят бабушкины дни, и каждое заканчивалось тем, что она выражала свое «полное понимание» того, что он отвечает лишь на одно письмо из четырех, и что она,

хотя она «старая женщина, которой не довелось получить хорошего образования», понимает, «и очень хорошо», что положение «студента» требует «от него полной отдачи сил и полной концентрации» и что он не может в любой момент взять да отбросить «обширную программу чтения и глубоких исследований» ради того, чтобы писать письма старой женщине, которая коротает дни, играя сонаты Листа на пианино в гостиной, бесконечно обращаясь к воспоминаниям о прошлом и наводя порядок в доме.

Но разумеется, подумал он, в то время как пожилая дама обернулась и послала ему тот же печальный многозначительный взгляд, с которым предстала перед ним несколько минут назад соседка, — разумеется, он это может. Разумеется, он может писать письма бабушке. Так почему он этого не делает? Он поерзал на сиденье. Достал из кармана листок и положил себе на колени. Теперь у него будет много чего ей рассказать. Не обязательно о занятиях, подумал Ярле, разобраться в которых ей мешает недостаток знаний, — как бы он, у кого когда-то были такие «шикарные волосы», как всегда приговаривала бабушка, когда он приезжал домой летом или на Рождество, но всегда с гладко выбритым черепом; как бы он мог объяснить бабушке, родившейся в то время, когда разразилась Первая мировая война, бабушке, которая провела жизнь в заботах о детях, о муже, о порядке в доме, — как бы он мог разъяснить ей теорию современного литературоведения?

Или уж, раз на то пошло, как бы он мог только подступиться к тому, чтобы попробовать это разъяснить? Но теперь у него будет много о чем ей рассказать. Не об университетских буднях, которые показались бы ей поразительно чуждыми. Бабушка ни разу не пригубила даже стаканчика дамского пива — разве ей расскажешь, что не реже трех раз в неделю с тех пор, как он прибыл в Берген на пароходе «Хюствейен» ранним осенним утром 1991 года, он литрами заливал в себя алкоголь? А разве расскажешь об ужасном разрыве с Леной? Он не мог бы рассказать ни этого, ни того, что он состоит в исключительно физиологических отношениях с блестящей ученицей Роберта Гётеборга, аспиранткой Хердис Снартему, которая старше его всего на шесть лет, а норвежская интеллигенция уже связывает с ней свои надежды на будущее феминизма.

Нет.

Зачем рассказывать такие вещи своей бабушке?

Что хорошего может из этого выйти?

Это неискренность — что не рассказываешь своей бабушке всего?

Ярле так не считал. Ярле считал, что и у него, и у бабушки был собственный мир, который принадлежал только им и в котором ни бабушка не рассказывала ему всего о своей жизни, ни он не рассказывал бабушке всего о своей, но при этом — и, может быть, именно поэтому? — оба они любили бывать в этом мире. Потому что, ну все-таки... Бабушка и алкоголь? Бабушка и авангардистские теории Роберта Гётеборга? Бабушка и феминизм?

Но он мог бы написать ей. Он мог ей рассказать шепотом о том, что должно произойти сейчас. О том странном, из-за чего он был так раздражен, чего стыдился и к чему не знал, как отнестись.

О том, чего он никому не рассказал. Ни маме, никому из приятелей, ни Хассе, ни Ариллю, да и себе-то даже — было у него такое чувство — тоже не до конца. Или рассказал?

Рассказал себе самому?

Дама снова обернулась к Ярле. Тот же сочувственный взгляд во ввалившихся от возраста глазницах, те же поддакивающие, всепонимающие кивки, та же лиловая шляпка плывет по волосам.

— Печальный какой день, — сказала она слабеньким старушечьим голосом.

И Ярле снова не понял, что же нужно сказать, он еще раз почувствовал себя вынужденным согласиться с чем-то, о чем он понятия не имел, и он бесстрашно улыбнулся ей и сказал:

— Да, пожалуй.

— Может быть, в аэропорту удастся посмотреть, — сказала дама, и Ярле увидел, как она напрягается, чтобы повернуть старую голову. — Как вы думаете, — продолжала она, — может, нам удастся хоть чуточку увидеть в аэропорту?

— Э-э-э... — Он выдвинул челюсть вперед и выдохнул: — Нну, наверное? Может быть?

— Да. Может быть. А я встречаю внучку, она летит из самого Осло.

— Это хорошо, — сказал Ярле. — Я тоже еду встречать... одного человека.

«Господи! — подумал он, услышав свои слова. — Человека!»
Зачем в мире нужен еще один ребенок?

Требуется ли здесь еще одна светловолосая и наивно радующаяся заморочка, которая будет интересоваться, далеко ли до Луны, будет ломать свою деликатную головенку над тем, умеют ли плакать цветы и кто это обрывает листья с деревьев осенью?

За четыре недели до самого тихого дня 1997 года Ярле вернулся домой после изматывающего коллоквиума, на котором

он пытался объяснить группе студентов-первокурсников разницу между тем, что собой представляют означающее и означаемое, с одной стороны, и знак и референт — с другой. То, что цыплятошие кадеты были не в состоянии уяснить даже простейших элементов современной теории знаков — элементов, без основательного знакомства с которыми невозможно вообще ничего понять в современном литературоведении, раздражало Ярле, и с этим раздражением он вскрыл письмо, которому предстояло изменить его жизнь.

Разумеется, получая письмо из полиции, человек реагирует с изумлением, и для Ярле, которому было присуще постоянное ощущение того, что он что-то сделал не так, или неприятное предчувствие того, что он вот-вот сделает что-то не то, получение такого письма было просто пугающим событием. В пальцах стало зудеть и покалывать, когда он увидел собственное имя на письме, где отправителем значилось управление полиции, и он взбежал по лестнице к своей квартире, как если бы за ним гнались, запер дверь и подсел к кухонному столу, на который и положил письмо. Он обошел вокруг кухонного стола три раза. Он поднял конверт, подержал в руках и долго разглядывал его в этот августовский день, незадолго до которого он сказал громко, почти сердито: «Сигнификант и сигнификат — это исключительно межзнаковое отношение, вы должны это уяснить, иначе вам не стоит даже приступать к чтению хотя бы коротенькой статейки из написанных Деррида, или Женетом, или Полем де Маном!» Письмо из полиции. Ему. Ярле Клеппу. Он смущенно рылся в памяти: что же такое он мог натворить, разве что незаконно совкуплялся на свежем воздухе? Может, кто-нибудь, какая-нибудь пожилая дама видела, как он поздним июльским вечером стоял в Нюгорс-парке со спущенными брюками, прижимая руками с обеих сторон бедра Хердис Снартему, которая, со своей стороны, обхватив руками ствол дерева, склонив затылок, выгнув позвоночник и распустив по плечам волосы, повторяла: «Входи же, властелин радости, входи! Будь! Моим! Гостем!»?

Видела ли какая-то пожилая дама, как Ярле вдвигается в эту женщину-линкор, вышла ли какая-то пожилая дама на вечернюю прогулку со своей собачкой и увидела, как он, гордый и счастливый, восходит на борт того корабля, каковым является радушный передок Хердис Снартему, и нашла все это столь отвратительным и низким, что послала письмо в полицию с жалобой на нарушение общественного порядка и покоя?

Или это из-за шума в его квартире?

Неужели соседка, женщина с широко расставленными черепашьями глазами, с которой он едва перебрасывался

короткими фразами из вежливости, заявила на него в полицию из-за шума в квартире и нарушения общественного порядка и покоя, когда на вечеринке, которую он устроил в начале августа, все как-то пошло вразнос, когда попойка все никак не прекращалась, пока не рассвело, да еще и позже?

Ярле с опаской вдохнул, так же с опаской выдохнул.

Он присел к кухонному столу и вскрыл конверт.

Ярле читал.

Ярле читал и не верил своим глазам.

Что?

Возможно ли это?

Он отложил письмо в сторону, тотчас же снова взял его в руки, перечитал его.

Да возможно ли это, действительно?!

Ребенок?

Маленький ребенок?

У него, Ярле Клеппа, есть ребенок?

И он, Ярле Клепп, отец?

Ребенка?

Полиция, в соответствии со сведениями, которые предоставила гражданка Анетта Хансен, направляет его на сдачу анализа крови для подтверждения отцовства.

Анетта Хансен?

И этому *ребенку*, оказывается, скоро должно исполниться семь лет, говорилось там; скоро семилетняя девочка, и он, получается, ее отец.

Нет. Нет! Он обливался потом, он моргал, у него пересохло во рту.

Нет, тут какая-то ошибка. Ярле поднялся из-за стола, обошел вокруг три раза с письмом в руке, резко нагнулся над раковиной, открыл кран и попил, потом отошел и снова сел. Ладно. Только спокойно. Не надо волноваться. Во-первых, это совершенно невозможно. Вот из чего следует исходить. Кто-то ошибся. Такого просто никак не может быть. Вот так.

И не надо волноваться. *Семь лет* назад? Нет. Нет. Неужели он семь лет назад сделал кому-то ребенка? В... что там получается... так давно... да... в 1990 году?

Анетта Хансен?

Что, к чертовой матери, за *Анетта Хансен*?

Чушь собачья! С какого *фига*!

Перечитывая внимательнейшим образом письмо в третий раз, он оскорбленно и самоуверенно покачивал головой. Нет. Нет. Этот ребенок и его, судя по всему, бесповоротно помешанная мамаша проживают в Шеене, написано там. Смехотворно. Шеен?

Да он в жизни не бывал в Шеене! Какого рожна ему бы взбренило делать в *Шеене*? И вот теперь, значит, этой мамаше заблагорассудилось *сочинить* отца своему ребенку, и это — простите! — должен быть он?

«Всему есть предел. И он, совершенно ясно, проходит здесь, — подумал он. — Хороши же дела в обществе, если кто угодно спихивает свое отродье на абсолютно чужих людей и требует, чтобы они тебя называли «папой»! Где приверженность корням? — подумал Ярле и покачал головой. — Где стабильность? Да что же это за общество такое, что за раздрай? Это предел, — подумал он во второй раз за короткое время, — здесь проходит предел тому, в какие совершенно не имеющие отношения к тебе вещи можно втянуть человека». И что же он должен сделать, чтобы очистить свое имя от посягательств этой Анетты Хансен?

Анетта Хансен.

Ну и имя. Оно какое-то чуть ли не придуманное, казалось ему.

Госсподи.

Анетта Хансен.

Надо же ей было из всех самых заурядных имен назваться именно этим: Анетта Хансен?

Ярле замер. Письмо выскользнуло из пальцев, и он увидел, как задрожала правая рука.

Анетта Хансен!

В горле набухло, в груди поднялась тошнота, он прокашлялся и сплюнул в раковину.

Анетта Хансен!

Мелкая, напуганная Анетта Хансен?

Ярле заходил взад и вперед по комнате. 1990-й? Да возможно ли это? Он сглотнул, он схватился за голову, он нарезал круги по комнате. Если это действительно так, если хватило такой малости — тогда... тогда... да, тогда... Ярле открыл дверь на лоджию и глубоко вдохнул. Ну и черт! Он же ничего из этого не помнил! Она же еще в школе училась! Она еще только в переходный возраст вошла! Или, кажется, переходный возраст у нее подходил к концу?

Это было черт те что, а не праздник. Старший класс гимназии, так, что ли? Так. Вечеринка у нуворишей на помпезной вилле, на одном из островов, образующих город Ставангер. Он с его группой сыграли жутко неудачно, и он пошел вместе с приятелями на этот праздник и накачался таким количеством алкоголя и легких наркотиков, сколько влезло, и значительные куски этой ночи провалились в бездонный, лишенный

воспоминаний кратер. Анетта Хансен? Госсподи. Он не мог вспомнить, как он с ней познакомился. И что ему от нее было надо?

Что уж, такая хорошенькая была? Положил на нее глаз уже к концу ночи, в толчее пьянки, и рока, и гама, она там стояла, вроде бы как стеариновая свечка в тумане, с сияющими глазами и застенчивыми губами? Он этого не помнил. Анетта. Хансен. Все, что он знал, — это что на следующий день он проснулся на двуспальной кровати и рядом с ним лежала девчонка из средней школы, ноги в носочках, но в остальном голая, трусы вокруг щиколотки.

Как она выглядела?

Он не помнил.

Кто она такая была?

Он понятия не имел.

Ведь он с ней вообще не разговаривал.

Насколько ему было известно, он с ней и словечком не перекинулся. Ну кто же рождает детей от людей, с которыми даже никогда не разговаривал!

Он?

Это у него ребенок с девчонкой, с которой он даже не разговаривал?

Ярле коротко и категорично кашлянул.

Может, они и разговаривали, пьяные в дугу, той январской ночью 1990-го, по пути в ту комнату? Теперь и не узнать. Насколько ему было известно, между ними ничего иного не произошло, кроме соития.

Результатом которого оказался ребенок.

Маленький ребенок.

Которому скоро будет семь лет.

У которого теперь, уже почти через семь лет после рождения, будет отец.

Госсподи.

«Ну зачем нужен еще один ребенок на свете? — подумал он и в ярости швырнул письмо в угол, к долгоиграющим пластинкам. — Ну на что нужна на свете еще одна светловолосая девчонка — (ему представлялось, что у этой девочки, для которой он, должно быть, отец, светлые волосы до плеч), — на что нужна на свете еще одна девчонка, топающая по дорожкам в красных туфельках, играющая... во что-нибудь там, во что они играют, маленькие девочки? На что нужна на свете еще одна развеселая и наивная девчонка, которая будет спрашивать о... о чем там они спрашивают, маленькие девочки?»

А Луна далеко?

А цветы умеют плакать?

Или — кто это срывает листья с деревьев осенью?

И на что нужен девочке, которой скоро будет семь лет, такой отец, как Ярле Клепп?

«У меня и времени-то на это нет!» — думал он тем августовским днем 1997 года, разглядывая направление в медицинскую лабораторию для сдачи пресловутого анализа крови. Все в порядке было с утверждениями Анетты Хансен.

Ярле Клепп был биологическим отцом ребенка.

По требованию властей медицинский анализ был произведен, и ему пришлось признать, что он, исследователь ономастики Пруста, до такой степени исследователь, что его научный руководитель Роберт Гётеборг неоднократно по разным поводам выказывал свое шведскоязычное восхищение «твоей работой, Ярле, она блестяще замыслена и столь же блестяще выполнена», — ему пришлось признать, что он был отцом.

Что он уже семь лет был отцом.

Не сознавая этого.

Каждый божий день, каждый учебный день и каждую налитую алкоголем ночь на протяжении всех его ученых девяностых годов он был отцом. Маленького такого ребеночка. И этот ребенок каждый день вставал и занимался тем, чем занимаются дети, — что бы это могло быть, думал Ярле, — и уже прошло почти семь лет, а он был отцом.

Это было совершенно невероятно.

Ходишь тут, осуществляешь одно совокупление за другим, более или менее безопасное и более или менее удавшееся, и вот результатом того из них, где ты вроде и не присутствовал, где ты существовал лишь в виде трахающегося тела, оказывается ребенок! Результатом чего оказывается, в свою очередь, что человек становится отцом? И сам человек — *отец* — *сама первопричина* — ничего об этом не знает?

Человек — отец, но человек сам этого не знает?

Сколько же у него, собственно, детей на свете?

Что же, он теперь будет вынужден считать любого ребенка, который пройдет по улице, который будет сидеть в автобусе, который будет покупать у Эрнана карточки, которые они все собирают, своим собственным? Что же, любая пара доверчивых глазенок будет высматривать его и вопрошать: «Папа?» Что же, всякий копошащийся в песочнице пятилетка с совком в руке и камешками во рту будет вопрошать: «Это ты, Ярле Клепп, мой папа?»

Не то чтобы он в своей жизни переспал с таким количеством теток, но все-таки, если есть этот шеенский ребенок, не отверяет

ли он двери всемирному мужскому страху?

Страху оказаться отцом всех? А как быть с будущей сексуальной активностью? Должен ли он теперь думать, всякий раз при попутном ветре заплывая в горячие фьорды к Хердис Снартему на якорную стоянку, что, собственно говоря, он подготавливает почву для будущего ребенка? Будет ли теперь так, что каждый раз, как Хердис Снартему приспустит лифчик, чтобы он мог прильнуть губами к одной из ее маленьких и празднично настроенных грудей, ему придется совладать с собой, потому что он будет знать, что это первый шаг по коридору к родильному отделению? Должен ли он будет, так сказать, слышать детский плач всякий раз, как увидит задницу Хердис Снартему? От которой у него мурашки начинали бегать по ладоням, стоило ему только подумать о ней? Которая начиналась еще от крестца и заканчивалась только далеко внизу, у бедер?

Каково?

Господи!

И — если отвлечься от того, что имело отношение к желанию, и только к нему, — было ли у него *время* на то, чтобы быть отцом?

Ясно, что не было. Это любой мог видеть, стоило только мельком взглянуть в сторону Ярле Клеппа. Хороший он или плохой, современный или старомодный, но у него не было времени на то, чтобы быть отцом. Это было ясно, думал он по пути домой из медицинской лаборатории, где у него, залившегося краской, взяли анализ крови и где полноватый врач говорил: «Угу, угу, нда, да-а-а, вот так, именно та-а-а-ак, да, угу, угу: вас Ярле Клепп зовут, правильно? Клепп? Ярле? Поздравляю! Вы отец!» Нет. Это было более чем ясно. «Для того чтобы быть отцом, требуется присутствие, — размышлял он, бредя вдоль озера Лунгегорс-ваннет, — присутствие и отдача».

У него было и то и другое, но онигодились для ономастики Пруста, той специальной области, которую он избрал для выпускной работы по литературоведению, для той захватывающей темы, которую он обнаружил в двенадцатитомном сочинении Марселя Пруста, этой почти маниакальной увлеченности французского писателя именами собственными и бросающимся в глаза уклонением главного героя от упоминания собственного имени.

Вот чему, главным образом, принадлежали его присутствие и отдача. Как им и подобало. Так что, заключил он, у него не было времени на то, чтобы быть отцом. Не говоря уже о пригодности. «А это все же было важнее», — сказал он себе. *Годился* ли он на то, чтобы быть отцом, подходил ли он для этого? Разумеется, нет.

И такие вещи необходимо основательно продумывать, невозможно пройти как курица лапой по такому сущностному делу, как забота о ребенке, и знаниям, которыми в таком случае необходимо обладать, и способностям, которые должны присутствовать. Одни созданы для одного, другие — для другого. «Можно же сказать, не рискуя быть названным фашистом, что для каждого отдельного человека есть подходящее место, — думал Ярле, — и подходящие занятия, с точки зрения того, что у каждого отдельного человека лучше всего получается». Вот у Ярле хорошо получалось мыслить. Это ему разъяснили — и сам Роберт Гётеборг, который неожиданно нарушил неписанные правила поведения в академических кругах и сказал, так тихо, чтобы показать, что эти слова предназначаются только Ярле, но ровно настолько громко, чтобы и всем остальным тоже было слышно: «У тебя особое дарование, Ярле, развивай и береги его!» — и Роберт Гётеборг, и Хердис Снартему, которая обожала и его тело, и его интеллект, как она выразилась. Он это понял. Несколько лет назад. Что он пригоден для этой абстрактной жизни. Этой аналитической, поэтической и абстрактной жизни.

Жизни на службе у мысли.

Он понял это, еще когда сдавал экзамен по введению в философию в конце первого курса, когда увидел, насколько легко ему удастся выполнить необходимое количество академических отжиманий, которые так тяжело давались другим студентам. Подтверждение этому он получил, изучая все предметы вводных курсов, сдавая все устные экзамены, на которых он с изумлявшим его самого блеском всегда ухитрялся своим языком заработать себе дополнительные баллы, причем даже по тем предметам, в которых он, строго говоря, совершенно не разбирался. Ощущение было такое, что все само шло в руки; подобное случается, когда видишь, как какой-нибудь мальчишка впервые выходит на футбольное поле и чисто инстинктивно проделывает с мячом все, что нужно. Ярле никогда не мог похвастать способностью запоминать факты, из-за чего он всегда уступал своим успевающим школьным друзьям, которые помнили годы и последовательность событий, прочитав о них разок, в то время как ему, чтобы запомнить что-нибудь, что ему было не очень интересно, приходилось по несколько раз повторять одно и то же. Но, оказавшись в ученой среде, он обнаружил, что ему и не требуется козырять фактами, как в первые школьные годы. И как только он раскусил этот код, как только он это осознал, он стал успевать по всем дисциплинам. Потому что в университете, и это он довольно рано понял, в гуманитарных науках, которые Ярле про себя никогда не рассматривал в качестве *наук*, но скорее в

качестве — как бы это сказать? *деятельностей? занятий?* — как раз ценили и культивировали аналитический, риторический интеллект — интеллект, не требующий ни капли знаний, но зато тем больше требующий всего, что характерно для *лжецов*, священников, торговцев, психологов, актеров и политиков: красноречия, находчивости, светскости, остроумия. И всем этим, как обнаружил Ярле, он обладал. На все это он мог без опаски опереться и культивировать это свойство, как какое-нибудь растение, так что способность при помощи языка вывернуться из любой ситуации очень ему пригодилась в университете. Например, когда он промахнулся на целое столетие, рассказывая о Декарте на экзамене по истории философии, и внешний экзаменатор почувал, что сидящий перед ним студент — настоящее дарование в том, что касается способности рассуждать и подавать свои рассуждения, но что это не тот студент, который *знает*, о чем говорит. Экзаменатор, мужчина, на лице которого бороды было больше, чем кожи, начал задавать резкие контрольные вопросы, однако Ярле каким-то витиеватым образом сумел отмести все подозрения, протянув тонюсенькую, как волосок, но все же полностью убедительную линию от Декарта — о котором он ничего не знал, которого он так и не прочитал, которого он даже поместил не в тот век — к неидентичности у Адорно, заявив: *«Цельный человек, идеал всех предшествовавших эпох, цель всех Декартов, — что бы представители франкфуртской школы, модернизма, Теодор Адорно сказали об этом так называемом цельном человеке? Неидентичность вставлена, если перефразировать Деррида, в несуществующее ядро»*.

Нда.

Жизнь на службе у мысли.

Вот где в конечном итоге было его место. А что в конечном итоге может быть важнее мышления?

Ведь достаточно же людей, годящихся для рытья канав, инженерных изысканий, работы в телефонных справочных службах, судостроении. Дело же не в том, что раз у него есть руки, то он *обязан* орудовать лопатой, как считают многие в той презирующей духовность стране, откуда он родом. Что, мол, человеку полезно копать в земле, или разносить газеты, или укладывать плитку и паркет, что человеку в любом случае здорово иметь опыт физического труда, как если бы жизнь моряка или жизнь лесоруба обладали большей ценностью чем, вот именно, *жизнь мыслителя*.

Это все полнейшая чепуха. Он и сам соглашался с таким ходом мыслей и отстаивал его не раз. Особенно раньше, когда его

по-юношески захватили идеи социализма и он чувствовал себя идеологически обязанным заигрывать с такими популистскими аргументами и по той же причине чувствовал себя столь же идеологически обязанным скептически относиться к «мыслительной работе», как Ярле теперь называл ее.

Мыслительная работа и была его работой.

«И мыслительная работа, очевидно, плохо сочеталась с отцовством», — говорил он себе.

Но отцом-то он был.

Это показал анализ крови, и это утверждала Анетта Хансен из Шеена, утверждала это настолько убежденно, что ей, значит, приспичило доказать это, вмешав в дело полицию. И нет, ей не хватило мужества позвонить ему, или договориться с ним о личной встрече, или по меньшей мере написать письмо, где она бы вежливо и испытующе напомнила ему о досадной ночи семь лет назад и изложила бы гипотетическую мысль, что он, возможно, является несчастным отцом ее счастливой дочери. Таки нет, чтобы это доказать, она обратилась напрямую к властям, и Ярле был не в силах не ощущать неодолимой ненависти и грызущей горечи из-за предпринятых ею действий с целью установления отцовства.

Но теперь оно установлено.

Он отец.

Но Ярле не смел никому об этом сказать. Он был не в силах упомянуть об этом маме, когда она позвонила из Ставангера, чтобы узнать, что он купил на деньги, подаренные ему на двадцатипятилетие, так что он рассказал только, какие академические радости Роберт Гётеборг прочил ему в сияющем будущем, что, вероятнее всего, «один прогрессивный норвежский литературный журнал» — было еще рано говорить о том, какой именно, но что один из наиболее значительных и прогрессивных, это было точно — займется подготовкой решения относительно публикации эссе, которое он сейчас пишет об ономастике Пруста, мало того, возможно, оно будет к тому же переведено на английский и напечатано за границей, и в тот день, когда Ярле обнародует свои исследования Пруста целиком, включая, если процитировать Гётеборга, «сенсационное в международном масштабе открытие и последующий анализ избегания пишущим упоминания своего собственного имени и того, что именно такой в одно и то же время риторический, семантический, биографический и стыдливый маневр заключает в себе», так вот, «в тот день, мама, — сказал он, — в тот день трудно предсказать, каковы могут быть отдаленные последствия этого». — «С ума сойти!» — сказала мама. «Кто знает, может быть, я получу работу

в иностранном университете!» — «Ярле, ты мой Ярле, — сказала мама, — у всех детей есть право на то, чтобы им улыбнулось солнце». — «Детей? — Ярле отпрянул с телефонной трубкой в руке. — Ты о чем — каких детей?» Мама засмеялась: «Да я про тебя, Ярле, ты же мой ребенок».

Нет, он ничего не сказал маме о скоро уже семилетней дочери, не заикнулся он о ней и друзьям, с которыми вместе учился. Что он должен был сказать?

«Я отец?

Я стал отцом?

Девочки из Шеена?»

Хорошо бы это выглядело! Он вынужден был признать, что все это провоцировало немало тягостных переживаний. Тягостно было, что он совсем не знает мать ребенка, что он переспал с ней, когда ей было семнадцать и она еще не окончила школу, и что он переспал с ней в столь абсолютно смехотворном состоянии опьянения, что ни он, ни она — думал он, во всяком случае, — ничего из этого не помнили. Мучительно — и неприятно — было то, что ему, потратившему значительную часть своей жизни на годами длившиеся мысленные разборки с собственным отцом, теперь самому пришлось стать отцом, да еще и ребенка, которого он даже не имел возможности воспитывать, даже если бы ему этого захотелось. И на более глубоком уровне мучительно было то, что он, Ярле Клепп, считавший себя самого человеком на службе у мысли, *на самом деле имел ребенка*. В чем состояло существо этого стыдливого румянца, трудно было бы описать, но в любом случае было мучительно, что ему придется иметь дело со всей этой *детскостью*, с этим детским миром, обрушившимся на него, что ему придется думать о детских вещах и вырабатывать свое отношение ко всяким таким вещам как... ммм... к чему там еще имеют отношение дети в наши дни?

К куклам?

К кукольной одежде и кукольным домикам?

Или они просто проживают свои дни, как нежные поцелуи на ветру, не разбирая, куда их понесет, то туда, то сюда, со своими веснушками на носу и режущимися зубками?

Фундаментально смехотворно», — думал он. Меж тем дама в лиловой шляпке обернулась к нему в третий раз за эту поездку в автобусе.

— И до чего же сегодня тихо, правда? — сказала она все тем же старушечьим голосом. — Не припомню, чтобы было так тихо, с тех самых пор как умер король.

— Да, — согласился он и улыбнулся, замечая, что она все больше напоминает его бабушку, — конечно; похоже, что так.

— А вы за кем едете-то, вы сказали?

— Нну-у, — промямлил Ярле, — да это моя дочка, вот.

— О, — сказала дама и улыбнулась так широко, как умеют улыбаться пожилые дамы, когда им рассказывают о детях. — О, вот это чудесно. Ваша дочка.

Да, жизнь не стоит на месте.

Жизнь?

Он не знал, что на это сказать. Не мог же он сказать то, что думает: что у него уже была жизнь, содержательная и существенная жизнь, что эта жизнь шла своей собственной бурлящей чередой, что ею определенно не управляло то, что она считала жизнью; поэтому он сказал:

— Ну да, конечно.

— Да, — сказала старая дама и снова улыбнулась, именно так, как умеют улыбаться только старые дамы, когда видишь, как все, что им довелось пережить, струится из их глаз. — Да, дети — это большое счастье.

Большое счастье?

Что на это сказать, он тоже не знал. Мог ли он сказать, что воспринимает это совсем наоборот? Мог ли он сказать этой чужой, но милой и красивой даме, что для него это мука, раздражающий фактор, возникший в совершенно неподходящий момент, просто-напросто совершенно неудобный, что он студент, старшекурсник, что он изучает ономастику Пруста, что он не хотел быть моряком, не хотел копать канавы или иметь детей, что ему на самом деле *нельзя* иметь ребенка, что он просто, если выразиться честно и напрямую, не был в состоянии или не хотел иметь ребенка? Мог ли он сказать, что он к тому же скептически относится к тому *культу детей*, который некритически распространяется на все, к этому преувеличенному фокусированию на детях — дети, дети, дети повсюду, к той идее, которую ему навязывали со всех сторон, что, мол, жизнь без детей — это несчастная жизнь?

Мог ли он сказать, что не согласен с этим? Что он и без того уже счастлив? Что он еженедельно обеспечивал себе счастье и чтением, и траханьем? Мог ли он сказать, что ему и вообще кажется, что в мире уже достаточно детей, повсюду избыток этих беспомощных смурфиков, и что он, если уж быть до конца честным, считает, что следовало бы рассматривать проблему, которой дети все же являются, иным образом? Детей, считал Ярле, следовало бы раздавать тем, кто их действительно хочет иметь, чаще всего это женщины; примерно так же, как он считал, что военная служба предназначена для тех, кто действительно хочет служить, а это чаще всего мужчины.

Нет.

Понятно, что он не мог этого сказать.

И вообще, так многого он не мог сказать.

Особенно в наше время, представлялось ему.

И даже этого не мог он сказать этой непробиваемо милой и приветливой даме, которая постоянно поворачивалась к нему. Не мог же он сказать, что чувствует недопустимое давление со стороны общества, политиков, да и вообще всех вокруг себя, направленное на то, чтобы сделать его мягким и жертвенным мужчиной со слюнявчиком в одном кармане и погремушкой в другом, который хотел бы иметь детей, и копать землю лопатой, и укладывать плитку, и менять пеленки, и проявлять чувства, и щеголять своими так называемыми женскими качествами. Он знал из опыта бесчисленных неудавшихся вечеринок и столь же злополучных дискуссий, случавшихся на протяжении всех лет учебы, что стоит тебе хотя бы заикнуться в том смысле, что существует нечто подлинно женское, а значит, и нечто подлинно мужское, — и это будет тут же втоптанно в грязь, размазано ударом в кровь. Стоит ему только попытаться намекнуть, что он чувствует себя пригодным к тому или этому как мужчина, и это будет встречено всеми его друзьями и знакомыми — и всеми статьями в «Моргенбладет» — с издевкой и недоумением, больше того — с ненавистью. Как может он, такой интеллеktуал, взять да и предположить, что и действительно существует *разница между мужчинами и женщинами*? Какие такие смехотворные доводы мог бы он привести, чтобы утверждать нечто столь — гендерно несообразное?

Хердис Снартему, находившая удовольствие в том, чтобы своими белыми пальцами поглаживать тело Ярле и смотреть, как он напрягается в ожидании, которой нравилось ловить на себе его взгляд, когда он шел позади нее по коридорам университета, отказывалась верить, что Ярле действительно так думает, когда он говорил, например, что «женщины лучше приспособлены к уходу за детьми, чем мужчины», или когда он утверждал, что «так уж устроено, что мужчинам нравится взбираться на вершины высоких гор, а женщины предпочитают ходить вокруг горы и смотреть, не попадет ли им чего съедобного по дороге». Поскольку Хердис, выросшая на хуторе Снартему в Южной Норвегии и говорившая на мягком, слегка в нос, диалекте, была очарована этим юным студентом, уровнем его амбиций, его шальными глазами, она предпочитала переводить все это в смех. В семье Хердис водились большие деньги, в ее семье било через край благосостояние, там вздыхали больше, чем потели, и хотя в том, что касается политических взглядов, она проделала большой

путь прочь от них — путь ровно такой длины, каково расстояние от глубоко консервативного до ядовито-красного, она зато не продвинулась ни на сантиметр в сторону духовности или стильности. Она частенько сводила трудные темы к их высмеиванию, как она привыкла делать дома, что было совершенно в духе ее классово унаследованной верхней губы, которую, казалось, держит в строгом повиновении нос. Так что для Хердис Снартему, женщины, не обладавшей ни одной из удивительных черт лица соседки Ярле, но прекрасной как богиня и вызывающе сложенной и к тому же имевшей возможность щеголять самой сенсационной задницей университета, было совершенно естественным заходиться своим снисходительно-заливистым смехом, когда Ярле пытался высказывать подобные взгляды, и относить их на счет его «подростковой» потребности провоцировать окружающих, как она это называла.

Но он и думал то, что говорил.

Что между мужчинами и женщинами разница есть.

Что это прекрасно, и для женщин, и для мужчин, и что хорошо, что так и есть, и что просто трагично, что современная интеллигенция идет на поводу у феминисток, которые никак не могут пережить того, что мужчины и женщины с точки зрения природы разные.

И про это он собирался когда-нибудь написать. В той или иной форме. Не в работе об ономастике Пруста, но и не в журнальной статье, норвежской или английской, построенной на той же работе, и даже не в «Моргенбладет», куда Ярле несколько недель тому назад отослал рецензию на английскую книгу о Прусте — и до сих пор не получил ответа! — но в другом месте.

В другой раз. Может быть, вообще не стоит говорить этого сейчас, в 1997 году? Может быть, это одна из многих мыслей, которые просто-напросто невозможно высказать в современной жизни без того, чтобы тебя не сочли клоуном или сексистом и, таким образом, ты моментально не выпал бы из списка, который, Ярле был уверен, висит над компьютером редактора «Моргенбладет».

— Дети — это истинное благословение, — сказала старая дама и вздохнула.

Благословение?

Когда они приехали во Флесланн, аэропорт города Бергена, Ярле подал старой даме руку и помог ей спуститься по ступенькам автобуса на асфальт. Они прокомментировали резкую сентябрьскую погоду: она — сказав, что эта погода навевает то же чувство, что и генеральная уборка, а он — что это помогает разогнать пелену привычного, — и завершили поездку,

представившись друг другу. Ярле узнал, что ее зовут Ирмелин Йенсен, что она родилась аж в двадцать втором году, на что он улыбнулся и сказал: «А моя бабушка родилась в тринадцатом» — и особенно подчеркнул голосом то, что сказал просто в *тринадцатом*, чтобы сделать старой даме приятное тем, что пользуется тем же выражением, что и она.

Потому что старые дамы, как он давно заметил, говорили именно так. Они говорили просто: в двенадцатом, или в тринадцатом, или в двадцать втором, и все в их мире старых дам понимали, о чем идет речь, как все в их мире старых вещей ощущали разницу между *тринадцатым* и *двадцать вторым*, так же как сам Ярле ощущал разницу между семьдесят вторым и семьдесят девятым. Ирмелин Йенсен двадцать второго года рождения сказала, что ей очень приятно было познакомиться с таким вежливым и понятливым молодым человеком, она сказала, что его дочери повезло, что ее отец такой заботливый человек, — не всем дочерям достаются такие. Она знает по своему опыту, потому что, сказала она, «вы знаете, в мое время отцы были совсем другими». Так что дело кончилось тем, что она напрягла свои старушечьи пальцы на ногах, привстала на цыпочки, и обняла Ярле, и выразила искреннюю надежду на то, что им все же хоть что-то удастся посмотреть здесь, в аэропорту, ведь такие дни, как этот, не часто выпадают даже в долгой жизни, сказала она, «уж это я могу гарантировать».

Ярле принял объятие, как если бы оно исходило от его собственной бабушки, пожелал ей хорошо провести время с внучкой и согласился (снова не имея представления с чем), что, мол, «да уж, действительно, могу себе представить, день сегодня действительно из редких».

На расстоянии, в аэропорту, субботний день 6 сентября обрисовывался совсем иным образом, чем в центре города или дома перед птичками на заборе. Было очевидно, что никакого серьезного несчастного случая не произошло, поскольку количество пассажиров казалось вполне обычным и непохоже было, чтобы кто-нибудь особенно волновался по поводу самого предстоящего полета, как бывает, если сто двадцать человек погибнет при крушении поезда или другом подобном несчастье. Но все, на кого бы Ярле ни посмотрел, оказавшись в зале прибытия и приняв к сведению, что самолет из Осло с дочерью на борту ожидается по расписанию, в 11:45, имели одинаково печальное и меланхоличное выражение на лице. Еще ему показалось, что люди вокруг него разговаривают тише и меньше обычного.

11:45. Оставалось всего каких-нибудь пять минут.

Пора было выяснить, что за унылый жокей погоняет этим злосчастливым днем.

«Газеты!» — подумал Ярле и рванул к газетному киоску. Ему не представилось возможности заглянуть к Эрнану и вынужденно купить «Дагбладет» и «Бергене диденне», хотя на самом деле ему хотелось бы купить «Моргенбладет», поэтому придется купить их теперь. Должны же газеты поведать ему, что такое особенное происходит в этот субботний день.

Но Ярле остановился. Он увидел, что к газетному киоску тянется длинная очередь, и хорош же он будет, если его не окажется наготове в зале прибытия, когда она появится! Так поступить он не мог. Не мог он стоять и покупать газеты, когда она здесь появится. Может, это для нее первый в жизни полет на самолете?

Как знать?

Кто мог знать, что она, его дочь, пережила в этой жизни? Его же не было рядом, чтобы проследить, чтобы она, его дочь, получала необходимые импульсы.

«В любом случае какой-то безответственностью отдавал весь этот самолетный перелет, — думал он, возвращаясь от газетного киоска на прежнее место перед эскалаторами, на которых уже в скором времени должна будет показаться она. — Разве посылают таких букашек путешествовать по миру в одиночку? Чтобы впервые увидиться со своим законным отцом? Разве это можно назвать ответственным поступком взрослого человека?» Ярле был настроен скептически. Если бы такое произошло в крестьянской среде в двадцатые годы, то мамашу пригвоздили бы к позорному столбу. Она была бы отвергнута местным сообществом. Люди на улице плевали бы ей вслед. А теперь? Теперь совсем другой коленкор. «Вот с этим-то мне и предстоит разбираться, — подумал он. — Как хочу, так рулю — и никаких забот. Какая бабенка безголовая, которая вдобавок ко всему додумалась искать информацию о том, кто же является отцом ее ребенка, при помощи анализа крови! Смехотворно. Возможно — *возможно*, — Анетта Хансен поступила таким образом потому, что она стеснялась или чувствовала себя неудобно», — подумал Ярле. В таком случае это было единственным смягчающим обстоятельством, которое приходило ему в голову.

Но вот настоящая бомба взорвалась через неделю после письма об анализе крови. Бомба, которая отмела прочь все сомнения и раскрыла ему глаза на то, из какой жидкой материи сделана та девица, с которой он однажды переспал. Исполненный волнения, ощущая даже некую дурноту, он все никак не мог дожидаться ответа из интеллектуального еженедельника

«Моргенбладет» относительно своей рецензии на книгу о Прусте. Зная уже, что он является отцом ребенка. Так повелось, что по пути из читального зала он частенько заворачивал домой, чтобы заглянуть в почтовый ящик в середине дня. Но никогда ничего в нем не находил. Каждый день он придумывал доводы за и против того, чтобы позвонить в редакцию «Моргенбладет», но чувствовал, что не стоит этого делать. Неужели он унижится до того, чтобы, как какой-нибудь первокурсник, надоедать им с вопросами, не получили ли они его рецензию на английскую книгу о Марселе Прусте и не нашлось ли у них тогда случайно времени ее прочитать?

«Марселе каком? — возможно, спросила бы та, что работает диспетчером на коммутаторе в «Моргенбладет». — Нет его, он сейчас как раз вышел». И Ярле, может быть, пришлось бы объяснить той невнимательной дамочке, что работает на коммутаторе в «Моргенбладет», что он не собирается *разговаривать* с Марселем Прустом, но что он *написал* о нем и интересуется, получили ли они его рецензию и прочитали ли ее, ну и, конечно, приняли ли они уже решение по этому вопросу.

Нет. Он чувствовал, что все-таки не стоит им звонить. И вот он так ходил и ждал, осознавая, что является отцом, и это явилось причиной того, что в эти недели он больше бывал дома, чем обычно. И он всегда был на месте, когда приносили почту. И вот в один из таких дней почту принесли и плюхнули в ящик с тяжелым стуком. Как и в последний раз, когда он получил письмо относительно анализа крови, на котором в качестве отправителя значилось Управление полиции, он отреагировал моментально и бурно, увидев на конверте девический почерк. Сначала он подумал, что это письмо от его дочери, но сразу же отмел эту мысль, поскольку почерк был как у пятнадцатилетней девушки — как раз такой волнистый и домашний, какой только и увидишь у пятнадцатилетних девушек, — и поскольку сообразил, что девочка, которой должно исполниться семь лет, скорее всего, вообще еще не умеет ни писать, ни размышлять.

А когда он перевернул конверт, он увидел на обороте: «Отправитель: Анетта Хансен».

Случилось то же, что и в прошлый раз.

Застигнутый врасплох и растерянный, он понес письмо в квартиру, положил на кухонный стол и смотрел на него не сводя глаз. Он смотрел на него, даже пока мыл руки. Он несколько раз обошел вокруг кухонного стола, глядя на него.

Потом он сел за стол. Попытался дышать ровнее. Вскрыл конверт и начал читать.

И что он мог на это сказать?

На то, что он читал.

Мир иногда представляется безумным местом.

Случается, что люди совершают идиотские поступки.

Анетта Хансен написала свое коротенькое письмецо от руки. Это было в одно и то же время сердитое, горькое и отчетливо исполненное любви письмо.

Она объясняла, что разочарована тем, что он не связался с ней после того, как получил анализ крови.

Или хотя бы со своей дочерью, писала она. Она рассказывала, что дочь восприняла новость о том, что у нее теперь есть новый отец, хорошо и что проблем в этой связи вряд ли можно ожидать, или так она во всяком случае думает. Но, писала она, их дочка пока еще такая маленькая, и «ты же знаешь, как бывает с детьми». Какой смысл заключался в этом предложении, Ярле был не в состоянии уяснить, но что оно не было обращено к его миру, было ясно как день. Далее она писала о разных финансовых и юридических процедурах, которые его ожидали и о которых она хотела его предупредить. Но самое главное, из-за чего она и взялась писать это письмо, было то, что она решила уехать на неделю, начиная с субботы 6 сентября включительно, на юг, так что теперь настало ему время показать себя мужчиной.

Это она так писала.

«Теперь настало время, — было там написано, — чтобы ты показал себя мужчиной».

Ярле отложил письмо в сторону. Невероятно. Он был поражен тем, что в 1997 году в Норвегии возможно так плохо владеть пером, как это демонстрировала Анетта Хансен. Будь это ребенок лет двенадцати или кто-то из детишек Эрнана, но чтобы взрослая женщина излагала свои мысли столь непостижимо коряво и бессвязно!..

Мать его ребенка!

Невероятно.

Из письма мало что можно было почерпнуть на предмет собственной жизни Анетты Хансен, но было совершенно ясно, в чем заключалось ее намерение.

Она хотела, чтобы он показал себя мужчиной.

Анетта Хансен собиралась на юг. На неделю, начиная с субботы 6 сентября включительно. И теперь была его очередь, как она выразилась. Она занималась ребенком все семь лет, как она написала, так что теперь настало время ей немного отдохнуть. И для него настало время, как она писала, познакомиться со своей дочерью. Так что пусть знает и пусть строит свои планы в соответствии с этим, что в 11:45 в субботу, 6 сентября 1997 года, она приземлится в Бергене. Билет уже куплен и оплачен, было

там написано, «так что вот».

И придется ему заняться ею, последить за ней одну эту неделю. И они тогда «посмотрят, что из этого выйдет и как все получится и вообще», как там было написано.

На одну неделю?

Ребенок?

Сюда?

На целую неделю?

У него перехватило дыхание, он почувствовал, как сдавило грудь, и еще он почувствовал, насколько же он зол на эту придурковатую бабу, которой внезапно приспичило вторгнуться в его жизнь, сначала ошарашив его наличием дочери, которой скоро будет семь лет, а затем огорошив сообщением о том, что эту дочь уже собираются спровадить к нему, практически она уже тут, за углом, и что она собирается торчать здесь, у него, целую неделю. Каким местом она думала? Что у нее там вместо мозгов? Что на нее нашло? Да как это можно — отправиться как ни в чем не бывало на юг, а своего ребенка посадить в самолет, как если бы речь шла о кошке? И что это такое она еще написала в самом низу страницы? «PS: Малышка больше всего на свете любит сырки, если ей не дать сырки и батон, пререканиям конца не будет, она обожает танцевать, и, нам кажется, молока ей лучше помногу не давать».

Нам?

Кто, хотелось бы знать, эти мы?

Сырки?

Что, начать забивать холодильник сырками?

Батон?

Обожает танцевать?

Что за чертов придурок в этом дебильном мире мог вообразить, что он, Ярле Клепп, изучающий ономастику Пруста и ожидающий ответа из «Моргенбладет», вдруг начнет обожать танцы, держать у себя дома целую неделю семилетнюю девчонку, а в холодильнике — сырки?!!

А?

А?!

А какие ожидания заключались в постскриптуме номер два, приписанном под первым, о сырках, и батоне, и танцах?

«PSS: В четверг у девочки деньрождение!!!»

С тремя восклицательными знаками!!!

И на что это она намекала в постскриптуме номер три, приписанном под вторым, о «деньрождение в четверг!!!»?

«PSSS: Нам ведь хорошо было тогда».

А?

А?!

Двумя неделями позже в аэропорту Бергена, Флесланне, Ярле развернул сложенный листок формата А4. Удивительно тихим днем. Сначала на него неотрывно пялились четыре непохожие на настоящих птички. Все мерцало неяркой силой и напряженным ожиданием, в котором он не принимал участия, что, должен был он признать, его печалило. Так много сторожкого горя, как пыльца, витало над миром сегодня, так много меланхоличного достоинства, — конечно же, это притягивало внимание Ярле Клеппа, и, конечно же, ему казалось досадным не быть сопричастным этому, примерно так же как ему в детстве невыносимо было стоять в школьном дворе и смотреть, как девочки шепчутся и хихикают, сбившись в кучку у физкультурного зала, и понимать, что ему никогда не светит быть принятым в их кружок. Такие вещи всегда казались Ярле непростыми. В нем всегда присутствовало сильно выраженное желание быть частью происходящего. Особенно такого, что, как ему казалось, составляло самую гущу событий. А теперь, в эти годы, самая гуща событий была сосредоточена вокруг университета. Больше всего событий происходило во всех областях академической жизни. В центре происходящего разворачивались размышления Ярле о том, каким образом просвещенной интеллигенции предстоит спасти общество от идиотизма и упадка. В центре событий находилась кафедра литературоведения. В центре событий находилась редакция «Моргенбладет». В центре событий находились заповедные фьорды Хердис Снартему. Но что же это такое с этим тихим днем?

Что это такое?

Чего же это он не знает?

Ярле посмотрел на листок. За время поездки в автобусе тот смялся, Ярле попробовал его расправить, словно его замучила совесть из-за того, что тот не был гладким, чистым, аккуратным и нарядным, таким, какие, по его представлениям, должны нравиться маленьким девочкам.

Когда Ярле теперь, стоя в зале прибытия, озабоченный и в растрепанных чувствах, снова увидел то, что было на листке написано, ему показалось еще, что и надпись сделана недостаточно красиво.

До него окончательно дошло.

Совсем скоро появится она. Его дочь.

И честно говоря, он не был этому рад. Он пытался обрадоваться этому в соответствии с общепринятыми

представлениями о том, как должны радоваться люди, если у них появляется ребенок. Но он не радовался. Он просто ну нисколючки не радовался. Он не чувствовал радости при мысли, что вот ему предстоит встретить своего собственного ребенка. Взять ее за руку. Повести ее с собой за руку, как это делают родители. Помочь ей, если она захочет в туалет. Господи!

Разговаривать с ней о... о чем там разговаривают девочки семи лет? Господи! Говоря начистоту, ему хотелось бы, чтобы этого всего не было. Не хотел он иметь ребенка! Если уж быть до конца честным, он вообще не хотел иметь никакой дочери.

Но что он мог поделать?

Ярле снова посмотрел на свой листок.

Мамаша на юге, а девчонка — на пути сюда.

Наверху открылись двери.

Он вперил взор туда и поднял лист перед собой.

Из дверей вышла маленькая, щупленькая светловолосая девочка. Руки она соединила перед собой, как будто в муфте. Она делала маленькие, коротенькие шажки ножками в белых кроссовках с красными полосками и смотрела в пол. Девочку привела приветливая стюардесса. Стюардесса присела на корточки, сказала что-то девочке и показала на Ярле. Девочка остановилась, но не подняла глаз от пола, и Ярле смотрел, пока стюардесса разговаривала с девочкой, как мимо проходят другие пассажиры. Ярле увидел, что в руках его дочь держит оранжевую игрушечную лошадку, а за спиной у нее — розовый рюкзачок в форме яблока.

Скоро, не прошло и минуты, девочка начала поднимать лицо. Подбородок медленно оторвался от груди, глаза оторвались от пола, лоб разгладился, и она посмотрела на него.

Он сглотнул.

На шейке у нее висела табличка, скрывавшая украшенную пайетками девчоночью грудку: «Я лечу одна».

Боковым зрением Ярле видел, как старая дама в лиловой шляпке обнимает девочку лет четырнадцати, а может, пятнадцати. Он услышал, как девочка сказала: «О бабушка, бедная принцесса Диана!» — и он ощутил, как в теле забился какой-то чужой ритм, и он решил поднять руку и помахать.

Девочка спустилась по лестнице. Короткими шажками она шла ему навстречу.

Ярле опустил листок, чтобы тот оказался на высоте ее глаз, чтобы она могла прочитать свое имя, если, конечно, она умеет читать.

«Шарлотта Исабель Хансен».

Темперированный полутон

Редко — случается, никогда — увидишь свою жизнь как будто с высоты птичьего полета. Странная метафора — как если бы птицы занимались не тем, чтобы тыкаться клювом в землю в поисках червячков, носить веточки и листики на постройку гнезд для своих птенцов, улетать на юг, когда похолодает, или ковылять по электрическим проводам, потому что от этого у них в тельце возникает приятное покалывание, а на самом деле — сосредоточенной аналитической работой: кружить высоко над головами людей, изо дня в день высматривая и собирая информацию о прошлом и настоящем, и обеспечивать себе из космоса взвешенный обзор всех побуждений, жизненных путей и перспектив — для этого птицы появляются на свет.

Но это вовсе не так. Птицы появились на свет, чтобы летать. И не птицы мыслят, а мы. И поэтому всю жизнь напролет мы ходим и произносим фразы типа «тогда я думал так, но теперь...», потому что мы мыслим, и мыслим, и мыслим, и не в состоянии не заниматься этим, таким чудесным и таким удручающим *мышлением* — мышлением, полным недостатков и по некоторым аспектам уступающим перспективе птичьего полета, с учетом того, что значительная часть мышления уходит на признание того, что мы когда-то ошиблись, повели себя неправильно или лучше бы поступили по-другому.

Если бы Ярле в те недели, что последовали за известием о том, что он отец и у него есть дочь, имел возможность посмотреть на свою жизнь с той высоты, которую мы приписываем птичьему полету, то многое он сделал бы по-другому. Но такой возможности у него не было. Ему было 25 лет, и никто так не отдален в наше время от мира детей или птиц, как двадцатипятилетние жители западных стран, столь поглощенные собой переростки, на которых с жадностью и завистью обращены глаза всего мира. Правильно будет в этой связи напомнить, что 1997 год был временем, когда можно было — хотелось бы мне верить, в первый и, надеюсь, в последний раз в истории — читать в газетах репортажи о «самом молодом директоре в мире» или «самом молодом телеведущем в мире» и когда все общество, более того, весь мир, аплодировали омоложению областей, которые в прежние времена оценивались прямо противоположным образом, то есть когда речь шла о должностях, предполагавших организаторские способности или образование, то аплодировали весомости, возрасту и по опыту. 1990-е годы были временем, когда молодость не просто любили, что бывает

всегда и объясняется ее очарованием, но расценивали ее также как безусловное преимущество.

Долой старье! Даешь новизну! — кричали люди, открыто заявляя, что они обожают чистую кожу, и *свежий* взгляд, и *забавную* перспективу.

Так интересно! Подумать только, директору национального музея всего 27 лет! А какой талантливый! Какой своеобразный подход! Как здорово!

Подумать только, такой молодой человек может быть ведущим телевизионной передачи о литературе! Ему всего 25 лет? Какую свежую струю вносит это!

Долой старье! Даешь новизну!

Такое обожание молодости влекло за собой то, что дети и взрослые — не говоря уж о стариках в их скукоженном положении — не одну битву проиграли. Маленьких детей вводили в молодость задолго до того, как у них начиналась ломка голоса или они начинали ощущать легкое округление груди, а взрослых пытались переделать в тех молодых людей, которыми они когда-то были. Те немногие, кто ничего не терял от этого, были Ярле и ему подобные, так как их жизнь совпала с таким развитием. Они были молодыми в блестящий век молодых, а что может быть чудеснее этого? Они грациозно и иронично, больше того, чуть ли не издевательски пересказывали через «взросление» — то гордое вступление в собственно жизнь, которое в прежние времена так ценили. И тем самым они уклонялись от всего; они уходили от ответственности, от последствий. Им поклонялись, и они позволяли себе поклоняться; они накатывались со всех сторон и из всех уголков общества, они сидели в редакторских кабинетах, они управляли страной, они ордой устремлялись вперед, как рой уверенных в своем праве ос, и думать они были в состоянии лишь о себе самих. Ярле был одним из тех баловней судьбы, которых дух этого времени умащивал своей смазкой, и какое сравнение подойдет здесь лучше, чем сравнение с матерью, образ которой издревле представляется в виде цельного конгломерата мощных и самоотверженных эмоций, обращенных к ребенку?

Ребенку.

Вот именно.

Ребенку.

Ребенок ведь тоже появляется на свет, чтобы летать?

Ярле, занимающийся изучением ономастики Пруста, не мог не задумываться над тем, что его дочь звали Шарлотта Исабель Хансен. Это было такое — как бы это сказать получше — *тяжелое* имя, что Ярле просто не мог спокойно сидеть в лодке и

наблюдать, как волны заливают за кромку борта. В те дни, когда это имя впервые всплыло в письме из Управления полиции, оно все время танцевало в нем, проделывая какие-то странные телодвижения. Оно отказывалось, такое создавалось впечатление, рассказать что-нибудь о маленькой девочке, которой скоро должно исполниться семь лет, и нисколько не приближало Ярле к дочери, отцом которой, как утверждали, он являлся, но тянуло его в направлении матери ребенка, о которой он мало что знал, кроме того, что она когда-то училась в средних классах поселковой школы в Суле, что она однажды оказалась в компании, где упилась до бессознательного состояния, позволила себя завалить и оплодотворить, и вот еще придумала такое нелепое, вычурное имя. Если исходить из изящной «Шарлотты», наводившей Ярле на мысли о гётевской Лотте в «Страданиях юного Вертера» и тем самым ставящей это имя в связь с немецкой духовной традицией, к чему Ярле в эту фазу своей жизни, когда он с восторгом смотрел на такие вещи, так же как альпинист смотрит на вершину Эвереста, испытывал слабость, — если исходить из этого первого имени, по вкусу немножко напоминавшего марципаны и трюфели, Ярле *вполне мог бы* мягко настроиться по отношению к своей дочери или даже, собственно говоря, по отношению к той, что дала ей это имя. Проблема возникала из-за того, что за этим именем следовало подобное шампанскому имя Исабель, которое, на вкус Ярле, было слишком шипучим и звучало и неделикатно, и по-дурацки, особенно в парной связке с изящным «Шарлотта». «Шарлотта Исабель», — произносил он про себя по несколько раз на день. «Шарлотта Исабель», — все шептал он, не находя себе места в ожидании ответа из редакции «Моргенбладет», в то время как по своей академической привычке пытался переварить то блюдо, которое называлось Дочь. «Шарлотта Исабель», — бормотал он, все более раздражаясь из-за того, что взрослый человек мог додуматься до того, чтобы дать своей дочери отдающее принцесскостью ребячливое и вычурное имя, пока в один прекрасный день его не осенило: это же было имя, которое один ребенок дал другому. Та женщина, что окрестила ребенка Шарлотта Исабель, сама была ребенком. Понимание того, что Анетте Хансен, когда она в родовых муках отворила шлюзы жизни настужь и позволила дочери проскочить в этот мир — не сообщив ничего ему, — было всего шестнадцать лет от роду, он вот так запросто не мог отместить, маясь в Бергене и вынося свои приговоры имени, которое Анетта решила дать ребенку. Да уж конечно, дети являются на свет, чтобы летать, но вкус к этому у них еще не развит. «И как же это дети называют своих кукол? — говорил он

себе, маясь и нашептывая: — Шарлотта Исабель, Шарлотта Исабель. И как же это дети называют своих плюшевых зверюшек? Наверняка Шарлотта Исабель», — бормотал он. И кто может их этим попрекнуть? Никто. Но все же, все же: проблему представляла фамилия, под которой существовала Анетта Хансен и с которой она при любых обстоятельствах вынуждена была связать ребенка: Хансен. Хансен. «Ничего ужасного нет в этой фамилии, — думал Ярле, — уж не до такой же степени я элитист». Но что есть, то есть: это фамилия кого угодно. А все, что может служить фамилией кого угодно, должно довольствоваться отсутствием возвышающего чувства попадания в точку, которое присуще редкому. Никто не захочет *взять* фамилию Хансен, если только у него нет серьезных политических закидонов или столь же серьезных психических нарушений. «И что делает «Шарлотта Исабель» рядом с «Хансен»? — спрашивал он сам себя, риторически конечно. — Разумеется, — отвечал он, — разумеется, этот хромающий павлин только усиливает *ощущение Хансен*. Эта двойная упряжка направляет прожекторы на «Хансен» и говорит: «Смотрите, смотрите, вот здесь у нас Кто угодно! А вот мы — Немногие!» Здесь отсутствует хоть какое-нибудь самосознание, — думал Ярле, — мы здесь явно имеем дело с неприкрашенной и неуклюжей попыткой подняться по социальной лестнице при помощи имени, и никакой иронией здесь тоже не пахнет, — подумал он горько, и ему вспомнилась музыкальная группа, которой он отдал свои юные годы, когда у него была такая колоссальная потребность быть своим среди своих, «Смиты». — «Смиты», — повторил он про себя, — ведь и решили назваться фамилией кого угодно из англичан, сознавая изысканную и тонкую иронию, которая заключалась в этом маневре, двойную иронию», — думал он, вычитывая и приятие, и критику в названии группы. Ярле отказывался поверить в то, что такую иронию проявила Анетта Хансен тогда, когда она намазала на свой бутерброд изысканного шевра^[3], ежевичного джема и дешевого норвежского сыра и назвала их общего ребенка Шарлотта Исабель Хансен.

Странно.

Какие люди разные!

Как бы он сам назвал ребенка, если бы это он остался с ней один и должен был бы один принимать все решения в тот день, когда она появилась на свет в... это что получается... сентябре 1990 года?

Уж не Шарлотта Исабель, твердо заключил он.

Тереса? Через «с» или через «з»? Через «з» это имя казалось ему чуточку напоминающим Шарлотту Исабель, это «з» в Терезе

было потугой на утонченность, которая только развенчивала саму потугу, но ничего не добавляла имени.

Тереса Клепп?

Хотел бы он так назвать свою дочь?

«Какие люди разные!» — продолжал он думать в последующие дни после того, как прочитал ее имя в первый раз, и все еще совершенно не представляя себе, какая же у него дочь. Это было основополагающим выводом, который он сумел вывести из тех более или менее рассудительных умозаключений, которыми была занята его голова: что он не может представить себе своего ребенка при помощи ее имени. Да Анетта Хансен и не сообщила ему никаких других сведений, кроме ее возраста и тройки — батон, сырки, танцы, да и никакой фотографии не прислала, чтобы он мог ее рассмотреть. И имя ему ничем не помогло. Оно не раздулось в гигантский смысл, который показывал бы на *самого человечка*, скрывающегося за именем Шарлотта Исабель Хансен, напротив, оно вдохнуло немало воздуха домыслов в уже гротескный воздушный шар, имя которому было Анетта Хансен.

И ему пришлось признать, что мать дочери, судя по всему, была человеком, не привыкшим мыслить.

И теперь уехавшим на юг.

«Случается и такое, — подумал он. — Я отец ребенка, мать которого — не умеющий мыслить человек. Но музыкальный?»

По мере того как дни в августе 1997 года превращались в недели, а Ярле все бубнил и шептал, потом уже и напевал про себя: «Шарлотта Исабель», он перестал так уж насмешливо и аналитически относиться к этому. «Уж какое имя у нее есть, то и есть», — подумалось ему вдруг, и к тому же не было ли оно, собственно, довольно музыкальным?

Не было ли оно даже прямо-таки благозвучным?

Если бы ему удалось отвлечься от смехотворных ассоциаций, которые оно вызывало, от культурного и исторического уродства, состоящего в смешении разных сфер, от ощущения, что оно скомпоновано рукой неуча, ощущения, что оно срывает завесу с девических мечтаний о прыжке на батуте в другой общественный класс, — если бы ему удалось отвлечься от этого и сосредоточиться на качестве звучания, более того, если бы он попытался как-нибудь «меньше думать и больше чувствовать», как, кое-кто считал, Ярле стоило бы делать, то, пожалуй, можно было бы сказать, что оно было напето не совсем лишенным музыкального слуха горлышком.

И по мере того как шли недели, он возвращался к этой мысли все чаще и чаще.

Особенно что касается ее двойного имени, сказал он себе, когда в конце концов прошептал «Шарлотта Исабель, Шарлотта Исабель» уже так много раз, что у этого имени в голове сложилось свое особое звучание; *особенно Шарлотта Исабель.*

И так уж случилось, что когда Ярле Клепп в первый раз произнес вслух имя этого маленького человека, которому вскоре должно было исполниться семь лет, который едва дорос до метра двадцати сантиметров, с розовым рюкзачком и оранжевой игрушечной лошадкой в руке, то он произнес его не с той неохотой, которую он чувствовал к тому, что у него будет дочь, и не с тем раздражением, которое он чувствовал по отношению к тому, что жизнь вынуждена принять неподходящий и ребяческий оборот, и не с сознанием того, что у него просто-напросто нет ни необходимых качеств, чтобы быть отцом, ни времени на это, но с теплотой. Он опустил на корточки, держа перед собой листок, и произнес его в темперированном полутоне, с привычной уверенностью, словно он произносил его каждый день в течение многих лет:

— Шарлотта Исабель?

Всего за несколько дней до того, как Ярле исполнилось девять лет, Диана Спенсер вышла замуж за принца Уэльского Чарльза. В 1981 году у Ярле из ставангерского района Мадла голова еще не была забита теоретической лингвистикой, он еще не ходил с гладковыбритым черепом и не размышлял над ономастикой Пруста, он был полноценным участником собственного детства. Он впитывал в себя мир — с жадностью, в счастливом ожидании он распахивал настежь врата чувств и ощущений. Из радиоаппаратов лилась поп-музыка, из дверей домов на улицы выскакивали девчонки, и внезапно все они превратились в удивительных бабочек, порхающих, игривых, и Ярле принимал все с алчностью, с чувством, что это все для него, и это, в общем-то, так и было. В эпоху после своей сказочной свадьбы в Англии Диана окрасила современность своей милой застенчивостью, она быстро выросла в женщину, которой больше всех восхищались и которой больше всех подражали на земном шаре, и поэтому получилось так, что чувствительные годы его детства, когда мальчик начинает пылать, оказались сформированными девчонками в блузках, как у Дианы, со стрижкой, как у Дианы, и помадой, как у Дианы. Вероятно, это может показаться натяжкой, но не будет преувеличением сказать, что это навсегда оформило вкус Ярле и его взгляды в том, что касается женщин. Свойственное Диане умение сопереживать, которое стало ее фирменным отличием и профессией, ее стремление к миру во всем мире, ее помощь бедным и больным и ее вклад в борьбу со СПИДом в представлении Ярле и всего остального мира оказались неразрывно связанными со страдальческим взглядом под челкой, спадающей на глаза. Из-за этой детали внешности у нее был какой-то озабоченный, материнский вид, и, само собой разумеется, сегодня легко иронично ухмыляться над такими вещами, но для ребенка это только хорошо и надежно. Когда Ярле видел Диану по телевизору, всегда так красиво одетую, всегда такую душевную и свежую, он переполнялся ощущением того, что кто-то желает ему добра, и это было точно то же чувство, что возникало у него от близости к собственной матери и собственной бабушке. В его мире все эти трое — Диана, мама и бабушка — явились на землю, чтобы творить добро для других.

Разница между Дианой и другими женщинами в самые юные годы жизни Ярле состояла в том, что, когда она опускала глаза, у него мурашки бежали по спине. Из-за нее он чувствовал, как

краснеет в животе, из-за нее у него мелкой дрожью подрагивал язык, и из-за нее Ярле начинал задумываться о том, кто он такой и зачем он появился на свет.

Она сама ничего не могла с этим поделать, но было очевидно, что зовущие глаза Дианы, чувственный рот, изогнутая шея и свежие ножки, то, как она чуточку наклоняла голову, хотя взгляд ее при этом оставался обращенным кверху, в меньшей степени повлияли на жителей земли, чем ее вклад в дело мира и ее забота о бедных и больных. Можно, конечно, сказать, что это старейшая проблема женщин, что, когда они пытаются добиться того, чтобы их принимали всерьез, они все равно вынуждены смириться с тем, что их вожделеют, так, многие мужчины испытывают затруднения с тем, чтобы услышать, что говорит женщина, как бы они ни старались, просто потому, что желание переспать с ней всегда будет сильнее, чем желание прислушаться к тому, что же она хочет сообщить. Так же было и с Дианой для Ярле. В последние годы его детства она не покидала его, с этой своей двойственностью доброты и привлекательности, и Ярле принимал это, и это восприятие никогда его не оставляло. Во всех девушках, которые ему позднее встречались на жизненном пути, он искал изумительную Дианину смесь идеальности и природы, желания помогать больным детям и желания подарить ему свое тело. Так как же это так получилось, что Ярле в тот день, когда Великобритания хоронила Диану, в тот день, когда он впервые встречал свою дочь, не был в курсе происходившего, когда такую популярную женщину должны были предать земле?

31 августа 1997 года ненасытные фотографы-папарацци преследовали принцессу Диану по улицам в центре Парижа в надежде сфотографировать ее вместе с египетским мультимиллионером Доди аль-Файедом. То, что когда-то начиналось как всемирная любовь к народной принцессе, превратилось для Дианы в кошмар, и тем вечером гротескным результатом этой любви явилось то, что машина, в которой она ехала, разбилась возле берега Сены, в туннеле под площадью Альма. Большинство живущих сегодня помнят это событие как поворотный пункт в истории, как символ того, как далеко зашло общество в своем культе знаменитостей, и Диана, которая до тех пор была символом борьбы добра со злом, символом одиночества знаменитостей и их безрадостной личной жизни, стала первой жертвой современного общества массовой информации. Потрясающим было то, что длилось недели после аварии: мир лил слезы и никак не мог остановиться. Цветы и исполненные искреннего чувства записки перед Букингемским дворцом не поддавались подсчету, горе британского народа стало горем всего

западного мира, и, когда настал день похорон Дианы, все человечество сидело не шевелясь перед экранами телевизоров. Никто не ходил по улицам. Никто не делал того, что они обычно делали, в эту субботу, 6 сентября 1997 года.

За исключением Ярле Клеппа.

Разумеется, он еще неделю назад узнал о смерти Дианы, но теперь уже много времени прошло с 1981 года, и те чувства, которые он питал к ней ребенком, когда он любил и принцессу, и девочек, которые одевались как она, давно уже ушли, так что он отреагировал на это событие всего лишь антироялистским сарказмом и аналитической иронией по поводу идиотизма общества с его информационной истерией и глупостью. Несчастный случай не прошел незамеченным, о нем поговорили день-другой без особых переживаний в студенческой столовой или перед входом в читальный зал, а потом Ярле и его друзья вернулись к более важным темам, таким как ономастика Пруста, будущее феминизма или, если говорить о Ярле, скоро ли придет письмо из редакции «Моргенбладет», а также к его жуткому раздражению из-за того, что у него оказалась дочь, — информация, которой, как известно, он ни с кем, кроме себя самого, не делился. В то время как остальной мир с ужасом и отчаянием читал таблоиды, и день изо дня подливал масла в огонь дискуссий по поводу общества массовой информации, и день изо дня горевал о том, что погиб хороший человек, и день изо дня напряженно ждал, выступит ли британский королевский дом с публичным заявлением о Диане, пока они считали дни, остающиеся до похорон столетия, — Ярле вращался в закрытом мирке теории знаков и академической полифонии. Там ему больше всего нравилось пребывать. И когда наступили выходные, ни он, ни Хердис Снартему, ни Роберт Гётеборг, ни узкий круг блестящих старшекурсников, состоявший из избранных профессора среди слушателей спецкурса по теории литературоведения в Бергене, не думали о принцессе Диане. Вместо этого они завершили неделю мощным загулом и последующей попойкой дома у Роберта Гётеборга, который предпочитал пить с лучшими из своих студентов, а не с коллегами. В этом кругу блестящих умов принцессу Диану не обсуждали, мысль о ней никому не могла прийти в голову. Обсуждали неидентичность, обсуждали релевантность исторического авангарда для современной поэзии и потешались вовсю над первокурсниками, которые не умели различать означаемое и референт. К концу ночи было рассказано много хороших историй, около трех утра Роберт Гётеборг достал бутылку акевита^[4] и собрал студентов вокруг себя, и, когда он —

в очередной раз — рассказывал о том, как он встречался с Жаком Деррида, в комнате воцарилась уважительная тишина.

Ярле кивал головой, как кивают старые люди, когда кто-нибудь говорит, что раньше все было лучше, а Хассе Огнатюн прищурил глаза и прижал к губам сжатый кулак, как делают футбольные болельщики, когда предстоит забить решающий штрафной, в то время как Арилль Бёмлу прикрыл свои неисповедимые глаза. Хердис Снартему воспитанно сложила свои впечатляющие ноги крест-накрест, и Ярле показалось, что на ее губах что-то поблескивает.

— Либерте, — сказал Роберт Гётеборг и выдохнул через нос.

— Либерте, эгалите, фратерните, — продолжила Хердис Снартему.

— У ля мор!^[5] — воскликнул Хассе и убрал кулак от лица.

— У ля мор, — повторил Гётеборг. — Этот француз, непосредственный наследник духа революции и все же голос самого мирового духа, это персонифицированное воплощение и того и другого... — Он приостановился на пару секунд, будто чтобы дополнительно подготовить окружающих к тому, что должно было последовать. — Знаете ли вы, друзья мои, знаете ли вы, что у этого великого человека, рожденного в Алжире, и значит, на самом деле в Африке, знаете ли вы, что у этого простого и непостижимо сложного человека есть кот?

Ярле и его друзья — ретивый Хассе Огнатюн, писавший диплом по сносам и отступлениям во французской прозе девятнадцатого века, и строптивый Арилль Бёмлу, писавший диплом по Морису Бланшо^[6], — широко распахнули глаза. Кот? У Деррида? Кот?

Роберт Гётеборг, который по случаю вечеринки облачился в красный пиджак из велюра, желтый шелковый шарф и тесные полосатые брюки, поднес бесплотную правую руку к уху и слегка потянул за сережку в нем.

— Да, вот настолько прост отец деконструкции, — сказал Гётеборг с какой-то змеиной улыбкой, — такие вот дела, милые мои. Вы не ослышались: у отца деконструкции есть кот! И я встречал этого кота. Да. Клянусь. Его зовут Георг Фридрих! И знаете ли вы, ребята, что он разводит кактусы?

— Невероятно! — сказал Хассе, уперев руку в бок и скорчив гримасу. — Кактусы?

— Спина? — кивнул ему Гётеборг.

Хассе тоже кивнул в ответ.

— Натри ее авокадо, — сказал Гётеборг и подмигнул как-то так, что никто в комнате не понял, издевается он над ними или говорит серьезно.

Юные студенты любили слушать, как рассказывает Роберт Гётеборг.

Они обожали увлеченность, которая сияла в его — глазах, они обожали его ужимки, неожиданные перемены в его хамелеоноподобном облике, и они обожали смотреть, как он смеется под своим востреньким южношведским носом. Даже у Арилля Бёмлу, который никогда не выказывал восхищения ничем, который почти не открывал рта, который был знаменит своим полным неумением радоваться, розовели щеки, когда распался Гётеборг. Студенты обожали смотреть, как он берется правой рукой за сережку, что он всегда делал, задумываясь, и каждый раз, когда он рассказывал историю своей встречи с Деррида — всегда новые эпизоды этой единственной встречи, приобретающей все больший размах, — они ждали того ритуального завершения, когда он поднимался с места, перебежал к комоду и доставал фотографию, где он сам был запечатлен вместе с мастером.

— О да, — сказал Роберт Гётеборг и посмотрел на фотографию, — какой человечище, а? Какой мыслитель! — И потом он схватился за сережку и добавил: — И какой гуманизм!

Вот это и был мир Ярле. Как один из избранных на кафедре, он пользовался привилегиями посвященных — он, семь лет назад приехавший в Берген, исполненный надежд и неуверенный в себе, с эпическими романами в рюкзаке и социализмом в голове, теперь входил в ядро академической элиты.

Вечером накануне похорон Дианы Ярле был чуточку более обычного экзальтирован и празднично настроен, потому что он пытался забыть о том, что должно было произойти на следующий день. Должна была приехать его дочь. Так что он прикладывался к бутылке чаще, чем обычно, и чаще, чем обычно, поглядывал в сторону Хердис Снартему. До этого Ярле никогда еще не состоял в исключительно физических отношениях с женщиной, и никогда еще он не состоял в отношениях с женщиной на шесть лет старше его. Все это были для него новые ощущения, и в том количестве, в каком это происходило, это по большей части наполняло его освобождающим чувством того, что он всего лишь объект ее наслаждения, и наоборот. Утомительные перепады отношений с Леной этой зимой измотали его, и он счел, что пора бы уже научиться не вкладывать столь колоссальный объем чувств во все свои связи. Но в последнее время он начал воспринимать Хердис Снартему, девушку из высшего общества, будущее феминизма в Норвегии, как принадлежащую ему. Притом что они имели половые сношения по несколько раз в неделю и оба договорились, что когда он направляет баржу в ее волны, то делают они это потому, что обоим это нравится, и не более того,

он все же начал привыкать к ней как к человеку. Он видел ее без косметики. Он видел, как она ходит в туалет. Он знал, как зовут ее родителей. Он получил определенное представление о ее абсурдно обеспеченном детстве и взрослении. Это было неизбежно. Его мозг говорил, что какие-либо серьезные отношения с Хердис Снартему исключены. Но его привычки говорили, что он практически состоит с ней в серьезных отношениях. И вот с этим-то неприятным чувством, довольно набравшийся алкоголя и все так же беспомощно алкая того роскошного блюда, что представляла собой женщина, сидевшая в этот пятничный вечер на другом конце дивана, он начал задумываться о том, не состоит ли она также в отношениях — чисто физических? — и с Робертом Гётеборгом, который сидел между ними и хватался рукой за сережку, рассказывая о коте и о гуманизме Жака Деррида.

Он обратил внимание на свое волнение, когда она выходила из комнаты. Что она делает сейчас? Куда ей надо было? Он заметил, как у него выпрямляется спина и как он ищет ее расположения, когда она возвращается. Где она была?

«Чепуха все это, — подумал он раздраженно, — будто я состою с ней исключительно в физических отношениях. Или мне нужно глубже в это ввязываться, или надо с этим завязывать». Ярле не удалось этим вечером решить, ввязываться ли ему в это глубже или завязывать совсем, и ему не удалось выяснить, состоит ли она еще и в отношениях с профессором. Верный привычке, Гётеборг выпил слишком много и заснул, так что, когда разошлись последние гости, Ярле представилась возможность навестить потаеннейшие радости Хердис. К концу попойки Ярле стал демонстрировать фальшивую усталость, ваяясь на пол комнаты и закрывая глаза. Народ стал потихоньку расходиться, слышал он; он слышал, как Хассе в коридоре ахает и стонет от «эпической боли, которую меня ежедневно заставляет терпеть проклятая спина», и Ярле слышал, — как он сказал, что «придется Ярле самому себя поднимать на ноги, когда проснется завтра утром». Арилль, естественно, не сказал ничего, кроме того, что до дому далеко идти. Сам же он притворялся, что спит, чтобы не выдать, что он остается ради того, чтобы срывать ее розы и вздыматься на ее волнах.

Тело у Хердис было необыкновенно гибкое и могло с легкостью складываться, примерно как сгибают кукол или игрушечные фигурки. Именно это и происходило той ночью. Когда квартира опустела после ухода гостей, дочь богачей, утомленная выпитым, улеглась на диван Роберта Гётеборга, свернулась в феминистический супершар и позволила Ярле выйти

из симулированного сна, ступить на пол и вступить в нее. Он взошел к ней на борт, ухватившись для устойчивости за внутреннюю сторону лодыжек, и, в алкогольном отупении, надолго там остался, думая при этом: а вдруг Роберт Гётеборг тоже так делает — складывает Хердис Снартему в шар; думая при этом, открылись ли наконец у редакции «Моргенбладет» глаза на его рецензию, и напоминая себе, что завтра надо будет рано утром пойти к Эрнану и посмотреть, не продается ли у него теперь еженедельник интеллектуалов, и стараясь не думать о предстоящей завтра автобусной поездке в аэропорт Флесланн; он и не подозревал о приготовлениях к похоронам в Англии до тех самых пор, пока Хердис Снартему где-нибудь в половине пятого не сказала, еще мягче, чем обычно: «Ой, ну ты просто игрушка, ах ты, ебунчик ты мой!»

Игрушка?

«Я?» — подумал он и увидел, как ее груди колыхнутся в такт, как, бывает, клонится куст в саду на ветру или как, бывает, мячик покачивается, если удерживать его силой под поверхностью воды, а потом отпустить. «Я?» — подумал он и про себя выкрикнул счастливое «ура!», ощутив, как стягивается ее хватка вокруг его счастья, после чего он уже не мог больше ждать, отправил смысл жизни в обжигающе горячую подземную тьму и завершил соитие. Он слез с нее, и Хердис замурлыкала, поворачиваясь на бочок и укладываясь поудобнее на диване Роберта Гётеборга. Он оделся и, вываливаясь в двери, чтобы поспать хоть пару часиков, перед тем как нужно будет вставать, чтобы встретить дочь во Флесланне, заметил, что она заснула.

И вот через несколько часов он там стоял. На корточках. Голова немного болела. Руки ломило. А она шла к нему навстречу. Его дочь. Оранжевая лошадка в руках. Розовый рюкзачок в форме яблока за плечами. Табличка на груди, на обшитой пайетками блестящей маечке: «Я лечу одна». И в груди у него застучало, когда он увидел у Шарлотты Исабель хорошо подстриженную Дианину челку, спускавшуюся до самых глаз, и тут его осенило, что причиной всей этой удивительной тишины в этот день было то, что мир хоронил народную принцессу, бабочку Англии.

Ярле никогда раньше не испытывал такого испуга и застенчивости. Как когда он сидел на корточках перед Шарлоттой Исабель. Ему казалось, что он покраснел от пальцев на ногах до самого лба, он сглотнул и едва сумел понять смысл слов стюардессы, сказавшей, что все прошло отлично, что она была просто умницей. Так она сказала и погладила девочку по головке:

— Ну вот, теперь ты со своим папой. Желаю тебе приятно провести время в Бергене, пока.

И они остались одни.

Ярле и его дочь.

«Какая же она маленькая, — подумал он, пытаюсь сообразить, что сказать. — Ее рот, ее руки. Все такое *маленькое*, будто может сломаться в любую минуту. О чем же разговаривают с такими маленькими человечками?»

Шарлотта Исабель не шевелилась.

Она стояла, опустив глаза, все так же сложив маленькие ручки на животе; изящно очерченный пухлый ротик закрыт, ножки вместе. В отчаянии от неловкости ситуации, огорошенный собственной бестолковостью, Ярле не представлял себе, что нужно сказать. А что же он раньше думал, как это будет? К чему он готовился? «Ни к чему, — осенило его, — ни к чемушеньки я не подготовился, я не представляю себе, что мне делать, я не в состоянии ничего сказать — и, госсподи, какая она маленькая, — думал он, — какая она фундаментально маленькая. И моя? Моя дочь?»

— Привет, — выдавил он, — привет, это я... да, Ярле, или... — он сглотнул, — твой отец.

Она быстро глянула на него и показала пару больших голубых глаз.

— Нет, — сказала она в нос, разоблачив тонкоголосый диалект Восточной Норвегии, — ты папа.

— А? — Он нахмурил брови.

— Это Трунн отец.

— Трунн? — Ярле вспомнил это *мы* из письма Анетты. — Трунн — это, что ли?..

— Это мой отец, — сказала девчушка внятно и отчетливо, будто она это предложение заучила. — Он работает в автосалоне. Он очень умный. А ты папа. Так мама сказала. Что ты папа. Что я должна звать тебя папой.

— О'кей, — сказал Ярле и предпринял мужественную попытку улыбнуться, — папа так папа.

На несколько секунд он потерял сознание, стоя там, в зале прибытия аэропорта. Было не просто трудно осознать и усвоить, что он вдруг должен начать отзываться на это древнейшее обращение, как какая-нибудь собака, — это было прямо-таки небесспорно, прямо-таки неприятно. Что за слово такое: он был не в силах осознать, что им будут называть его, в его звучании было все, что он оставил в прошлом, и оно ударило по нему, как бумеранг из железа.

— Папа, а папа?

«Мне что теперь, хвостом завилять, что ли? — подумал он. — Что, похоже, что у меня есть хвост? У меня мохнатая шерсть и радостно лакающий язык?»

Ярле попробовал отделаться от ощущения собакости и кивнул дочери.

— Да, — сказал он, — папа здесь.

— А у тебя телевизор есть?

Другие пассажиры с рейса Шарлотты Исабель выходили из внутренних помещений аэропорта и проходили мимо. Она все так же стояла, сложив руки на животе и вцепившись в оранжевую лошадку.

— Телевизор? — Ярле прокашлялся. — Ты имеешь в виду, есть ли у меня телевизор? — Он опешил. — Дома — у меня?

Девочка закивала, истово, несколько раз подряд.

— Ну да, есть у меня телевизор, — ответил он неуверенно.

— Нужно посмотреть похороны, — сказала его дочь, — и нужно забрать мой багаж. Так мама сказала. Что нужно не забыть забрать багаж. А можно поехать к тебе домой и посмотреть похороны? Принцессы Дианы? — Шарлотта Исабель сложила ручки, и лицо ее приняло озабоченное выражение. — Пли-из? Можно? А где твоя машина?

Сразу так много вопросов. Ярле попробовал сосредоточиться и выяснить, о чем же она, собственно, думает. О багаже? О Диане? О машине? *Пли-из*? Это всегда так с детьми, они не могут не думать несколько мыслей сразу?

— Моя машина? — Ярле снова сглотнул. — Нет... она... Это ты «вольво» имеешь в виду? Она в мастерской, — поторопился он сказать. — Мне жаль, но она в мастерской, вот, так что придется поехать на автобусе. А багаж, да! Конечно! Надо забрать багаж!

Машина?

«У меня же нет никакой машины, — подумал Ярле, — у меня же даже прав нет, но она совершенно очевидно ожидает, что у меня будут и права, и машина, — такие теперь детки пошли? Раз у человека есть дети, так он должен обладать кучей всевозможных вещей? Когда я был маленьким, было не так. Или

не было?»

Она шла рядом с ним к ленте выдачи багажа, а он рассматривал ее. Аккуратное маленькое тельце, мелкие шажки — настоящая девочка. Видел ли он таких маленьких девочек с тех пор, как сам ходил в начальную школу?

— А, вот вы где, — услышал он рядом чей-то голос и увидел старую даму из автобуса. — Так, значит, это ваша дочка? — Она наклонилась к Шарлотте Исабель, широко улыбнулась и погладила ее по щечке. — И ты летела совсем одна, что, от самого Осло? Вот какая взрослая девочка! А понравилось тебе летать? Мурашки в животе бегали?

Шарлотта Исабель кивнула:

— Да, немножко, когда самолет взлетал, тогда. Так здорово было. А когда садился, было больно ушам, но тогда тетя в самолете сказала, что надо зевать, и стало лучше, а еще мне дали пазл с самолетиком.

Ярле сразу же почувствовал облегчение, когда старая дама с ней заговорила с уверенной интонацией, с опытностью в руках и во взгляде, и он увидел, как Шарлотта Исабель сразу же расслабилась, как она почувствовала, что в ней признали ребенка, а не заставляют нервничать, как иногда заставляет какой-нибудь неумелый тип вроде него самого.

— Ну а как тебя зовут?

— Шарлотта Исабель, — сказала его дочь, — но мама с папой зовут меня просто Шарлоттой или Лоттой. А тебя как зовут?

— Ирмелин, — сказала старая дама и повернулась к девочке-подростку, которая снимала с ленты чемодан, — а это моя внучка Карианна, она тоже прилетела из самого Осло.

Ярле стоял в каком-нибудь метре от них и смотрел, как они разговаривают друг с другом, без всякого стеснения. Старшая явно чувствовала себя прекрасно в обществе двух девочек перед багажной лентой, и девочки чувствовали себя как дома. «Странно, — подумал он. — Будто они из одного племени, из какой-то кастовой системы, или будто они подчиняются какому-то общему закону».

— Это мой рюкзак, — услышал он голос Шарлотты (ей вроде бы хотелось, чтобы ее так называли — или Лотты?), и он инстинктивно отреагировал на то, что воспринял как конкретное задание, которое он был в состоянии выполнить: снять рюкзак с багажной ленты.

— Вот этот, — сказал он, решительно подхватил рюкзак и легко закинул его за плечи. — Этот? А больше ничего?

Шарлотта покачала головой:

— Нет, это все. В нем подарки на мое деньрождение, а у тебя

есть для меня подарки?

У Ярле забегали глаза.

— А что мы будем делать на мое деньрождение, вообще-то? Это же в четверг. Гостей позовем?

Глаза у Ярле все еще бегали.

— Да, — сказал он громко и решительно, — само собой... конечно! Конечно у меня есть для тебя подарок! Конечно позовем гостей!

— Ур-ра-а! — Девочка захлопала в ладоши. — А кто придет?

Ярле откашлялся и издал короткий натужный смешок.

— Нну, это, значит... это сюрприз. Ну ладно, — сказал он поскорей и обратился к пожилой женщине Ирмелин, будто она тоже была его родственницей: — Нда, знаете ли, дети, да... Ну, мы тогда пошли, пока?

Шарлотта улыбнулась и, продемонстрировав трогательную пустоту между двумя верхними зубами, подняла правую руку и сказала:

— А это моя поня. Я ее люблю.

В автобусе по дороге от Флесланна у Ярле горели уши, голова была тяжелой. Шарлотта Исабель приносила в этот тихий субботний день детский шум.

Он не мог вспомнить, чтобы ему когда-либо задавали столько всеохватных, перескакивающих с одного на другое вопросов, он не мог вспомнить, чтобы его мозгу раньше приходилось решать такие сложные задачи на концентрацию внимания. «А мы в Бергене сейчас? А почему на дороге так много поворотов? А почему у старой тетеньки была лиловая шляпка? А телевизор — у тебя большой?

А ты знаешь эту старую тетеньку? А кто это та девочка в наушниках, которая сидит рядом с тетенькой? А у тебя только один телевизор? А ты знаешь, что мою поню зовут Ида? А ты знаешь, что у меня есть лучшая подруга, она со мной ходит в один класс, ее зовут Сюзанна, и у нее есть брат, у которого есть мотоцикл, и мама, а у нее рак? Мама говорит, что вы были очень маленькими, когда друг друга полюбили, — это правда? А у тебя есть собака? А у тебя есть кошка? А у тебя есть микроволновка? А у тебя есть тамагочи?»

Когда они въезжали в центр Бергена, взгляд Шарлотты Исабель закрутился, как карусель, и она сказала восторженно, что никогда раньше не видела таких разноцветных домов, никогда, никогда, никогда.

— О, как это замечательно, когда дети любопытны, — сказала Ирмелин Йенсен, когда они прощались возле отеля «Норвегия».

Она присела на корточки, крепко обняла Лотту и улыбнулась Ярле. — Все будет хорошо, обязательно.

Ярле кивнул.

— Да, конечно, не сомневаюсь, — сказал он, стараясь придать словам легкости. — Славно пообщаемся, да.

— Какая ты счастливая девочка, у тебя такой замечательный отец, — обратилась она к Лотте.

Замечательный отец?

Шарлотта Исабель кивнула, отчего Ярле совершенно растерялся.

— Тебе здесь очень понравится, — сказала старая дама, — я думаю, тебе здесь так понравится, что все в классе будут тебе завидовать.

— Правда, да? — засомневалась Лотта.

Ирмелин Йенсен, двадцать второго года рождения, кивнула.

— Правда, папа? — Лотта повернулась к нему. — Эй, папа! Правда?

Он кашлянул:

— А-а — что понравится? В Бергене-то? Ну да. — У Ярле забегали глаза. — Ужасно понравится.

— Она копия отца, — сказала Ирмелин. — Это сразу видно.

Это видно сразу?

Ярле попытался разглядеть в дочери себя, пока они с Шарлоттой Исабель шли вверх по склону холма Ньюгорсхейден. Но это ему показалось трудным.

Она без устали перескакивала с одного на другое, останавливалась у фонарных столбов и кружилась вокруг них, обхватив столб одной рукой; задержалась около велосипеда, припаркованного перед магазином, присела на корточки и стала крутить оранжевый светоотражатель, прикрепленный к спицам; вдруг показала пальцем на высокого мужчину на другой стороне улицы, который стоял один с чемоданом в руках, и спросила Ярле, не знает ли он его. Трудно было разглядеть себя в этой девочке — клубке энергии, трудно было там разглядеть что-нибудь еще, кроме ребенка, казалось ему.

А как медленно, оказывается, дети ходят, понял он, когда у них ушло почти двадцать минут на то, чтобы подняться по склону от отеля до церкви Святого Иоанна. Как они невероятно медленно ходят!

У них ноги устают, и они все время останавливаются и никак не могут сосредоточиться!

Или нет?

Конечно, дети могут сосредоточиться, пришлось ему признать, когда он был вынужден проследить за взглядом дочери,

которая вдруг остановилась, поднялась на чье-то крыльцо и заглянула в окошко, воскликнув:

— Там у них собака!

«Она все время сосредотачивается», — думал он, произнося тем временем:

— А-а, в самом деле, и правда, у них там собака, надо же, послушай, идем, нам пора уже, а?

«Именно это она и делает, — думал он, — сосредотачивается, все выворачивается наизнанку с этой девчонкой, вся она представляет собой обращенный вовне любопытный вихрь, вбирающий в себя мир».

Обычно Ярле затрачивал на дорогу из центра домой не более четверти часа, теперь же прошел чуть ли не целый час, пока он смог сбросить рюкзак с плеч в своей квартирке. Шарлотта стремглав проскочила вперед него в гостиную, быстро осмотрелась, изумленно разинула рот, поразившись высоте потолка, показала на лепнину на потолке и спросила, что это такое, провела пальцами по обшарпанному дивану, вскарабкалась на него и стала прыгать на подушках, приговаривая:

— Я пить хочу, а где моя комната?

Ее комната?

— Где моя комната?

Целую неделю. Целую неделю вот с этим!

— Я пить хочу, где моя комната, папа?!

Ее комната?

Ярле вздохнул. Он снял туфли, повесил куртку в прихожей и пошел к ней. «Надо ей как-то постараться объяснить, что к чему, — думал он. — Надо ей объяснить немножечко, что я за человек, как я живу. Она наверняка привыкла жить в большом доме, где все устроено так, чтобы детям было удобно». Он сел на диван рядом со скачущей девочкой и почувствовал, как сотрясаются диванные подушки, открыл было рот, чтобы приступить к разъяснению, но его прервала Шарлотта Исабель:

— Папа! А почему у тебя волос нет? Ты такой старый? А ты на вид не такой старый. А почему у тебя выпали волосы? У моего дедушки тоже выпали волосы. А, папа?

Диван ходил ходуном.

— Нет, не поэтому, у меня не выпали, — начал он, — я так... их постриг.

— Ты их *постриг* так? А почему? А можно я потрогаю? — Девочка осторожно протянула руку к его бритому черепу и тут же отдернула. — Фу! Противно как!

Она снова запрыгала, и диван под ним заходил ходуном, а Ярле подумал: «Мне действительно придется объяснить ей, что к

чему. Так дело не пойдет. Она должна хоть немного понять мой мир, это явно необходимо, чтобы мы с ней хоть как-то могли сосуществовать. А если не поймет, то...» Он набрал в легкие воздух и повернулся к ней.

— Шарлотта, — начал он, но девчушка скакала, да и только. — Лотта... — Он повысил голос: — Лотта! Послушай меня. Это... — Он посмотрел на нее.

— А? А чего?

Что же он такое может сказать?

Что он студент? Что он читает книги по семиотике и изучает французские имена собственные? Что он живет иной жизнью, чем ее мать и отец? Что на него, как студента-дипломника, возложены определенные обязательства, что ему нужно готовиться к коллоквиумам, что ему необходимо прочесть несколько тысяч страниц, что это требует определенной концентрации внимания, более того, это требует, чтобы он отключился от окружающего, будучи студентом-дипломником, занимающимся ономастикой Пруста, и что она, когда вырастет, сможет, наверное, гордиться своим папой и с пониманием к нему отнесется?

Девчушка скакала по дивану туда-сюда. Она захлебывалась смехом и показывала ему промежуток между передними зубами, пайетки на груди блестели, светлые волосы летали вокруг головы, и вдруг, без какого-либо перехода, с ничего, она начала танцевать своим маленьким тельцем, бедрышки радостно завертелись, и она запела:

— I'm a Barbie Girl in a Barbie World, come on, Barbie, let's go party!^[7] — потом заулыбалась, запрыгала еще выше и еще быстрее и крикнула: — Эй! Иди попрыгай со мной, а, папа!

У Ярле открылся рот.

I'm a Barbie Girl?

In a Barbie World?

Многовато впечатлений за один раз.

Он поднялся. Он вышел на кухню.

Квартиру заполнял ее голос — высокий и тоненький певческий голос.

Целую неделю. Целую неделю вот с этим.

Он обеими руками оперся о кухонный стол, опустил голову и тяжело вдохнул. Потом выдохнул.

«О'кей, — сказал он себе. — О'кей. Ладно. Только спокойно. Только спокойно, Ярле. Все будет хорошо.

Barbie Girl. Все будет хорошо. Просто она ребенок.

Она, кажется, пить хотела? Начнем с этого. Barbie Girl? Нужно ее успокоить. Она экзальтирована. Для нее оказалось многовато впечатлений. Она летела одна. Этот день для нее совершенно

особенный. Она в первый раз встречается со своим отцом. Своим папой. Как бы то ни было. Ей нужно переварить эти впечатления. Ей нужно... вот именно, поотряхнуть их с себя, так сказать. Она ведь любит танцевать — так писала ее мать. Это заметно. Barbie Girl. Дети не умеют размышлять так, как мы, взрослые. Так что они впитывают впечатления иным образом, например... да вот, прыгая, и танцуя, и распевая. Или смеясь. К примеру. Но она же хотела чего-нибудь попить, — подумал он и открыл холодильник. — Вот с этого и начнем. Воды. Воды? А пьют дети воду? Как-то это слишком по-взрослому, — подумал он и спохватился, что нужно было купить соку. — Ну конечно же, сок — вот детский напиток, образцовый детский напиток». Но сока у него не было, так что он открыл холодильник и налил в стакан кока-колы.

Тут он услышал из гостиной вопль — пронзительный девчоночий вопль. Он подпрыгнул, тело дернулось, как оно никогда раньше не дергалось, — от страха, беспомощного страха. «Может, у меня там валялся нож, а она хотела поиграть, будто это игрушечный микрофон, и порезала губы? Или она упала и ударилась виском об острую кромку стола? Неужели всего через несколько минут после того, как она вошла в мой дом, придется подключать инспекцию по делам несовершеннолетних? Да, пусть придут и убедятся, что я для этого абсолютно не гожусь!»

Ярле, исполненный ужаса, добежал до комнаты в несколько скачков и там увидел свою дочь. Она стояла на столе, с выражением крайнего испуга на лице.

— Но, Лотта! Что случилось? Скажи папе! Что случилось?

Он быстро подошел к ней. Схватил ее за руки выше локтя, крепко стиснул.

— Лотта, Лотта, Лотта, что случилось? Ты не поранилась? Вот, держи, выпей немножко колы! Что случилось? Скажи папе, скажи, что случилось!

— Принцесса Диана! — широко раскрыв глаза, крикнула девочка и взяла стакан у него из рук. — Мы забыли про принцессу Диану! — Шарлотта, одним глотком осушив стакан, показала на стоящий в углу телевизор и закричала во все горло: — Включай телевизор, папа! Похороны показывают!!!

Первое, что им, отцу и дочери, довелось пережить вместе, были похороны принцессы Дианы.

Эту длинную передачу они смотрели с дивана в квартире на Мёленприс, и все это время Шарлотта Исабель просидела, держа в руках пони, и она время от времени принималась расчесывать ей гриву расческой золотого цвета, приговаривая, что все

лошадки любят, чтобы их расчесывали. Пока шла трансляция, Ярле отвечал на ее вопросы, и он нашел удовольствие в том, что мог помочь ей выговорить по-английски название Букингемского дворца — Buckingham Palace, и показать, кто из них Чарльз, а кто Тони Блэр и кто королева, и объяснить, почему там нет никакого короля, в то время как здесь, в Норвегии, король есть.

Кто из них Уильям и Генри, сыновья Дианы, ему не понадобилось показывать, потому что она прекрасно знала, как они выглядят, сказала она, слегка покраснев по-девичьи. Они обсудили злосчастную аварию, отчего глаза у Шарлотты Исабель заблестели, потому что ей было так ужасно жалко тех, кто умирает, и когда она представляла себе, как, наверное, больно, если машина попадает в аварию, то самой становилось чуточку больно, сказала она. Ярле сделал слабую попытку перевести разговор на информационное общество и объяснить ей, что папарацци должны бы нести долю ответственности за аварию, но это ее интересовало далеко не так сильно. Для нее было достаточно того, что произошла авария и что *в ней погибла настоящая принцесса*, и раз уж принцесса может погибнуть в аварии, то, значит, любой может погибнуть в аварии, даже мама, которая сейчас летит в самолете, сказала она, — и на это Ярле нечего было возразить, хотя он и пытался успокоить ее тем, что в воздухе нет папарацци, которые охотились бы за ее матерью.

Ярле и Шарлотта Исабель видели цветы, которыми были усыпаны улицы Англии, они видели крупным планом записки, которые английский народ оставлял принцессе, они видели, как телевидение со всех концов света показывает людей, которые, плача, рассказывали о том, что женщина, с которой они не были знакомы, как оказалось, так много для них значила. Они следили за медленным продвижением процессии с катафалком, разглядывали знаменитостей, приехавших на похороны. Ярле показал ей Стивена Спилберга и спросил, видела ли она «Инопланетянина». Видела, это очень грустный фильм, сказала она, особенно когда инопланетянин лежит в канаве и скучает по дому. Он показал ей Тома Круза и Элтона Джона и попробовал объяснить дочери, почему Диану называли народной принцессой. Это потому, что ее любил народ, сказал он, а Шарлотта Исабель спросила тогда, есть ли принцессы, которых народ не любит, и этот вопрос показался Ярле очень разумным, и он не мог не почувствовать определенной гордости за нее и ее сообразительность.

«Все-таки ей же всего семь лет, — подумал он. — Скоро будет семь лет, а она уже рассуждает так здраво и глубоко. Совсем неплохо», — счел он.

Проведя часок за просмотром передачи с похорон, Ярле намазал на ломоть батона сырок, который он не забыл накануне купить у Эрнана, и подал его девочке на одной из его черных тарелок. Прожевав, она сказала, что обожает батон и сырки, а он любит батон и сырки? Ну-у, ответил Ярле, как-то он, в общем-то, не пробовал. Попробуй, попробуй, убеждала она, потому что батон и сырки — это самое вкусное на свете; только странно есть с такой черной тарелки, а дома у нее есть тарелка с Мумитроллем, и тарелка с Пеппи, и тарелка с лошадкой, а просто черных нет; а ему не хочется, чтобы у него была тарелка с какой-нибудь картинкой, или он хочет, чтобы у него все тарелки были черные, точно такие, как вся его одежда, и его диван, и стол? Хочется, согласился Ярле, и снова ему показалось, что она рассуждает здраво и глубоко, надо же, обратила внимание на то, что, пожалуй, многовато черных элементов его окружает; хочется, может, стоит сейчас, раз уж она у него, купить несколько тарелок с картинками?

Так час за часом в этот тихий субботний день в сентябре 1997 года проходили перед телевизором. Шарлотта Исабель поджала под себя ноги и спросила, нет ли у него пледа. Она так это любит, сказала она, смотреть телевизор, укрывшись пледом, так всегда мама делает. Мама, сказала она, всегда лежит на диване, укрывшись пледом, и смотрит телевизор, и ест чипсы, и она тоже любит так делать, хотя Трунну не нравится, когда она или мама вот так просто лежат на диване. А у него, случайно, нету чипсов? Нет, Ярле пришлось признаться, что чипсов нет. Это ничего, сказала Шарлотта Исабель, они ведь все равно после похорон выйдут на улицу, чтобы купить субботнее угощение? Ну конечно, они обязательно так и сделают, сказал Ярле и ощутил пронзительную сентиментальность, когда осознал, что система с субботним угощением, к которой во всех ее подробностях он так привык, когда был маленьким, все еще не потеряла актуальности. Так что Ярле сказал, что, конечно же, они могут потом пойти купить всяких вкусностей для субботнего угощения, пойдут и купят их столько, сколько смогут унести, и он достал лоскутное одеяло, которое связала крючком его бабушка, — «смотри, это твоя прабабушка сделала», сказал он и укрыл ей ножки, представляя себе Анетту Хансен, с которой он когда-то переспал, лежащей на диване перед телевизором где-то там в Восточной Норвегии и жующей чипсы днями напролет.

— Да, раз уж мы заговорили о твоей матери, — сказал он ближе к вечеру, когда уже начиналась сама церемония прощания в церкви, — а что она, собственно говоря, делает?

— Что делает? — Шарлотта Исабель удивленно посмотрела

на него и натянула одеяло до самого подбородка. — Она летит.

— Летит, понимаю; я имею в виду, кем она работает? Твоя мать. Что она делает на работе?

— А, — сказала Шарлотта Исабель и просунула свои маленькие пальчики сквозь крупные петли в вязаном одеяле. — А в этом одеяле дырки, а мама, она работает в универсаме «Рема», ясное дело.

Ярле кивнул и постарался скрыть свою реакцию.

«В универсаме «Рема», ясное дело, — подумал он; ответ его вовсе не изумил, и он постарался совладать с собой и попридержать в узде свои предрассудки. — Так, значит, она работает в торговле, — подумал он, — продает продукты».

Гм.

Он, в общем-то, что-то в этом духе и предполагал.

Когда он увидел детский почерк, которым было написано ее письмо, увидел, как она изъясняется, и поразмышлял немного над всеми этими батонами, и сырками, и танцами, и поездками на юг, его уже посетила мысль о том, что она работает с чем-то в этом духе, если она вообще где-то работает.

Ну, значит, работает.

«Мать моего ребенка — простая кассирша», — подумал он.

И сейчас она проводит отпуск на юге.

Как ему к этому отнестись? Как студенту кафедры литературоведения, ощущающему себя принадлежащим к академической элите, Ярле было трудно смириться с тем, что у него были «отношения» с кассиршей.

«Поймите меня правильно, — сказал он себе, как если бы он разговаривал с кем-то другим, — я полностью отдаю себе отчет в том, что кто-то должен работать в продовольственной торговле и что человек по определению не становится из-за этого менее полноценным, но совершенно ясно, — добавил он, обращаясь к самому себе, — что мы движемся по совершенно разным орбитам, кассирша Анетта и я. Наши жизненные амбиции и планы совершенно различны. Она предпочитает после работы принять горизонтальное положение, пляться в телевизор и жевать чипсы. Я предпочитаю читать статьи, в которых Теодор Адорно предлагает деконструктивное прочтение Гегеля или в которых Ролан Барт анализирует импульс Кратила в имени собственном. Но, несмотря на эти расхождения, мы, значит, вместе сделали ребенка. Когда-то давно нас так сильно влекло друг к другу, что мы дали себе волю. Говорили ли мы тогда что-нибудь друг другу?»

Ярле попытался вспомнить.

Разговаривали ли они с Анеттой тем вечером 1990 года до

совокупления, смотрели ли в глаза друг другу? Нет.

Он вообще ничего не мог вспомнить. Даже как она выглядела. Вообще ничего. Никакой мелочи. Маленькие сиськи? Большие сиськи? Господи. Она ведь еще в средней школе училась!

Можно ли предположить, что если бы они не упились до полной потери сознания, то из этого выросло бы нечто большее, чем просто совокупление?

«Что ж, — сухо сказал он себе. — А вот и выросло. Дочь».

— Я обожаю принцессу Диану, — прошептала Шарлотта Исабель и попросила еще колы, когда Элтон Джон запел «Свечу на ветру». — А ты, папа?

— Что — папа? — сказал Ярле, выдернутый из своих мыслей. Он долил колы ей в стакан. — О чем ты спрашиваешь?

— А ты любишь принцессу Диану?

Он посмотрел на нее. На маленького человека рядом с собой.

— Да, — ответил он без ощущения, что лжет. — Могу сказать, что по-своему как-то люблю.

— Круто, — сказала его дочь и выпустила кока-кольную пену между зубами. — А вот Чарльз ее не любит.

Ярле посмотрел на нее:

— Что ты такое говоришь?

— Чарльз, — сказала дочка и побулькала колой в горле. — Он ее больше не любит. Так мама говорит.

Она говорит, что он дурак и любит тетку, которую зовут Камилла. Но он все равно пришел на похороны. Ты ведь видел, что он там, папа? Что он пришел на похороны?

Ярле кивнул. «А ведь ей всего шесть лет, — подумал он, — скоро будет семь. И такие взрослые мысли!»

— Да, — согласился он, — Чарльз пришел на похороны.

— Тсс, — сказала дочь. — Теперь нужно немножко помолчать, папа, потому что это очень красивая песня, и нужно немножко подумать об Уильяме и Генри, правда же, папа, и о принцессе Диане, она ведь умерла? О'кей?

Он посмотрел на нее. «Дети, — подумал он. — Они живут в своем собственном мире, это совершенно ясно».

— О'кей, папа? Об Уильяме и Генри? И о принцессе Диане?

— Да, — сказал он. — Сейчас мы немножко подумаем и о принцессе Диане, она ведь умерла.

— И она теперь на небе, — добавила Шарлотта Исабель Хансен.

— Может быть, — трезво заметил Ярле, не зная, обозначить ли собственную атеистическую платформу или по меньшей мере вернуть, что далеко не все верят, что после смерти можно попасть на небо.

— Нет! Ты что, папа! — возмущенно заявила Шарлотта Исабель, не успев он и рта раскрыть. — Ну конечно *она* попадет на небо! Она же помогала бедным и тем, у кого СПИД!

Ярле заметил, что к концу передачи Шарлотта Исабель стала спокойнее, чем была раньше весь этот день. Она болтала не так много, как он уже привык, и ему показалось, что у нее изменилось выражение глаз. «Ну-ну, — подумал он. — Ничего сверхъестественного в этом нет. Ей есть о чем призадуматься. Ей же пришлось все это принять как должное. Что мать уехала на юг. Что она сидит вот здесь со мной. Это наверняка столь же странно для нее, как и для меня».

Он посмотрел на нее.

«Только бы она теперь не расплакалась», — подумал он.

Хорошо, что у нее с собой эта пони. Которую можно расчесывать когда захочется.

Бергенский день потускнел.

Телевизионная трансляция из Англии закончилась, и отец с дочерью вышли из дверей дома. Перед этим они распаковали ее рюкзак, и Ярле увидел, как много маленьких одежек можно сложить в большой рюкзак вместе с двумя куклами, плюшевым мишкой, розовой косметичкой с улыбающимися собаками, пазлом с изображением замка, принцессой, и не менее чем с восьмью енотами, и с целой горкой красиво обернутых деньрожденных подарков. Шарлотта Исабель потребовала выставить подарки где-нибудь на виду в его квартире, чтобы она могла подходить и смотреть на них в любое время до самого деньрожденного праздника, и Ярле пришлось снять с одной из книжных полок приличную стопку книг по теории литературы, чтобы освободить для них место. Дочка переделалась прямо у него на глазах, и Ярле, разглядывая ее худенькое тельце, девчачий позвоночник, почувствовал, что ему надо было бы отвернуться.

Когда Ярле показал ей, где она будет спать, сказав, что это «твоя комната», Лотта примолкла. На полу в крохотном, как чуланчик, кабинете был брошен старый матрас. В комнате пахло застарелым никотином, хотя он и проветрил там несколько раз. На стене висел плакат с угловатой скульптурой Джакометти, и Ярле заметил, что девочке он показался страшным.

Рядом висела афиша группы «Блёр», изображающая несущихся галопом оскалившихся собак. А на двери висел большой портрет Теодора В.Адорно. Рядом с компьютером стояла фотография в рамке, и, когда Шарлотта Исабель спросила, это папа Ярле или кто, ему пришлось сознаться, что нет, не папа, — это человек, которого зовут Марсель Пруст. А когда Шарлотта

Исабель поинтересовалась, это товарищ Ярле или кто, ему пришлось сознаться, что нет, этого, пожалуй, тоже нельзя сказать, и пробормотал, скорее для себя самого:

— Но по духу, но по духу!..

Книжные полки в кабинете были забиты под завязку, на письменном столе тоже лежали навалом книги, свет был тусклый, и Ярле видел, как Шарлотта Исабель на холодном полу поджала пальчики на ногах.

— И это... моя комната? — прошептала она.

— Да, — прошептал он в ответ, — так что устраивайся, привикнешь.

Идя по улице к лавке, открывшейся после окончания трансляции похорон, Ярле буквально слышал, что его дочь думает о своей комнате. Пристыженный, что не приготовил ничего лучше замызанного матраса, он попробовал поднять настроение, сказав бодрым голосом:

— Ну вот, сейчас купим вкусенького субботнего угощения.

По пути к лавке Ярле вдруг пришло в голову одно воспоминание — теплое и исполненное сладкой истомы воспоминание конца семидесятых, как они с мамой отправились в торговый центр «Перепутье» в (тавангерском районе Мадла и зашли в кондитерский магазинчик, чтобы купить вкусенького на субботу. «Мама делала это ради меня, — подумал он. — А теперь я это делаю ради своей дочери».

— Эрнан, — сказал Ярле, когда они подошли поближе, и показал рукой. — Хозяина этой лавочки зовут Эрнан.

— А. Похоже на Герман, — сказала Шарлотта Исабель.

Ярле отворил дверь.

— Похоже, — сказал он, — но его зовут Эрнан. Он из Венесуэлы, а это очень-очень далеко.

В лавке были Эрнан и его жена Марисабель, они раскладывали по полкам разные овощи, а одна из дочерей доставала бананы из коробки с надписью «Бама» и подавала им. Как обычно, толстый венесуэлец, увидев Ярле, бросил все дела. Правой рукой он пригладил усы и со смехом воскликнул:

— Ага! Моргенбладет! Всегда тут! Ну вот, посмотрим-ка, посмотрим-ка. — Эрнан склонился над газетами и сделал вид, будто ищет что-то среди них. — Ах нет, ах нет, какая трагедия, и сегодня тоже нет «Моргенбладет»!

Ярле вдруг вспомнил, что он сегодня не заглядывал в почтовый ящик, чтобы посмотреть, не пришел ли ответ из редакции «Моргенбладет». Он расстроился. Неужели одно только присутствие этой девочки из Шеена настолько выбило его из колеи, что он забыл и о «Моргенбладет», и об ономастике Пруста?

Что же, он теперь вовсе утратит остроту ума?

— Какая хорошенькая девочка, — сказала Марисабель на своем так мило исковерканном норвежском, — это кто такая?

Ярле изобразил на лице мальчишескую улыбку:

— А, да это моя дочь, вот кто. — Он повернулся к ней. — Шарлотта, Лотта! Поздоровайся с тетей.

Шарлотта Исабель стояла перед младшей дочерью супругов из Венесуэлы. Две эти маленькие девочки, примерно одинакового возраста, просто стояли друг против друга, не двигаясь, и смотрели одна на другую. «Странно как», — подумал Ярле. Они не сводили глаз друг с друга, просто стояли там, как две маленькие собачки, и мерили друг друга взглядом. Не враждебно, не испуганно, а будто это были два зеркала. Шарлотта Исабель обернулась.

— Здравствуйте, — сказала она Марисабель, потом повернулась к Эрнану. — А я думала, что вас зовут Герман, вот.

Эрнан засмеялся так, что все тело заколыхалось, и заявил, что если бы она захотела, то его можно было бы называть и Германом.

— Герман из Венесуэлы, ха-ха. — И он ткнул рукой в Ярле. — Послушай-ка, Моргенбладет, Эрнан и не знал, что у тебя есть дети! Уважаю! Дети! Мой отец души не чаял в своих детях, отец моего отца души не чаял в своих детях, и отец отца моего отца души не чаял в своих детях, и вот видишь, что из этого вышло!

Шарлотте Исабель в этот вечер было разрешено выбрать любые сладости, каких бы ей ни захотелось.

— На этом не будем экономить, — сказал Ярле и подмигнул Эрнану, и ему показалось, что вот эти новые отношения, междунами-отцами-говоря, складываются прекрасно.

Он не стал рассказывать о том, что с собственной дочерью он и знаком-то каких-нибудь шесть часов.

Девочка наполнила большой пакет всякими солеными, и сладкими, и кислыми штучками, и, когда Ярле увидел, что у Эрнана есть жевательные конфеты-крокодильчики, он сказал, что они вкуснющие, правда, — он их больше всего любил в детстве, и он рассказал, что они с мамой всегда по субботам ходили в одно место, которое называлось «Перепутье», и покупали много таких, — и сам положил несколько крокодильчиков ей в пакет. И еще они взяли полтора литра кока-колы и готовую пиццу.

— Как жалко принцессу-то! — сказал Эрнан, когда они положили выбранное на прилавок. — Очень жалко. Мы смотрели всю передачу, всей семьей. Магазин закрыли и смотрели похороны. Очень жалко.

— Очень, очень жалко, — подхватила Марисабель у него из-

за спины, где она доставала из коробки пачки сигарет и раскладывала их по полкам.

— Очень, очень, очень жалко, — сказал Ярле. — И заставляет задуматься, верно? Она так много значила для... ну да, для простых людей. И можно, конечно, посмеяться над этим, если очень уж приспичит, но она все-таки совершенно без всякой иронии произнесла эти свои известные слова: «Someone's gotto go out there and love people, and show it».

— Без иронии? — Эрнан нахмурил брови. — Это ты о чем — без иронии?

— Да нет, я просто хотел сказать, что это немножко... — начал Ярле, но его прервала Шарлотта Исабель которая стремглав подлетела к прилавку.

— Ой, папа! — воскликнула она. — Папа! Смотри! — И она показала на лежащую на прилавке коробочку.

Ярле посмотрел на нее. Да? И что это? Какая-то... игра?

— Папа! Это тамагочи!

Тамагочи?

— Ой, я так хочу тамагочи! Пли-из, папа, пли-из!

— Ах, ну-ну-ну, — сказал Ярле и заметил, что голос у него приобрел отцовские интонации. — Ну-ну-ну, — продолжал он, — не можем же мы покупать все, на что ты покажешь, правда же? Ты же должна и мечтать о чем-то на день рождения, а?

Девочка разочарованно затопала ногами по полу:

— Ну вот, и мама тоже так говорит. У всех есть тамагочи, а у меня нет.

Эрнан и Марисабель засмеялись и понимающе закивали головами, и Эрнан сказал:

— Ну что же, Моргенбладет, как замечательно, что у тебя есть дочь! Дочь — это ведь жизнь и радость, вот так!

Когда они заплатили и уже собирались уходить, Ярле снова увидел, как это происходит. Шарлотта Исабель остановилась перед маленькой девочкой, которая сидя сортировала и укладывала в стопочки какие-то маленькие наклейки. Лотта присела на корточки, и девочки так сидя и смотрели друг на друга.

Эрнан кивал и улыбался.

Марисабель кивала и улыбалась.

Ярле не знал, куда и смотреть.

— Привет, — услышал он голос дочери. — Меня зовут Лотта, хочешь чего-нибудь из моего пакета? Я приехала из Шеена, а это мой папа, а мама на юге, и я видела похороны Дианы, а тебя как зовут?

— Ингрид, — сказала девочка, у которой были густые черные

волосы, и взяла красную жевательную ягодку из пакета у Шарлотты Исабель. — Меня зовут Ингрид. Это Моргенбладет твой папа?

Шарлотта Исабель опешила и посмотрела наверх, на Ярле, который обменялся взглядами с Эрнаном.

Тот довольно запрокинул голову и засмеялся, а потом сказал:

— Моргенбладет, да конечно, это ты и есть!

— Да, — сказала Шарлотта Исабель, — кажется.

Ингрид взяла со стола одну из своих наклеек. Она посмотрела на нее оценивающе, задумалась, наморщив нос, потом снова положила ее на стол и взяла другую.

Эта тоже явилась объектом пристального изучения, и через некоторое время девочка, по-видимому, приняла какое-то решение. Она протянула наклейку, на которой была нарисована голубая собачка, Шарлотте Исабель и сказала:

— Я тебе ее дам, если ты еще придешь сюда к нам.

А когда маленькие дети ложатся спать?

Щупленькое тельце Шарлотты Исабель к концу проведенного перед телевизором вечера сонно обмякло, плечики опустились. Они просмотрели все передачи, которые на этот день стояли в программе. Во время детского часа Ярле наблюдал, как много времени дочка затрачивает на каждую вкуснятину, которую она доставала из лежащего на коленях пакета. После детского часа они разогрели в духовке пиццу и съели ее, запивая кока-колой. Ярле заметил, что девочка уже здорово просахарилась, когда она в половине девятого настояла на том, чтобы потанцевать.

— А музыка у тебя есть какая-нибудь? — поинтересовалась она.

— Ну, — сказал Ярле, — да, записей-то у меня много, но...

— «Аква»?

— Не-ет...

— «Спайс-Гёрлз»?

— Не-ет... Может быть, ты слышала про... такую... Бьорк?

Лотте скорчила рожицу и покачала головой. Она плюхнулась на пол.

— Фу! — сказала она и обхватила голову руками. — У тебя же одно старье.

«У меня одно старье. — Ярле кивнул. — Это во многих отношениях верно, — подумал он. — У меня одно только старье. Я во многих отношениях живу не сейчас», — подумал он и осмотрелся. Куда же, собственно, подевалась современность? А ведь она была здесь, прямо перед ним, и сегодня он поучаствовал в ней сильнее, чем за очень долгое время, разделив похороны

принцессы Дианы с Шарлоттой Исабель, и он вынужден был признать, что это доставило ему определенную радость. Этот день, который начался так тихо, который содержал в себе так много нового и свежего шума, оказался совсем непохожим на все другие дни, которые он в последнее время прожил. Определенное оживление, определенный привкус присутствия в современности. Обычно он не принимал участия в современности, пришлось ему признать, и точно так же он знал, что так было далеко не всегда. Совсем напротив: раньше, собственно говоря, вплоть до совсем недавнего времени, он был глубоко погружен в современность.

Он следил за политическими событиями, он знал о новых веяниях в музыке и обо всем, что происходило в поп-культуре, а теперь? Что-то такое произошло за последний год, и он как-то медленно, но верно погрузился в... старье. Он уже много месяцев не покупал пластинки. И что в этом было плохого? Разве плохо было, что, если уж говорить начистоту, в обществе имелись люди, которые были безучастны к современности, которые не знали, как развивается ситуация на Балканах, или в Сомали, или во внутренней политике, которые и ухом не вели, когда премьер-министр Норвегии говорил, что уйдет с поста, если на ближайших выборах в стортинг его партия не получит 36,9 процента голосов, которые не видели в колоссальном количестве нуворишей ничего иного, кроме преходящей фанаберии, и к тому же плохо разве было, что имелись люди, которые отмежевывались от современности со всей ее сиюминутной и тщеславной шелухой и углублялись в... старые вещи, важные вещи, вечные вещи?

Это было не так, когда он приехал в Берген семь лет назад, точно было не так. Тогда, едва вылупившись из старинной ставангерской гимназии, он атаковал город с ювенильным любопытством и впитывал современность в себя, как — а вот именно что! — как ребенок. Он вихрем проскочил вводные курсы с хорошими оценками, он пописывал в студенческую газету, он готовил программы на студенческом радио, он участвовал в политических объединениях, он забыл богатый город нефтяников, из которого приехал, и безусловно принял все, что было здесь и что было *сейчас*.

Но теперь?

«Она права, — сказал он себе, — что-то такое старческое витает тут надо всем. Я воспринимаю себя как молодого человека, но живу в каком-то смысле как одинокий сорокалетний мужчина в девятнадцатом веке. Я читаю толстые книги, я через регулярные промежутки времени совокупаюсь со своей знакомой, и я занимаюсь своими делами. Но и слава богу, а то «Аква», Спайс-Гёрлз!»»

Около девяти Шарлотта Исабель начала позевывать рядом с ним. Она сказала, что теперь уж, наверное, мать и отец приехали на юг и что она тоже поедет на юг, когда будет большая.

— А что... — спросила она, — что мы будем делать завтра?

«Нда, — подумал Ярле. — И действительно, что бы такое придумать, какое занятие на завтра?»

— Ну-у, — протянул он, — а чего тебе хочется?

— Не знаю, — сказала девочка и снова зевнула. — Веселого чего-нибудь.

Ярле кивнул.

Вот так оно с детьми.

Веселого. Они хотят все время веселиться.

Были бы это любые другие выходные. Ярле позвонил бы Хассе или Ариллю, чтобы узнать, не собираются ли они на концерт в «Хюлен», или не хотят ли они заглянуть в «Гараж», помариновать мозги в алкоголе. Может быть, он прочитал бы несколько страниц из Томаса Манна, может быть, перечитал бы некоторые места у Пруста, и он бы наверняка постарался выяснить, где обретається Хердис Снартему. А вот теперь он сидит здесь.

Он же не может никуда пойти.

И когда же это маленькие дети ложатся спать?

И что делать, когда они лягут?

Можно ли, например, налить себе пивка и устроить праздник типа «один дома»? А что, если ребенок заболит, что, если он позже вечером или даже ночью проснется и нужно будет везти его в больницу скорой помощи с ветрянкой или краснухой?

Нет, отец должен сознавать свою ответственность.

Но что, если человек не хочет брать на себя такую ответственность?

Что, если сама свобода от ответственности является предпосылкой свободной, критической и интеллектуальной мысли и ее исходно необходимо обрести, если собираешься достичь тех глубин и широт, для завоевания которых некоторые, несмотря ни на что, предназначены?

И когда же, собственно говоря, ложатся спать маленькие дети?

«И могу ли я, — подумал он, — когда она ляжет, позвонить кому-нибудь, например Хассе или Ариллю? Могу ли я пригласить кого-нибудь к себе на пару бутылок пива, не опасаясь проболтаться о том, что в кабинете у меня спит девочка, которой скоро исполнится семь лет? А то хорош я буду тогда!»

В половине десятого Шарлотта Исабель сказала, что хочет переодеться в пижаму; она достала своего плюшевого мишку и завершила вечер в довольно спокойном модусе. Есть у детей

такая потребность. В покое и безопасности. Они могут беситься целый день напролет, как живые сгустки энергии, в теле у них могут роиться принцессы, и ракеты, и хлопушки, они могут задавать самые дурацкие на свете вопросы, но внезапно наступает момент, когда им нужны плюшевый мишка и пижама.

Он проводил ее в ванную, и ему пришлось принести ей с кухни стул, чтобы она доставала до зеркала, когда чистит зубы.

— Все нормально, да ведь? — спросил он с опаской, глядя, как она выживает розовую зубную щетку из косметички.

— Ухм? — Она странно посмотрела на него.

— Ну, все ведь нормально, правда, тебе тут у меня нормально?

Девочка закусила нижнюю губу и задумалась.

Она вздохнула.

— Ну да-а, — сказала она. — Только, знаешь, папа...

— Ну?

— А мы наклеим мою наклейку на зеркало в ванной?

— Ты что, с ума сошла? — не сдержался он, тряся в изумлении головой. — Налепить наклейку на...

Разочарование расплзлось со лба Шарлотты Исабель вниз по лицу, захватывая глаза, потом поджатые губки; руки упали на колени.

— Или ну ладно, — сказал Ярле, крикнув. — Почему бы и нет? Покажи, куда ее прилепить, слышишь?

Шарлотта Исабель просияла, пальчики потянулись к зеркалу, и она прицепила голубую собачку, которую она хотела назвать Ингрид, в нижнем левом углу. Они сошлись на том, что получилось хорошо и что теперь уже можно было идти укладываться в постель.

Когда Ярле провожал ее из ванной в кабинет, или в ее «комнату», раздался звонок в дверь. Ярле дернулся, как будто его застали за чем-то постыдным. Он шустро открыл дверь кабинета и пропихнул Лотту в темноту. Быстро откинул одеяло, показал на матрас и прошептал:

— Вот, хорошо, спи теперь, спокойной ночи.

Ярле закрыл за собой дверь и выдохнул. В дверь снова позвонили. Кто бы это мог быть? Он стоял посреди гостиной и пытался притвориться, что его там нет. Позвонили в третий раз, долго и возмущенно. Госсподи. Дыша носом, он сделал шаг к двери.

Кто бы это мог быть? Ему была невыносима мысль, что кто-нибудь узнает, что он здесь засел с дочерью. Это было бы слишком. «Я студент-старшекурсник. Я Ярле Клепп. Я никакой не отец, или я, конечно, отец, но это не мое я, понимаете? Старая

женщина из автобуса может знать, что у меня есть дочь, — подумал он и двинулся к двери. — Эрнан и его семья могут знать, что у меня есть дочь», — подумал он и приткнулся к дверному глазку.

«Черт! — подумал он, когда увидел, кто это. — Только этого не хватало!»

— Моя поня! — услышал он из комнаты вопль Шарлотты Исабель. Голос у нее был теперь совсем другой — испуганный, тоненький, жалкий. — Моя поня! — услышал он, вглядываясь в пространство коридора за входной дверью, ее рыдания. — My Little Pony!^[8]

Черт, черт, черт!

Ей был 31 год, она была такая красивая, что, увидев ее, даже маленькие дети останавливались и не могли отвести взгляда, она происходила из семьи с немалыми старыми деньгами, она долго спала по утрам и никогда не ложилась раньше полуночи, у нее были длинные ноги и шальные бедра, она редко ездила домой, в маленькое село на юге Норвегии, откуда была родом, — почти не бывала там, она писала о Вирджинии Вулф, исходя из феминистического диалогического дискурсивного анализа, построенного на базе постструктуралистских теоретических исследований, и вот она стояла у него под дверью и хотела войти.

На протяжении последних месяцев Ярле не раз удивлялся тому, что Хердис Снартему именно его выбрала товарищем своих постельных игр. Он к такому не привык, чтобы его индивидуально отбирали для телесных наслаждений овеванные славой девушки, напротив, раньше такого никогда не случалось.

Ярле не приобрел привычки считать себя неотразимым мужчиной, каковую отдельные парни приобретают уже с ранней юности, когда на школьном дворе им доводится осознать, что они рождены с такими движениями и ухватками, от которых у большинства девушек разливается по телу радостное тепло. Если Ярле даже и приобрел отчасти привычку подобного рода, то она имела свойство требовать значительного вклада от него самого. Чаще всего те, за кем он бегал, доставались ему, если только он проделывал основательную предварительную работу. Если он прилагал массу усилий, если он достаточно долго паялся на них, если он откровенно давал понять, что не сдастся, пока она не станет его девушкой, то она становилась его девушкой. Хердис Снартему разрушила все эти привычки. Они познакомились на вечеринке литературоведов дома у Роберта Гётеборга, и она прямо-таки пожирала его глазами, к его несказанному изумлению, поскольку он инстинктивно счел, что она слишком красива для безупречной жемчужины вроде него, а через несколько часов он уже лежал, прижавшись к ее маленькой груди, а она повторяла: «Вот так, да, давай еще, мальчик мой». Вполне можно сказать, что Хердис Снартему подарила Ярле новые впечатления: он состоял в исключительно физических отношениях с женщиной, на что он всегда, в случае своих приятелей, взирал сверху вниз, и вообще состоял в отношениях с чуть ли не проблемно красивой женщиной, на которую, он знал, все вокруг смотрели либо с завистью, либо с похотью.

Хердис Снартему, со своей стороны, не привыкла, чтобы ей

отказывали. Можно было вообще заподозрить, что она никогда и не слышивала «нет» в ответ на любой вопрос, какой бы она ни задала, потому что так ведь и бывает с чрезмерно красивыми девушками: люди не могут ничего поделаться с тем, чтобы не танцевать под их арфу, они получают все, чего ни пожелают, и благодаря этому они быстро привыкают к тому, что их окружает сплошная благожелательность, точно так же как они привыкают к тому, что, когда они звонят в дверь, та открывается.

— Ярле! Открой! Я знаю, что ты здесь!

Она позвонила уже три раза, и теперь она начала громко колотить в дверь.

Ее вопли эхом отдавались от стен лестничной площадки. Ярле стоял тихохонько и старался не дышать.

По голосу ее было слышно, что она пьяна. «Черт, — сказал он себе, — черт! Этого мне только не хватало!»

— Папа! My Little Pony!

Дверь кабинета за его спиной открылась, и из темноты появилась Шарлотта Исабель с испугом в глазах. Ярле как можно более быстро и бесшумно подошел к ней и грубо затолкал ее назад, в комнату:

— Да, да, папа ее тебе принесет! А теперь ложись!

— Ну, папа! — закричала она, всхлипывая. — Мне страшно!

— Нет, не страшно, — тихо прошипел Ярле, сунув ей пони. — Вот, теперь спи. Спокойной ночи!

В дверь снова заколотили. Он закатил глаза.

Черт. Черт, черт! Ну что же делать? Ярле сглотнул.

— Ярле! А ну открывай! Я знаю, что ты там! — Голос Хердис гулко отдавался от стен на лестничной клетке.

— Папа! А кто это там кричит?

Он сердито обернулся к малышке, которая столбиком сидела на матрасе, держа на руках пони:

— Спи сейчас же, слышишь ты!

— Ну, папа, скажи! Кто это там?

Он зашел к ней, присел на корточки, посмотрел на нее с непререкаемым авторитетом:

— Послушай, Шарлотта Исабель, твой папа не такой... ну... как другие папы. Не как твои мать и отец. Он не валяется на диване, пялясь в телевизор и поедая чипсы, он не работает в автомастерской или универсаме, он изучает литературу, и он живет здесь, и... ну вот. Такие дела. А сейчас ночь, и... и теперь у тебя есть здесь своя комната, и...

— Ярле! — В дверь снова заколотили. Теперь еще сильнее.

Девочка перед ним задрожала.

— Ты понимаешь? Сейчас взрослое время. Уже поздно.

Спокойной ночи. Увидимся утром.

Он решительно уложил Шарлотту Исабель в постель, подоткнул одеяло вокруг нее, как если бы она лежала в коробке, и закрыл за собой дверь.

«Деваться некуда, — подумал он. — Придется открыть. Просто фантастика. Просто невероятно, к чертовой матери. Я не могу — не могу — держать у себя детей. И это факт. Я живу совершенно иной жизнью».

Уже приготовившись открыть, он обратил внимание на го, что за дверью как-то поутихло. Он прильнул к глазку, но ничего не было видно. Может, она ушла? Она же там стояла и вопила всего несколько секунд тому назад! Он снова посмотрел в глазок, но никого не увидел. Он осторожно нажал ручку двери вниз и открыл.

Грета, соседка, стояла на коленях у торцевой стены между квартирами. Она гладила Хердис Снартему по щеке и приговаривала:

— Вот так, хорошо, все будет... Эй, это вы там? — Грета подняла голову. Привет, да, я тут услышала шум, вот и... — Она криво улыбнулась Ярле. — Э-э-э... она что, она к вам пришла?

Хердис издала какие-то отхаркивающие звуки и неуклюже попыталась подняться на ноги, и Ярле так хотелось, чтобы она оказалась как можно дальше отсюда.

— Нда, но... — Он кашлянул. — Я ее не приглашал, ничего такого, я не могу отвечать за это, но да, я, конечно, знаю, кто это...

Грета посмотрела на Ярле холодным взглядом, который говорил: «И я это знаю. Ярле, я ее и раньше видела, по правде говоря».

Она кивнула и приподняла Хердис. Та провела языком по передним зубам, протянула нетрезвую руку к щеке Греты и, пробормотав: «Спасибо, милочка», тяжело навалилась на Ярле. Он попытался как ни в чем не бывало покачать головой и пожать плечами, но Грете ему не удалось впечатлить.

— Ну ладно, — сказала Грета, — если потребуется какая-нибудь помощь, обращайтесь.

— Нет-нет, — поторопился он сказать, переволакивая Хердис через порог, — я справлюсь, так что никаких проблем, совсем никаких проблем, и спасибо большое, но все в полном ажуре. Хорошего вечера, Герда!

— Меня, вообще-то зовут Грета, — сказала она с улыбкой, отвернулась и крикнула: — Сейчас мама придет и почитает тебе, Даниэль! Ты допил молоко? В туалет сходил?

«Действительно, как она странно выглядит, подумал Ярле,

второй раз за день извиняясь за то, что перепутал имя. — Есть в ней какое-то тепло, совершенно поразительное, — думал он, когда она уже закрывала дверь, — и она очень, очень, очень, да, именно что *очень* красивая, причем совершенно непостижимым образом».

Ярле с трудом затащил Хердис в комнату, поддерживая ее под мышки, и она завалилась на диван. Он снял с нее куртку, туфли и убрал волосы с лица. Косметика растеклась и проложила извилистые дорожки на скулах. Похоже было даже, будто она плакала, что было трудно представить, — чтобы Хердис Снартему умела плакать. Она была откровенно, в зю-зю пьяна уже в десять часов вечера в субботу, и, насколько Ярле ее знал, это было необычно, тем более на следующий день после такой неслабой вечеринки, какая у них состоялась вчера. Разговаривать с ней, очевидно, не было смысла, понял он, попробовав задать несколько вопросов, оттянув вверх ее веки, как если бы это были занавески, и заглянув в спящие зрачки. Когда он укрывал ее пледом, через который незадолго до этого Шарлотта Исабель просовывала свои детские пальчики, она мурлыкала, как кошка, и бормотала: «Да, ты мой мальчик, иди ко мне, сейчас получишь свою Хердис», и какие-то секунды он думал, а не сделать ли именно это, не переспать ли с ней, пока она спит, но отбросил эту мысль.

В своей жизни он и так осуществил на одно коматозное соитие больше, чем надо бы, и его результат покоился во сне в его кабинете.

Так он думал.

— Папа, а она кто?

Ярле обернулся.

Шарлотта Исабель стояла позади него, держа обеими руками пони, в пижаме, маленькая, с большими распахнутыми глазами.

— Ты там стояла... — Он вздохнул. — Лотта.

Ярле подошел к дочери с решимостью во взгляде и собирался отвести ее назад в комнату. Но сам себя остановил.

— Лотта, так нельзя... Лотта.

Ярле сел в кресло.

— Лотта, Лотта, Лотта. — Он тяжело выдохнул.

— А?

— Ты не должна сейчас бодрствовать.

— А она кто, папа?

Кто она? Ярле посмотрел вверх. Потом кивнул:

— Ну, это... это одна моя подруга. Она сегодня немножко приболела.

— Может быть, у нее температура? — Голос Шарлотты

Исабель был спокоен теперь, в поздней темноте.

— Температура? — Ярле окинул Хердис взглядом. — Да уж, разогрелась, это верно.

— Беденькая, — сказала Лотта и подошла к Хердис.

Девочка встала перед ней и тихонько погладила ее по лбу своей ручонкой, которой скоро исполнится семь лет.

— А ты ей измерил температуру? Это так противно. Правда же противно? И знаешь, папа... я хочу, чтобы горел свет, когда я сплю.

Ярле посмотрел на дочь. «Она хочет, чтобы не выключали свет», — подумал он и вспомнил по опыту собственного детства, как было трудно заснуть в темноте.

— Да, ну конечно, не будем свет выключать, — весело сказал он и повел ее в кабинет. — И вот еще что...

Они вошли в комнату, и он включил настольную лампу.

— Ммм?

— А ты в туалет сходила, собственно?

Девочка кивнула.

— Хорошо. И вот еще что...

— Ммм?

— Может быть, папа тебе немножко почитает, а?

Шарлотта Исабель закусилла нижнюю губу и улыбнулась.

— Нда, — сказал Ярле и растерянно окинул взглядом книжные полки. — Нда... — Он почесал голову. — Если только у твоего папы найдется что-нибудь, что можно читать детям, тогда...

Отец с дочерью стояли перед книжной полкой Ярле. Из гостиной слышалось тяжелое с перепою дыхание Хердис Снартему. Они двигались вдоль полок в кабинете, и Ярле высматривал что-нибудь подходящее для детей. Он обратил внимание на то, что Шарлотта Исабель молча шла рядом с ним, доверчиво ожидая, что он сдержит обещание почитать что-нибудь, и он осознал там и тогда, что нарушить это обещание он не может. «Господи, — подумал он. — У меня же есть только тяжеловесные эссе без точек и запятых. У меня же только французские романы, в которых рассказывается о том, как свет падает на кухонный стол. У меня же только стихи, в которых испытываются на прочность границы языка. Я же сдал все эпические повествования в старую книгу. Королевские саги Снорри?

Они слишком затянутые, слишком кровавые. Господи.

У меня же тут много сотен книг, — думал он. — Неужели у меня действительно ничего нет, ни одного-единственного жалкого, коротенького рассказика, который можно прочитать

ребенку?»

Ни одной-единственной книжки?

Шарлотта Исабель выжидательно смотрела на него:

— А что мы будем читать, папа?

«Может быть, придумать какую-нибудь сказочную версию Пруста, — подумал он, — что-нибудь про человека, который ищет утраченное время?»

— Ну-у-у, папа, что мы будем читать? У тебя так много книжек, папа! Они смешные?

Ярле отвел глаза от книг.

— А знаешь что, — сказал он, — давай не будем читать. Папа придумает тебе историю. Сам придумает. И только для тебя.

Глаза у дочери засияли, она задрожала в предвкушении всем своим воробыным тельцем и улеглась, полная ожидания. Шарлотта Исабель похлопала ладошкой по матрасу, и Ярле понял, что это значит, что он должен лечь рядом и рассказывать. И когда Хердис Снартему вскоре захрапела в гостиной, Шарлотта Исабель засмеялась и сказала, что мама тоже так храпит, но когда мама так делает, то отец ругается, берет одеяло и уходит спать в комнату в подвале.

Ярле сочинил историю про принцессу. Она у него была маленькая ростом и с длинными светлыми волосами, потому что он думал, что важно, чтобы Шарлотта Исабель могла узнать себя в том, что он рассказывает. Он рассказал, что как-то темным осенним вечером принцесса скакала верхом по пустоши, а потом она упала с лошади и умерла. Шарлотта Исабель сжала свою пони ручонками, и глаза у нее стали большие, как блюдца. Ярле рассказал, что прекрасной маленькой принцессе устроили грандиозные похороны, и он видел, как дочка вживается в его историю. Внезапно он понял, что переживание и узнавание становятся слишком уж непосредственными, что Шарлотта Исабель принимает все слишком близко к сердцу, будто это он о ней рассказывает и будто бы это она умерла, и он потихонечку свернул эту историю.

— Это были красивые похороны, — продолжал он, — пришло много людей, и один человек спел прекрасную песню в честь принцессы.

Тогда Шарлотта Исабель засмеялась:

— Это был Элтон Джон, знаю.

— Да, — сказал Ярле, — это и вправду был Элтон Джон. А что потом случилось, как ты думаешь?

— А вот что, — прошептал Ярле, — настал вечер. Похороны закончились. Стало темно. В церкви было тихо. И вдруг послышался какой-то звук. Какой-то скрип. И этот звук

раздавался из гроба. Из гроба принцессы.

Шарлотта Исабель рядом с ним затаила дыхание, потом спросила:

— Звук? Из гроба?

— Да, Лотта, звук из гроба. Скрипела крышка гроба. Она зашевелилась, и оттуда высунулась рука, потом тело, и из гроба встала принцесса. Она вовсе не умерла, нет, конечно же не умерла!

Шарлотта Исабель улыбнулась всем своим существом.

— Конечно же нет, — повторила она, — конечно же она не умерла.

И Ярле рассказал, как принцесса встала из гроба и огляделась. Она убедилась, что никого там больше нет, и выбралась из церкви наружу.

— И что она тогда сделала? Папа! Что она сделала тогда?

Ярле улыбнулся.

— А знаешь, Шарлотта Исабель, — сказал он, — наша принцесса выбралась из церкви наружу, была ночь, и она убежала через лес, на волю, потому что она больше не хотела быть никакой принцессой!

Ярле хлопнул в ладоши, подавая знак, что рассказ окончен, но Шарлотта Исабель сидела рядом в задумчивости.

— Что-то не так, Лотта? — спросил он.

— А почему она больше не хотела быть принцессой?

— А тебе это не понравилось?

Ярле поднялся и укрыл ее одеялом.

Нет, — прошептала Лотта. — Мне это не понравилось.

— Ну-ну, — сказал Ярле и погладил ее по головке. — Я тебе, во всяком случае, историю рассказал. Так что теперь можешь спать.

— А ты к своей подруге пойдешь, да? — прошептала Шарлотта Исабель.

— Не-ет, — ответил Ярле. — Она пусть спит в гостиной. Я буду спать в своей спальне. Ну, спокойной ночи.

— Спокойной ночи, папа, — сказала Шарлотта Исабель и отвернулась к стенке, чтобы спать.

Ярле вышел в гостиную, сел. В квартире сгустилась тьма. Он огляделся. Ну и денек! Странная тишина, в которой скрывались похороны. Диана, которая так занимала его в детстве и которой он теперь не помнил. Прекрасная черепахоподобная соседка. Хердис, по непонятно какой причине упившаяся вдрызг, к десяти вечера ввалившаяся к нему, перебудив всех. Квартира, полная детских шмоток. Новехонькая дочь. Он устал. Устал совсем иначе, чем обычно, устал всем своим существом. Вот так он сидел и

смотрел попеременно то на подарки для Шарлотты Исабель, расставленные на книжной полке, то на Хердис, лежавшую на диване, которая даже в состоянии полнейшего опьянения вызывала в нем желание пристроиться у нее между ног.

Часов в одиннадцать Хердис вырвало в полусне, и Ярле пришлось за ней убрать и перенести ее на свою кровать. Она проснулась, впрочем не полностью, на несколько минут, и пробормотала, что пусть он только посмеет разболтать об этом кому-нибудь, если он это сделает, то она лично поднимет его на смех у всех на глазах и приложит все усилия к тому, чтобы он никогда больше не увидел ни миллиметра письки Хердис, и она лично займется тем, чтобы его отчислили из университета, а что касается всяких поганных шведов, то пусть забирают себе своего Ингмара Бергмана и засунут его себе в жопу и, пожалуйста, пусть забирают себе своего женоненавистника и извращенца Стриндберга и втыкают в него булавки, пока он не станет похож на чучелко вуду, а что касается чертовых жителей юга Норвегии и чертова перекрестно-перетраханного местечка, откуда она родом, то она лично позаботится о том, чтобы оно было стерто с лица земли и из памяти человечества.

Тут она снова заснула. Лежа на животе, в его постели.

Ярле привык к тому, что в подпитии Хердис не стеснялась в выражениях, но все-таки на этот раз, очевидно, что-то случилось. «Ну-ка, Хердис, чем это ты таким занимаешься, о чем я не знаю?»

Он почистил зубы, слегка прибрался в квартире, и чувствовал он себя заметно иначе, чем обычно.

Часов в двенадцать он лег спать.

Заснул.

Ближе к середине ночи он проснулся от холода. Кто-то тянул за одеяло. Он вздрогнул, почувствовав, как под бок пристроилось чье-то тело, совсем не такое тело, к каким он привык, — маленькое, горячее и щупленькое тельце.

Он лежал не шевелясь и притворялся, что спит. Шарлотта Исабель всхлипнула, прижавшись к нему, пошептала что-то немножко, и Ярле сумел расслышать слова «мама» и «принцесса Диана».

«Плачет, что ли? — подумал он, продолжая притворяться спящим. — И что, лежит в моей постели и плачет?»

Хердис спала тяжелым похмельным сном на другом конце кровати, и через какое-то время Ярле услышал, как Шарлотта Исабель задышала ровнее, и он решил, что она заснула.

«Странно, — подумал он. — Вот, значит, лежу я, Ярле Клепп. Рядом со мной лежит маленькая девочка, и это моя дочь, а вон там лежит женщина. Кто она такая, я до конца не знаю. Ну совсем

как семья какая-нибудь», — подумал он.

Ярле не спалось в эту ночь. Совсем-совсем. Слишком многое случилось в этот день. Слишком многое пришло в движение. Он слышал все. Каждый отдельный стук сердца в комнате.

Часть вторая

А что значит «феминистка гребаная», папа?

Когда Ярле был маленьким, в 1970-е годы, воскресенья казались ему длинными и скучными. Все будто бы останавливалось, словно весь мир на целые сутки переводили в режим ожидания. «А сейчас пойдем в церковь. Сейчас никто не должен работать. Сейчас все магазины должны быть закрыты. Сейчас все автомобили должны быть припаркованы». Ему не нравился этот фальшивый темп, он чувствовал, что на него переходят, чтобы порадовать стариков, в нем от этого росло нетерпение; не нравились ему и искусственные развлечения, присущие воскресеньям: прогулки по лесу, походы в музеи, посещение родственников. Не потому, что он не любил лес, музей или родственников, — совсем наоборот, он обожал бродить по лесу в поисках интересного: увидеть саламандру, половить головастика, — но потому, что эти воскресные мероприятия были какими-то надуманными, вроде бы поэтому?

«Поэтому, — подумал Ярле в воскресенье, 7 сентября 1997 года, и сварил кофе на двоих. — Да, именно поэтому, — подумал он и зевнул. — Как трудно ясно мыслить в воскресенье, — пришло вдруг ему в голову, — потому что — во всяком случае, если у тебя есть семья, о которой тебе нужно заботиться, — все в этот день окрашено этим навязчивым оттенком. В воскресенье ты как бы *должен* заниматься всеми этими вещами. Ты *должен* ходить на прогулки. Ты *должен* посещать музеи. Ты *должен* то, ты *должен* сё».

Яркое солнце высвечивало этим утром пыль на кухонном столе, Ярле отжал валявшуюся в раковине тряпку. «А я был уверен, что маленькие дети просыпаются рано, — думал он, наблюдая за тем, как очищается поверхность стола. — Я был уверен, что они вскакивают в половине седьмого свеженькими и выспавшимися, но вот Шарлотта Исабель, очевидно, не такая». Что Хердис все еще спала, он мог понять, но вот Лотта?

Ярле уже несколько раз подходил к спальне и заглядывал в дверь, сам-то он встал в половине восьмого. «Посмотрю только, не проснулись ли они», — говорил он себе. Но каждый раз его взору предстала все та же картина. Из-под одеяла высывалась нагая женская ступня с тщательно напедикюренными ногтями, волосы во сне спутались; Хердис так и продолжала спать на животе. Рядом с ней на спине лежала с приоткрытым ртом Шарлотта Исабель, одеяло она скинула, лоб немножко вспотел, и одной рукой, откинутой в сторону, она слегка касалась волос Хердис.

Он уже не раз подумывал, не разбудить ли их, но все же не стал этого делать. Зато он принял душ, разглядывая наклейку с голубой собачкой на зеркале в ванной, прибрал в гостиной — ступая осторожно, не включив ни радио, ни музыкальный стереоцентр, — помыл посуду, вынес мусор. Он минутку в задумчивости постоял в комнате Шарлотты Исабель. И снял висевший на двери портрет Адорно. Не такой уж это был хороший портрет. И если подумать, было что-то уж слишком претенциозное в том, чтобы вешать на стену большой портрет Адорно. И, задумавшись об этом, он заметил, что было что-то колючее во взгляде немецкого философа, и не было никакой необходимости ни для Шарлотты Исабель, ни для него самого в том, чтобы он пялился на них день ото дня.

Время перевалило за половину девятого.

Странное чувство. Казалось, будто — ну как бы это сказать? — как будто он по ним соскучился. Разумеется, он, собственно говоря, вовсе не жаждал, чтобы кто-либо из них здесь вообще находился, во всяком случае, лучше бы они у него оказались при иных обстоятельствах, размышлял он, сидя на кухне и наблюдая, как булькает в кофеварке кофе. Не надо было Хердис вваливаться к нему со всеми своими личными проблемами. Они условились о чисто физической связи. Точка. Он хочет только, чтобы его оставили в покое. Все, чего он хочет, — это продолжать учиться, и чтобы Шарлотта Исабель первым же самолетом отправилась домой, и чтобы все они осознали, какова, собственно говоря, жизнь, и что лучше всего ей было бы дома, в Шеене, с матерью и отцом. — Он достал исследования Адорно о Гегеле, полистал.

«И все-таки, — сказал он себе, ощущая отчасти укоры совести из-за того, что снял портрет Адорно, для приобретения которого через немецкое общество Теодора Адорно во Франкфурте он в свое время затратил немало усилий. — И все-таки, — повторил он про себя и провел указательным пальцем сверху вниз по открытой странице. На прошлой неделе он так наслаждался тем, насколько проницательно Адорно удалось прочесть герметичную поэтическую философию Гегеля, и он приблизился, как ему казалось, к тому, чтобы понять, каким образом он мог бы использовать это неидентичное мышление применительно к Прусту. Немалый академический подвиг. — Так что и все-таки, — сказал он себе. — Упустить подобный ход мысли я не могу себе позволить».

Он снова отложил книгу.

«И все-таки, — сказал он себе. — Встанут они, наконец?! Не проспят же весь день? Ведь такая прекрасная погода. И ведь

воскресенье».

Он наклонил голову. Кажется, слышались какие-то звуки?

Нет. Он опять схватился за исследования Адорно о Гегеле. Снова раскрыл книгу на эссе «Skoteinos, или Как следует читать...»^[10]. Придется использовать для чтения то немногое время, что у него есть. Вот так и живут отцы. Им приходится экономить время. Он снова наклонил голову. Ну вот. Слышится что-то.

Ярле поднялся, увидел, что кофе готов, быстренько налил себе чашку и прошел через гостиную к двери в спальню. Оттуда определенно слышались какие-то звуки... какое-то бормотание? Он остановился, осторожно приоткрыл дверь.

— Нет, это такой большой аквариум. — Голос Хердис.

— Очень большой? — Голос Шарлотты Исабель.

— Да-а-а, очень большой. И он весь стоит прямо в парке, — сказала Хердис, — да, да, и знаешь, там есть пингвины, такие маленькие хорошенькие пингвинчики, ковыляют себе и рыбу едят.

— Пингвины?!

Он открыл дверь и против своей воли ощутил комок в горле, увидев, как Лотта в позе буддийского монаха сидит перед Хердис, а та лежит на спине, сложив руки под головой. Шарлотта Исабель запрокинула голову и, качаясь всем телом вперед-назад, зашлась в смехе под рассказы Хердис, лицо которой освещал утренний свет. Дочь обернулась к нему с широкой улыбкой и воскликнула:

— Папа! Твоя подруга теперь совсем выздоровела! Ей только выпить немножко кофе, говорит она, и все будет в порядке! И, папа, мы пойдем посмотреть большой аквариум! А там есть... там есть... там есть... — Лотта неровно задышала в поиске слова. — Там есть, ну, как это называется, сейчас вспомню, я сейчас вспомню, эти... — Лотта заколотила ладошками по коленке и обернулась к Хердис с вопросом в глазах.

— Пингвины, — подсказала Хердис и подмигнула.

— Да, — воскликнула Лотта, — да, пингвины! Там есть пингвины!

Хердис приподнялась в постели. Склонила голову на плечо:

— Славная какая у тебя дочка, Ярле.

— Да, — сказал он и почувствовал, что краснеет, — я тебе кофе сварил.

Зазвонил телефон, Ярле протянул чашку Хердис, которая приняла ее, улыбаясь и зевая. Он вернулся в гостиную и схватил трубку:

— Это Ярле, слушаю.

На другом конце немного помолчали, потом женский голос

сказал:

— Привет. Это Анетта.

Он дернулся.

— А, привет, — вырвалось у него.

— Да-а, — услышал он, как она говорит на другом конце линии, — привет-привет, сколько лет, сколько зим.

— Да уж, действительно, — попытался он придать радости своему голосу. — И... как... ну, как у тебя дела?

— Э-э-э, в общем все хорошо, — сказала она, — ага, здесь тепло, хорошо. А вот только, вот еще что... Лотта у тебя?

— Да, у меня, конечно. Э-э-э... ты хочешь с ней поговорить?

— Да, я просто хотела услышать, ну как ей там — все у нее в порядке, а?

— В порядке? Ну да, — сказал Ярле, удивленный тем, что вот он здесь стоит и так запросто с ней разговаривает, будто они только это и делали последние годы, будто они постоянно вели беседы о своей общей дочери. — Ну конечно, — добавил он, — у нас все прекрасно, и правда мы прекрасно поладили, никаких проблем, она такая — с ней очень легко иметь дело.

В трубке раздался короткий смешок, ему показалось, ей стало легче, или она ожидала другого ответа?

— Да, Лотта совсем не капризная девочка, нет.

— Нет-нет, — сказал он, — с ней легко ладить. — Он запнулся. — А у тебя, да, у тебя все хорошо, это здорово. Так что, позвать ее, да?

— Да, пожалуйста, я бы ей пару словечек только сказала.

— Конечно-конечно, минутку подожди. — Он направился к спальне со странным ощущением в теле, растерянный оттого, что так по-будничному поговорил с той, кто была матерью его дочери, с девушкой, о которой он ничегошеньки не знал. — Лотта?

Дочка выглянула из-под одеяла.

— Иди, тебя мама зовет к телефону.

Она так и подпрыгнула:

— Мама! Ура!

Ярле показал ей, где телефон. Он остался рядом, стоял и смотрел на девочку. Та кивала, и улыбалась, и, разговаривая с матерью, накручивала на палец телефонный провод.

— Да нет же, — сказала Лотта в ответ на то, что, как подумал Ярле, было тревожным вопросом о том, как у нее дела. Да нет, у меня все отлично.

И он слушал, как она рассказывает, что ей купили кучу всяких вкусностей, и что она посмотрела все похороны до конца, и что папа сочинил для нее сказку про принцессу, и что папа

очень хороший, правда.

В дверях показалась Хердис в одеяле, пристойно обернутом вокруг голого тела. Она посмотрела на Ярле понимающе, он пожал плечами и кивнул.

— Ну да, — сказала Лотта, — и знаешь что, сегодня мы пойдем смотреть пингвинов! Угу, пингвинов, здорово, правда? Да-а. В четверг? Да-а. Вот весело будет. А ты позвонишь? Угу. Я тебя тоже. — Она повернулась к Ярле. — Папа? Мама тебя просит подойти.

Он взял трубку и почувствовал себя неуютно из-за того, что рядом стояли и Лотта, и Хердис.

— Да-а, — сказал он, — ну во-от, все в порядке, да?

— Да, конечно, — услышал он голос Анетты все с теми же интонациями, которые ему показались несколько преувеличенно простыми и дружелюбными. — Вроде бы так. Может, ты хочешь, чтобы я, ну, сделала чтонибудь, или еще что — нет?

— Нет, — сказал Ярле и почувствовал, что его тяготит присутствие стоявших рядом и смотревших на него дам. — Нет-нет, — повторил он и отвернулся к окну, — отдыхай и ни о чем не беспокойся. Да-а-а. Seriously. Поговорим обо всем потом, да ведь, хе-хе, — лихо добавил он, — все будет в порядке, вот увидишь, никаких проблем. Батон у нас есть, и сырки тоже, я взял выходные, и... ну что еще сказать? Хорошего отдыха! — Он заговорил громче и сам заметил, как это неестественно звучит; хотелось скорее свернуть этот разговор. — Хорошего отдыха, — повторил он, — уж побалууй себя немножко, ты это заслужила.

— Ну в общем-то, да. Ладно, я тогда позвоню...

— В четверг, да? — сказал Ярле. — В день рождения. Ну и отлично. А у нас тут все идет как по маслу.

«Как по маслу? И что я такое несу?»

Он услышал, как она смеется на другом конце провода.

— Конечно, — повторил он, — на самом деле даже и не ожидал, что все пройдет так гладко.

«Так гладко? Госсподи!»

Он сглотнул и с дурацкой улыбкой глянул в сторону Хердис.

— Вот и чудненько, Ярле, — услышал он, как говорит успокоенная, как ему показалось, Анетта, — чудненько. Я тогда в четверг позвоню. И знаешь еще что? Мы как-нибудь с тобой серьезно все обсудим — о'кей?

— Разумеется, — согласился он с той легкостью, на какую был способен, — обсудим, какой вопрос?

— Здорово было снова услышать твой голос, — сказала Анетта.

Он откашлялся. Стараясь не смотреть на Лотту и Хердис, он

пробубнил:

— Да, твой тоже.

Пока они не спеша шли к Бергенскому аквариуму, Ярле не покидало странное ощущение. Анетта Хансен. Ничего не было такого в том, что она сказала, или в том, что он сказал, но хотя бы то, что они разговаривали друг с другом так доверительно — она в гостиничном номере на юге, представлял он себе, он в Бергене, — каким-то образом выбило его из колеи. Неожиданно она снова возникла в его жизни, а он даже и помыслить не мог о том, что их орбиты смогут хоть как-то соприкоснуться.

Но ладно уж.

Это мать его ребенка.

Она работает в универсаме «Рема-1000».

Солидно, ничего не скажешь.

При всем при том.

«Она производит впечатление солидного и серьезного человека», — подумал он и кивнул своим мыслям. И это действительно было так. И позвонить догадалась. И вот эта ее фраза — «Мы как-нибудь с тобой серьезно все обсудим, да?» — ему показалось, что в ней так и слышится здравый смысл. Да. Солидная женщина. Несмотря ни на что. А то, что она сказала в конце разговора: «Здорово было снова услышать твой голос», — вроде вполне по-дружески прозвучало, нет? Да. Серьезный человек, решил он. Как ни посмотри, солидный, и приятный, и серьезный человек. Просто-таки мужественный. Кто еще отважится на такое? Отправить своего детеныша в одиночку через горы и доли, чтобы тот познакомился со своим папой? Таких немного найдется. Ее можно только уважать за это.

Шарлотта Исабель шла рядом с ним, одетая в лиловую курточку, она надела зеленую юбку, и все порывалась пробежаться по тротуару, и нет-нет да и выскакивала на мостовую. Ярле взял на заметку, что, когда гуляешь с ребенком, нельзя позволять себе свободно парить в собственных мыслях, необходимо быть бдительным и следить за происходящим. Пришлось ему время от времени окликать Шарлотту Исабель и следить, чтобы она не выскочила перед машиной. Она часто останавливалась, как и накануне, чтобы что-нибудь получше разглядеть. Она показывала на проходящих мимо людей, она сравнивала Берген с Шееном и нашла, что Берген гораздо, гораздо больше, но что дома у них тоже много автомобилей. Когда они вошли в красивую липовую аллею в центре города, возле старинного монастыря, она наклонилась, поковыряла растоптанный кусочек жевательной резинки и крикнула им

обоим:

— Папа! Хердис! Смотрите! Это жвачка!

— Да, — сказал он, — многие бросают жвачку прямо на землю, а так делать нельзя.

Ему было радостно видеть ее простодушную радость, но как-то было и неловко говорить такие простые вещи, особенно в присутствии Хердис, хотя непохоже было, чтобы это ей мешало, наоборот, ему показалось даже, что ей это нравится. Но все-таки, хотя он и изложил все события Анетте вполне невозмутимо, мало того, сказал даже, что все идет «как по маслу», во всей этой навязчивой детскости он не в состоянии был видеть только то, что ему нравилось.

Были и неприятные моменты: ему все время представлялось, что кто-нибудь заметит его, кто-нибудь из первокурсников, у которых он вел коллоквиум, или Арилль с Хассе, а может быть, Роберт Гётеборг, и эта мысль пришлась ему совсем не по вкусу. И когда на мысе Нурднес Шарлотта Исабель взяла их обоих за руки, уже совсем на подходе к Аквариуму, когда его дочь заявила, что вот теперь они должны сказать: «И раз, и два, и три!» — и подкинуть ее в воздух, Ярле сказал нет.

— Нет, — сказал он.

Хердис остановилась и посмотрела на него. Шарлотта Исабель остановилась и посмотрела на него. Выражение лица у них было одинаковое.

— Нет, — повторил он.

Хердис развела руками и бросила взгляд на девчушку, та сделала то же самое — развела руками и взглянула на Хердис.

— Ярле, ты чего это? — вздохнула Хердис.

— Да, папа, чего это ты? — сказала Шарлотта Исабель и вздохнула.

Он полез во внутренний карман и выудил сигарету.

— Извините, — буркнул он. — Ну не могу, и все. — Он закурил. — Пойдем сейчас в Аквариум, посмотрим пингвинов. Хватит и этого. И вообще, этого более чем достаточно.

Хердис покачала головой.

Дочь стояла с открытым ртом.

— Ну что еще теперь? — сказал Ярле и выпустил дым из рта.

На глазах у Лотты показались слезы.

— Господи, ну что еще опять?

— Папа, — проговорила Лотта, задыхаясь, — ты же умрешь! Ты куришь! Ты умрешь!

Ярле закатил глаза. Он выбросил сигарету и покачал головой. Он опустил на колени перед дочерью и сказал, что не умрет. Ей

нужно понять это. Никто здесь не собирается умирать, о'кей? Шарлотта Исабель сглотнула и сказала, что бросать окурки тоже нельзя, не только жвачку, и Ярле пришлось признать логичность сказанного ею. «Возможно, ее мать и дура, — подумал он, — но Лотте здравого смысла не занимать».

— Лотта, Лотта, — он попробовал разрядить обстановку, — а вот сейчас мы пойдем в Аквариум, да и посмотрим пингвинов!

Она задумалась, наморщив лоб:

— А они птицы или рыбы, папа?

Птицы они или рыбы? Он подумал.

— Нет, они птицы, Лотта.

Она переступила с ноги на ногу.

— Но они же не умеют летать, Хердис сказала, что они не летают.

— Нет. — Он помедлил. — Нет, тут ты права.

— Ну вот, папа, — сказала Лотта и снова развела руками, — значит, они рыбы тогда.

Когда они добрались до Аквариума, Шарлотта Исабель пришла в дикий восторг. Она со всех ног бросилась к бассейну, Ярле и Хердис едва поспевали за ней, она восторгалась тем, как пингины, покачиваясь, ковыляют к кромке бассейна, бросаются в воду грудкой вперед и плывут дальше. И как же быстро они плыли! А, теперь она поняла, кто такие пингины, сказала Лотта и так от всей души смеялась над тем, как они двигаются, что Ярле просто глаз не мог отвести. «Ну надо же, так непосредственно смеяться над тем, как движется животное!» — думал он. Дочь смеялась всем телом и передразнивала неуклюжую походку пингинов, потом сказала:

— Ты тоже должен так сделать, папа! Ты тоже походи так, папа!

Но Ярле замахал руками и сказал, что в этом уж она пусть сама практикуется, а когда дочка показала на них и сказала, что они выглядят, будто на них надеты пиджаки, он снова загордился ею.

— Развитая она какая у тебя, твоя дочь, — сказала Хердис, когда Лотта вместе с другими ребятами побежала смотреть, как кормят пингинов.

— Мму... угу, да, конечно. — Ярле кивнул. Она и правда была такая. Развитая.

— Это очень хорошо, — сказала Хердис. — Сразу видно, что ее развитием занимались.

— Гм? — Ярле посмотрел на нее.

— Ну видно же, — сказала Хердис, — что ее развития ничто не ограничивало.

Ярле снова кивнул. Может, это и вправду так? Да. Пожалуй, ее развития ничто не ограничивало, нет. Наверняка многое можно сказать о ее поедающей чипсы матери, но развития дочери она не ограничивала, пусть она и работает в универсаме «Рема».

— А я и не знала, что у тебя есть дочь, Ярле, — сказала Хердис.

Не знала! Так я и сам не знал.

И он вкратце изложил историю про письма из полиции и от Анетты Хансен и про вчерашний удивительный день.

— Так, значит, ты никому ничего не сказал? — Хердис покачала головой.

— Нет, никому ничего, — подтвердил Ярле и взглянул на нее. — Ну какой из меня отец, Хердис!

Ты посмотри на меня. Я для этого не гожусь. Не нужна мне никакая дочь.

Хердис ничего не ответила, но показала на Шарлотту Исабель, которая шла вдоль решетки вольера с пингвинами и вела за руку другую девочку.

— Она совсем такая же, как ты, — сказала Хердис.

По небу все выше взбиралось сентябрьское солнце, пингины все так же ковыляли по камням вокруг бассейна, как группа полугодовалых ребятишек, одетых в одинаковую черную с белым форму, а Ярле ждал, когда же Хердис извинится за вчерашнее или, по крайней мере, вообще затронет эту тему. Спросить ее он не мог — не таков был характер их отношений.

Хердис Снартему почти сразу дала понять, что она не желает близости подобного рода, и она несколько раз говорила о том, как это необременительно — состоять в таких ни к чему не обязывающих отношениях, с чем он ровно столько же раз соглашался. Кроме того, Ярле понял, что Хердис не из тех, у кого в любой момент можно выпрашивать обо всем, что угодно. Она этого не любила, заметил он давным-давно. Если начать допытываться, где она была, о чем она думает, откуда она пришла, она обязательно встанет на дыбы. Так что он сумел уяснить, что если он желает продолжать инженерные изыскания у нее между гладких, как мрамор, бедер, то поступит умно, придерживая язык до тех пор, пока она сама не захочет что-нибудь рассказать. И еще одна вещь пришла ему в голову в этот сентябрьский полдень. Каждый раз, оказываясь вместе с Хердис Снартему, он думал прежде всего о том, чтобы переспать с ней. А сегодня — нет. Она была такой же красивой, как всегда, мало того, было в ней, такой неухоженной и небрежно одетой после двух дней загула, с чуть воспаленной кожей, с какими-то

возбужденно-усталыми глазами... и язык — не *высовывался* ли он немножко дальше у нее изо рта, чем обычно? — было в ней даже что-то более соблазнительное. И все равно он чувствовал, что не стоит тянуть ее в постель. Ощущения у него были совершенно иные. Он хотел стоять там и спокойно разговаривать с ней, глядя на Шарлотту Исабель. Ему хотелось, чтобы она заговорила о своем детстве. Ему хотелось послушать, как она будет рассказывать о своей жизни. Он надеялся, что она, может быть, скажет, что все-таки полюбила его. Ему хотелось, чтобы она рассказала ему о том, что случилось накануне. Так что когда она, совершенно в своем собственном темпе, заговорила об этом, в то время как они смотрели на Лотту, которой дрессировщик дал селедку в то время как они смотрели, как Лотта протягивает ее одному из пингвинов и кричит: «Смотри, папа! Смотри! Я кормлю пингвина!» — он ощутил искреннюю радость. Он был так счастлив, как если бы он на самом деле в нее влюбился, чего он ни в коем случае не собирался делать, но именно теперь он понял, что это уже давно произошло.

Хердис рассказала, что ей никогда, ни одного-единственного дня, не приходилось беспокоиться о деньгах. Она этим не гордилась, но не могла она и притворяться, и делать вид, что ее это мучит. Разумеется, это не так, сказала она. Невероятное состояние матери, которое та в свою очередь унаследовала от своих родителей, было столь огромным, что его невозможно было извести. Может он понять такое? Нет, не может, считала она. У них так много денег, рассказала она, что, что бы они ни делали, разориться невозможно, понимает он? Это невозможно, потому что всего лишь тысячной доли процентов от этого состояния достаточно, чтобы кормить целую семью в течение всей жизни. Так что если Ярле не может этого понять — а она считала, что он не может, пусть он родом и из самого богатого города мира, Ставангера, и пусть он вырос в этом заваленном по самые крыши деньгами городе, — все равно, может он это понять или не может, но таковой ее жизнь была всегда. Никакой другой действительности она не знала, сказала она. Все ее друзья были страшно богатыми. Она была, считала она, ходячим символом богатства Запада.

И она это сознает, подчеркнула она, она смотрит действительности в глаза, и она прекрасно знает, что некоторые об этом думают, но она так же прекрасно знает, сказала она, что истинный радикализм, истинно радикальное мышление выше этого, но что Ярле, возможно, еще не созрел, чтобы это понять. Да, она могла прямо сказать, без обиняков, что она, *разумеется*, *баснословно избалована*, со всеми вытекающими из этого

последствиями. Но Ярле не следует заблуждаться, представляя себе, что она из-за этого разучилась думать, это он пусть зарубит себе на носу.

Нет, вклинился он поскорее в ее быструю речь, речь, которая показалась ему будто бы заранее запрограммированной, заученной или передававшейся из поколения в поколение, совсем как наследное состояние; нет, никоим образом, ничего подобного он никогда не думал.

А, вот так-то, сказала Хердис и продолжила рассказ о том, в каком богатстве она привыкла жить. Он должен понять, что состояния бывают разными. Некоторые новые, сказала она, а некоторые старые. У новых состояний не хватает опыта. Новые состояния щеголяют с золотыми цепочками на волосатой груди и не совсем понимают, кто они такие и что это подразумевает. У них состояние старое, сказала Хердис, делая ударение на каждом слоге. Состояние семьи Снартему просто древнее, сказала она, и Ярле заметил, как ее верхняя губа мгновенно отреагировала на это высказывание, ему показалось, что она капельку оттопырилась. Состояние Снартему — древнее, повторила она, — и Ярле слышно стало, как эту фразу произносили раньше, другие, прежде нее, наверняка ее мать, думалось ему, которая, очевидно, являлась властительницей и распорядительницей состояния Снартему. Нда, сказала Хердис, оно как горы. Она вздохнула, и веки опустились на миллиметр. Оно такое древнее, что никто из них в точности не знает теперь, на чем оно было сделано, он понимает? Ведь когда-то давным-давно оно было новым, так? Она снова вздохнула. С ним как бы ничего не поделаешь, Ярле. Остается только смотреть, как оно растет. Она повернулась к нему.

Он кивнул, но непохоже было, чтобы это как-то повлияло на ее представление о том, в каком безумно богатом одиночестве она живет.

Остается только, сказала Хердис и вперила в него острый взор, остается только, чтобы тебя его лишили.

Она рассказала Ярле, что древним состояниям сопутствует целый набор древних же правил и что он наверняка достаточно умен, чтобы понять это; целый ряд правил, сказала она, — правил, которые сложились сами собой за несколько сотен лет, правил, которые превратились в образ жизни, которые превратились в нерушимые законы, защищающие состояние, и тогда, сказала она, и тогда он и сам может представить себе, что ее семья и что *Само Состояние*, как они с братьями называют свою мать, думает о Хердис Снартему!

Во время всего этого сольного выступления Хердис, которое

было исполнено в горьком ключе, но и не без определенной доли высокомерия, как будто Ярле никоим образом не мог бы понять того, о чем она — говорила, до него дошло, что же такое стряслось, и он получил подтверждение этому: семейство Снартему уже достала эта радикальная феминистка с крайне левыми взглядами, которая никогда не приезжала домой — ни на Рождество, ни летом — и которая, ввиду своей активности в качестве радикальной феминистки, превратилась в слишком тяжелую обузу для них, да и просто в позор. Мамаша перекрыла денежный поток. И телефонный разговор накануне днем, разговор с Самим Состоянием, бросившим дочь на произвол судьбы, в свою очередь, привел к тому, что Хердис начала пьянствовать (с Робертом Гётеборгом — еще одно предположение, возникшее у Ярле сразу же, как только она понесла по кочкам и Бергмана, и Стриндберга, и всю Южную Скандинавию накануне вечером) уже около трех часов дня.

— Так что теперь у меня матери нет, — заявила Хердис и облизала губы. — Этого, вообще-то, можно было ожидать. У меня ее и не было никогда во многих отношениях. У меня было состояние. Но все равно это невероятно обидно.

Ярле кивнул.

— И ты понимаешь, Ярле, — сказала Хердис, — ты ведь понимаешь, что я люблю его?

Ярле дернулся.

Солнце светило ему прямо в лицо.

Что?

— Ты ведь это понял уже некоторое время тому назад, — сказала она мягко, — правда ведь? Понял?

— Ярле сглотнул.

Он, прищурившись, смотрел прямо перед собой.

— Что?

— Ну ты ведь понял это, разве нет?

Он кивнул, с трудом сдерживая слезы.

— Да. Я рассказала Роберту про тебя. Да, я ему вчера все рассказала. — Хердис потерла кончики пальцев. — Он, естественно, рассердился. И он в полном праве сердиться. Но даже если бы он вышвырнул меня вон и не велел к себе приближаться, я знаю, что он на самом деле так не думает. Он же меня любит. Ну ты ведь видел это, разве нет?

Шарлотта Исабель помахала рукой от ограды вольера с пингвинами, и Хердис помахала в ответ, Ярле же попытался поднять руку, но у него не получилось.

— Ты такой славный, Ярле, — сказала она спокойно.

Славный?

— Ты был все время таким невероятно славным.

Славным?

Хердис изобразила сочувственную улыбку:

— Ты так всему с головой отдаешься, совсем как мальчишка.

Как мальчишка?

Она по-дружески кивнула ему:

— Ты так многого хочешь. Оставайся всегда таким.

Оставаться всегда таким?

Хердис погладила его по щеке:

— Роберту ты тоже очень нравишься — да-да, я ему все объяснила, он это переживает, он знает, что между нами была только физическая близость. Все образуется, не волнуйся, только дай мне с ним поговорить. Не думай об этом. Он ведь профессионал, ты же понимаешь.

Шарлотта Исабель оторвалась от ограды и двинулась к ним. Ярле несколько раз сглотнул.

— Все хорошо, правда же, Ярле? Мы доставили друг другу массу приятных минут, правда. Я никогда не забуду властелина радости. — И она подмигнула ему. — Ты же не думал, что женишься на старушке Хердис? — Она засмеялась. — Нет, не может быть. Вон смотри. Посмотри на свою дочь. Смотри. Вот она идет. Щечки такие румяные. У нее твоя, такая детская наивность, Ярле.

Его детская наивность?

Он почувствовал, как ее ладони легли ему на плечи.

— Посмотри на нее. Какая она чудесная! — Хердис убрала руки и кивнула в подтверждение своих слов. — О'кей, Ярле. Вот это я и хотела тебе сказать. И спасибо, что пустил меня вчера к себе. Спасибо за все. И спасибо за кофе.

Она посмотрела на Ярле ласково. Приобняла его.

— У вас что, любовь, что ли? — перед ними стояла Шарлотта Исабель. Она склонила голову набок и уперла руки в боки.

Ярле дышал носом. Он разглядывал одного из пингвинов. Тот стоял, опустив к земле низко свисающие крылья — крылья, летать на которых он не мог. Его темный взгляд был обращен к Ярле, такой темный, что невозможно было разглядеть зрачки, и вдруг он, шатаясь, проковылял несколько шагов своими ножками, похожими на ножки грифа, потом остановился и задрал голову вверх. Он распростер крылья, то ли в ужасе, то ли в восторге, белые снизу, черные сверху крылья, открыл клюв и испустил блеющий, ослиный крик.

Ярле повернулся к Хердис.

— Ты шлюха, Хердис Снартему, — прошептал он так тихо, как только мог. — Феминистка ты гребаная, Хердис Снартему, и

иди теперь вон от меня и моей дочери, и не подходи к нам больше.

Ярле взял Шарлотту Исабель за руку и сказал сдержанно и спокойно, что теперь они могут пойти посидеть где-нибудь в помещении и хлебнуть чего-нибудь горяченького, может быть, выпить по чашечке какао, и посмотреть рыбок в маленьких аквариумах. Уходя, девочка помахала Хердис Снартему и спросила:

— А что значит «феминистка гребаная», папа?

— А вот как раз такая, как она, — сказал Ярле и убежденно добавил: — Твоя мать, которая каждый день трудится на совесть в своем универсаме, куда более достойная женщина.

Это было большой-большой ошибкой, Ярле

— Грета, я знаю, это, может быть, покажется странным, да, чуть ли не безответственным, но — а? Нет, это Ярле, да, Клепп, сосед, извините, да ничего, но, поверьте, тут нет ничего странного или безответственного, во всяком случае пока все идет нормально. Что? Не-ет, да нет, я потом объясню. Ну, во всяком случае, я вас хотел вот о чем попросить: вы не могли бы присмотреть за моей дочкой пару часов? А? Да-да. Это правда. У меня есть дочь. Дочка. Да, есть. Девочка, да. Здесь ли она? Здесь — это вы о чем? Здесь, в Бергене? Да, она здесь, в Бергене. Она, вообще-то, вот тут, рядом со мной. Где она до этого была? А-а-а, ну, я объясню, когда приду. Да. Угу. Скоро будет семь. А? Да, скоро семь, да. Скоро будет семь лет. Да правда, правда. Почему раньше не... нет, ну как-то так вышло. Как бы то ни было, скоро ей исполнится семь лет, да, примерно такая же, как Даниэль, и она очень развитая и милая, и с ней совсем не трудно. А если у вас нет сырков, я принесу. А? Нет-нет, не надо ничего. Сырки. И батон. Вот это она требует обязательно. Обязательно нужен сырок. Да нет, я объясню, когда приду. Они с Даниэлем наверняка прекрасно поладят. Да, конечно. Ну вы же знаете, дети — они такие. А, что? Да, понимаю, вы не знали. Что у меня есть дочь. Нет. Нет-нет. Я этого и сам не знал, честно, я это за сегодняшний день второй раз говорю. А? Да нет, ничего. Это я тоже объясню потом, когда приду. Нет, она из Восточной Норвегии. Точнее, из Шеена. Угу. Мать? Мать? Нда, да уж, ее зовут Анетта. Черт, минуточку... только еще монеток кину... черт... алло! Так... алло! Ну вот, ладно, я о чем говорил? Анетта, да. Ее зовут Анетта. Да-да, приличная, солидная женщина, я же с ней поговорил, конечно! И это тоже могу объяснить, когда мы... Ну, так как, ничего, а? Чтобы она у вас побыла несколько часиков сегодня вечером. Да? Что? Да нет, всего несколько часиков. Да конечно, понимаю, вам же на работу завтра с утра. Разрешения на строительство выдаете, так вроде бы? А, вот как, в архитектурном надзоре? Да, теперь вспомнил, точно, вы работаете в архитектурном надзоре. Да нет, не поздно. Нет-нет, само собой разумеется.

Я бы никогда, вот честное слово, никогда бы не посмел к вам обратиться, если бы я не был... Что? Вам кажется, это несколько неожиданно? Ну да. Наверное. Для меня тоже. Хочет ли она сама? Кто она — моя дочь?

Да-да, хочет, хочет. Я ей рассказал про Даниэля и сказал, что вас зовут тетя Грета и что вы классная, так что все в полном...

Что? Тетя Грета? Да нет, я просто подумал, что мы могли бы вас так называть, разве не здорово, нет? Ее как зовут? Мою дочь? Ее зовут Шарлотта Исабель Хансен.

Ярле поблагодарил ее, провел влажным указательным пальцем по вспотевшей верхней губе, договорился, что они придут в половине седьмого, и повесил трубку.

Он обернулся к Шарлотте Исабель, которая стояла, повернувшись боком, на ребро, и покачивала ею, и не успела она и рта раскрыть, как он сказал, что теперь они пойдут ужинать.

— Ты любишь китайскую еду?

Лотта захлопала в ладоши и воскликнула, что больше всего на свете любит ходить в кафе и рестораны и что больше всего на свете она любит китайскую еду.

— Отлично, — сказал Ярле с облегчением оттого, что раз уж у него теперь есть дочь, то она хотя бы не эдакая избалованная штучка: «Не люблю того да не люблю этого». — А потом сходим в кино, идет?

Лотта снова захлопала в ладоши и заявила, что и это она любит больше всего на свете.

— Отлично, — сказал Ярле и уже собирался было съязвить, что, мол, придется ей решить, что же она любит больше всего на свете — ходить в кафе или ходить в кино, но сдержался и промолчал. — Отлично, — повторил он. — Просто замечательно. Да, а еще ты можешь сходить вечером к тете Грете и Даниэлю, как мы с тобой договаривались, помнишь?

Лотта опустила глаза. Поставив ногу на всю ступню, девочка сунула руки в карманы лиловой куртки.

— Как мы с тобой договаривались, не забыла?

Лотта поскребла носком туфли по тротуару, точно как тогда, когда он встречал ее в аэропорту.

— Ну, так как? — Ярле постарался улыбнуться со всей теплотой, на какую был способен. — Как мы договаривались с тобой? После того, как поедем китайской еды и сходим в кино?

Лотта засмеялась и показала просвет между передними зубами:

— Китайкино! Кинокитай!

— Ух ты, ну ты и молодчина!

— Но я же их не знаю, — сказала Лотта, когда запыхавшийся и раздраженный Ярле уже устремился вперед.

— Не знаешь, — вынужден был согласиться он, — вот у вас и будет возможность познакомиться, так ведь?

— Но, папа! — проговорила Лотта, запыхавшись.

Она бежала вприпрыжку вслед за отцом, огибавшим угол здания кинотеатра по пути туда, где, как ему помнилось, был

китайский рестораник. — Папа!

Ярле остановился. Раздраженно огляделся. Был же здесь китайский ресторан! Здесь же всегда был китайский ресторан.

— Папа!

— Да, — отрезал он. — Да, Лотта. Что еще?

— Но, папа, а пока я буду у тети Греты, а ты что будешь делать?

«А, вон он. Вон он где», — подумал Ярле и снова двинулся вперед в темпе, ожидая, что Лотта побежит за ним.

— Но, папа, а ты-то что будешь делать, пока я буду у тети Греты?

— Гм! Я? — Ярле на несколько секунд задержал дыхание. Посмотрел на нее. Потом вдохнул. — Мне... нужно на собрание.

— На собрание? Я знаю, что такое собрание. А где у тебя будет собрание?

— Ну, мне нужно будет на собрание с... дядей Хассе и дядей Ариллем.

— А это кто?

— Это... ну кто-кто, это дядя Хассе и дядя Арилль, вот кто.

— Они мои дяди? У меня здесь есть дяди? Вау!

А мне про них ничего не рассказывали. А у них есть дети, с которыми я могла бы поиграть?

— Э-э-э... нет, вроде бы нет... — Ярле вздохнул. — Можем об этом позже поговорить. А сейчас пошли поедим. Как насчет риса? Ты любишь рис?

Она кивнула.

— А соевый соус, ты любишь соевый соус?

Она кивнула.

— Отлично, — сказал он, открывая дверь. — Это нам обеспечено, ведь это все обязательно бывает в китайском ресторане.

Когда они сели за столик, Шарлотта Исабель очень обрадовалась тому, что на их столе стоит бескрылый золотой дракон. Ярле засомневался, что это настоящее золото, но дочь отказывалась в это поверить, потому что если это золото, сказала она и показала на дракона, то это оно и есть, как же это тогда может быть не золото? Еще Шарлотте Исабель понравилась красная скатерть с красивыми узорами, и ей понравился аквариум с фонариками, и рыбками, и камешками, и лилиями внутри, и ей понравился, очень-очень, красивый красный ковер. Но вот зато ей жалко было, что Хердис не могла с ними пойти ни в ресторан, ни в кино, потому что ей очень понравилась Хердис. Ярле раздраженно вырвал меню из рук дочери и сказал, что об этом она может забыть. Тетю Хердис она больше не увидит,

потому что она собралась уехать далеко-далеко на много лет, и если у Лотты вдруг сложилось впечатление, что ее папа печатный станок и делает деньги, только потому, что папа сводил ее и в Аквариум, и в китайский ресторан, и в кино, то пусть она подумает хорошенько и поймет, что ошибается.

Тоненькая, как гвоздик, девушка-азиатка с фосфоресцирующе-зелеными тенями на веках и слоем ярких румян на щеках, одетая в лиловое шелковое кимоно с серебряными узорами, подошла к их столу, чтобы принять заказ. Ярле попросил ее немного подождать, потому что они еще не успели выбрать. Девушка привычно кивнула и заскользила по полу дальше, с той грацией, как Ярле часто замечал, с какой умеют парить над землей восточные женщины, на что женщины Скандинавии, к сожалению, не способны.

— Да нет, папа, — сказала Лотта тихонько. — Я это знаю. Мне же мама про это рассказала, что ты бедный студент и что мне не нужно ожидать слишком многого.

— Вот как... — буркнул Ярле.

И он на мгновение поднял глаза от меню и глянул на эту маленькую, но весьма умненькую девочку, которая сейчас сидела с вилкой в одной руке и ножом в другой и колотила ими по столешнице.

— Рис, рис, рис! — выкрикнула она восторженно. — Соевый соус, соевый соус, соевый соус! — крикнула она так же восторженно.

Ярле закрыл глаза и тяжело вдохнул и выдохнул.

Шарлотта Исабель совсем недавно посмотрела «Парк юрского периода — 2», но не имела ничего против того, чтобы посмотреть фильм во второй раз. «Динозавры такие классные», — сказала она. И еще она очень обрадовалась, когда Ярле признался, что он-то этого фильма не видел, потому что здорово будет, что он его посмотрит, но еще ему будет немножко страшно — пусть будет к этому готов.

В темноте кинотеатра Ярле откинулся назад и закрыл глаза. Рядом с ним на краешке сиденья расположилась Лотта с кульком конфет на коленях. Он попытался дышать спокойнее. «О'кей, — прошептал про себя. — О'кей. Как-то многовато всего сразу случилось. Ну ладно, пусть Хердис меня бросила. Она разорвала отношения, которые, строго говоря, не были отношениями. Но для меня-то, — пришлось ему добавить, — это были отношения, и вот я сижу здесь, в кинозале, и смотрю «Парк юрского периода — 2» в окружении оравы малышей, и надо признаться, что сил моих нет это вынести».

Выбежать из зала, помчаться к Хердис, броситься к ее ногам и сказать, что он жить без нее не может? Рассказать все так, как он вот сейчас это чувствовал, что он как раз без пяти двенадцать осознал, как сильно он ее любит, что на него незаметно и неожиданно снизошло чувство любви, что то, что должно было оставаться прелестной и невинной физической связью, развилось в настоящие и вечные чувства, что то, что он тогда сказал по пьянке: «Может быть, Хердис, Бог и сотворил мир, но ты сотворила радость!» — было правдой, что он желал возделывать ее, как растение, ежедневно, ежечасно, еженощно и что это ни в коей мере не имело отношения к ее деньгам, уж в это она должна была поверить, он не охотился за ее состоянием, тем более что — она все равно его потеряла, да, он мог так сказать совершенно честно, что независимо от того, была ли она сказочно богата или бедна, но это была любовь в чистом виде, — так побежать ему к ней, рассказать ей это?

Нет, это неправильная стратегия.

Она такого не любит.

Или наоборот?

Не поступил ли именно так Роберт Гётеборг, этот шведский греховодник? Именно так и поступил Роберт Гётеборг: подкатился к Хердис с любовью и пафосными речами, тогда как сам он подкатился к ней с жизнерадостным сексом. Не так ли обстояло дело: пока Ярле наполнял Хердис Снартему ликующими сперматозоидами, Роберт Гётеборг наполнял ее любовными чувствами?

Он заерзал в кресле. Черт! Вот бы черт побрал!

На экране один динозавр вскачь гнался за другим. «Какая трагедия! — подумал он. — Что за патетическая — и поэтическая — трагедия! Ну и идиот же я! Неужели я действительно мог поверить, что бывают исключительно физические отношения? Да. Я в это верил. И вот к чему это привело».

— Смотри скорей, папа, смотри скорей, вон динозавр опять сюда идет! — Лотта показала рукой, и он взглянул на экран.

И на них взаправду опять шел динозавр.

— Я в туалет хочу, папа, — прошептала она.

«Нда, — подумал он и поднялся, привычно, как любой другой папаша, и не волнуясь о том, смотрят ли на него. — Китайской еды ты переела, вот что, — думал он, — пробираясь между рядами и ведя ее за собой. — Вот та цена, которую тебе придется заплатить за два больших стакана спрайта и соломинку», — подумал он, открывая дверь в фойе.

После того как Шарлотта Исабель сделала свои дела в мужском туалете, которым по настоянию Ярле она была

вынуждена воспользоваться, раз уж она пришла в кино с ним, он попросил ее вернуться в зал одну, потому что ему нужно найти телефонную будку и позвонить дяде Хассе и дяде Ариллю. Она ведь сумеет без него найти свое место, да? Ну да, сказала она, она с этим справится. Она спросила, а как маленькие мальчики достают до таких раковин, в которые писают большие дяди, но Ярле сказал, что маленькие мальчики в них не писают и что многим взрослым мужчинам это тоже не очень-то нравится, добавил он. А это почему? — удивилась Шарлотта Исабель. Ну, это имеет отношение к чувству собственного достоинства, сказал Ярле и решил, что пора уже эту тему прикрыть. Так справится она с тем, чтобы самостоятельно вернуться в кинозал? Она ведь умеет считать или нет еще? Ну конечно, сказала она, умеет. Четырнадцатый ряд, сказал он. Четырнадцатый. А когда он с ними поговорит, он вернется, ладно? Папа скоро придет, ладно? Ну да, сказала она, но пусть он лучше заведет себе мобильный телефон, раз уж он так много разговаривает по телефону, с мобильным телефоном это гораздо проще, считала она, у ее отца есть такой.

— Да-да, — сказал Ярле, слегка надувшись, — некоторым из нас приходится мириться с альтернативным ходом вещей.

— Чего?

— Да нет, ничего, Лотта.

Ярле открыл дверь в зал, там все пространство занял огромный динозавр. Ярле подтолкнул ее вперед:

— Ну что, найдешь, да? Место свое найдешь? Ряд четырнадцатый, запомнила?

Она кивнула и легко побежала в темноту кинозала.

Ярле остался в фойе, он накидал в автомат монеток по одной кроне и, кивая сам себе, набрал номер Хассе. «Мобильный телефон, — думал он, прислушиваясь к гудкам, — мобильный телефон. Курам на смех. Что за преувеличенное внимание ко всяческим техническим устройствам и что за последовательная, систематическая недооценка духовности. Будто бы проклятый телефон может сделать мир настолько уж проще или лучше, — думал он, — и, кроме того, как бы это сказалось на моем мыслительном процессе, если бы я постоянно таскал в кармане телефон и только и следил, не придет ли кому-нибудь в голову позвонить мне?

Но не пора ли уже Хассе снять трубку?»

У преподавательского сынка Хассе Огнатиона, как и у Ярле, родившегося в 1972 году и выросшего в той же самой, овечьей всеми ветрами части страны, была масса знакомых, но вот друзей — раз-два и обчелся.

Если как-нибудь майским днем пройтись с Хассе по центральной рыночной площади Торг-алменнинген, то он за какие-нибудь несколько минут перекинулся бы парой слов — по собственной инициативе — с десятком-двумя людьми, с которыми он был знаком или полагал, что знаком с ними. Если пойти с Хассе в бар, то он называл по имени всех там работающих. Он обладал своеобразной способностью к общению, абсолютно без каких-либо сдерживающих барьеров, что сводило его с людьми, с которыми другим людям и в голову бы не пришло вступать в контакт: с теми, кто сидел в окошечке на почте, с теми, кто мыл коридоры перед читальным залом. И при первом знакомстве было легко прийти в восторг от Хассе — он ошеломлял народ неожиданными вопросами и нетривиальными рассуждениями. Но умопомрачительное отсутствие такта и социального чутья приводили к тому, что от общения с ним столь же легко можно было утомиться и отупеть; вот так и получилось, что у Хассе оказалась тьма знакомых и совсем немного друзей. Многие предпочитали дать задний ход. Они покряхтывали; когда он подходил, они отворачивались. Его беспардонно вперенные в людей глаза пугали, иногда в них светился чуть ли не противоестественный пыл. И зачем ему надо было всегда и все раздувать до невероятных размеров? Хассе таскал в карманах сборники стихов — и своих собственных, и чужих. Что он о себе воображал? Он, надо сказать, не мог и секунды усидеть спокойно: он тарабанил пальцами по ляжкам, он постукивал ими по кружке с пивом, и он никогда никого не мог оставить в покое. За девушками, в которых он влюблялся, он бегал до тех пор, пока они не останавливались перед ним и не начинали орать, что не желают иметь с ним никакого дела, что заставляло Хассе еще настойчивее жаждать их заполучить, настолько, что он мог поздно ночью припереться под двери их квартиры и начать читать стихи — и свои собственные, и Пауля Целана.

Хердис Снартему была не в восторге от Хассе. Ей не нравилось, что в любых ситуациях общения он ухитрялся занять так много места, он ей представлялся каким-то кровососущим насекомым, и, если бы не его выдающиеся академические и литературные способности, Хассе никогда бы не вошел в узкий литературоведческий круг посвященных. Это она неоднократно растолковывала Ярле, который не мог объяснить Хердис, почему ему, несмотря на это, все-таки нравился Хассе. «Если бы он, этот тип, не был таким сенсационно талантливым, — сказала Хердис, — если бы он, этот назойливый тип, не был столь блестящим исследователем, никто из нас не смог бы вынести его общества».

Но именно таким он и был.

Хассе блистал. Он был почти метр девяносто ростом, у него была гладкая кожа, лишенная растительности, он налево и направо выдавал заумные теории, в студенческой газете он публиковал длинные загадочные стихи, и просто не верилось, что человек может обладать способностью концентрироваться до такой степени, но вот он обладал ею и демонстрировал ее, работая над своим университетским дипломом. Стоило ему склонить голову над книгами и принять решение отключиться от внешнего мира, как его рот закрывался накрепко с той же непреложностью, с какой он в остальное время молол не переставая, и отвлечь его от книг было невозможно. Выпученные, рыбы глаза, как два сияющих яйца, не отрывались от книжных страниц, оставляя мир за пределами обзора. Средний балл у Хассе был такой, что большинство, услышав о нем, начинали заикаться. О написанной им курсовой работе, посвященной сносам и отступлениям во французской прозе девятнадцатого века, ходили легенды по всему университету. Каждый день столовая жужжала слухами о грандиозности его замысла. Он совершил несколько открытий умопомрачительного масштаба. Сам курсовик был написан почти как роман. Его собирались издать отдельной книгой. Злые языки утверждали, что за потоком слухов стоял сам Хассе, но это было легко опровергнуть, потому что кто угодно мог попросить у него почитать что-нибудь — и отказа никому не было. У Хассе не было никаких тайн, как он сам говорил, всегда добавляя: «За исключением этой проклятой спины».

Хердис, которая постоянно злословила по поводу приятеля Ярле, считала Хассе шарлатаном, выдающим себя за юношу, испытывающего тягу к знаниям. «У него такая же больная спина, как у меня малокровие, — говорила она. — Враки все это. Ты же видишь... — говорила она и еще капельку приподнимала от природы выпяченную верхнюю губу, так что становилась видна гладкая плоть десны, которая обычно скрывается в темноте рта, — ты же видишь, как он корячится и ахает все время? Это же просто для того, чтобы на него обратили внимание, нигде у него не болит, понимаешь ты? У него диагноз есть какой-нибудь есть? Нету. Врачи находят что-нибудь? Нет. Нет у него никаких болей! Он просто придумывает их, потому что без них ему никуда».

Ярле, слушая выпады Хердис против Хассе, обычно просто пожимал плечами. Что он мог сказать? Ему не хотелось говорить о Хассе плохо. Ему, как ни странно, нравились и его прилипчивость, и его идеи — и если хронические боли в спине и

были выдумкой Хассе, то ведь и это было здорово придумано!

«Господи, — сказала тогда Хердис. — Господи, Ярле. Ну пошевели сам-то своими извилинами».

«Да-да, — думал он, а телефон тем временем все звонил. — Пора мне, черт возьми, начать шевелить извилинами, да, — подумал он, — и первое, что я сделаю, буду держаться от тебя подальше».

Хассе, очевидно, не было дома. Ярле повесил трубку и подумал, а не стоит ли ему сбегать в кинозал и проверить, сидит ли его дочь, как положено, в четырнадцатом ряду, но он отбросил эту мысль: разумеется, она там сидит. Нельзя же контролировать каждый ее шаг. Он причмокнул губами. Ни в коем случае нельзя недооценивать детей. Как сказала Хердис, она не... да как же это она сказала? Что Шарлотте Исабель давали... познавать мир самой? Что ей никто не препятствовал? Что-то в этом роде. И уж он тоже не будет этого делать. Бегать за ней повсюду, как если бы ей было три годика.

Он набрал номер Арилля.

Арилль Бёмлу снял трубку.

— Нда, — сказал он на выдохе; такая уж у него — была привычка говорить, будто он вздыхает.

— Это Ярле звонит.

— Нда-а, — сказал Арилль.

И в трубке стало тихо, как часто бывало, когда разговаривали с Ариллем. Этот уроженец местечка Бёмлу, с огромными кулачищами и скептическими, никогда не моргающими глазами, практически никогда не задавал вопросов. Казалось, что для него разговаривать — тяжелый труд, и создавалось впечатление, что его воротит от окружающего мира. Нередко у менее уверенных в себе людей, чем Ярле и Хассе, стоило им поговорить с ним, возникало чувство, что он снисходит до них. Он только смотрел на них. Он только вздыхал. Он только покашливал. Он только ждал. Ярле не раз удивлялся тому, что общается с Ариллем, которого нельзя было назвать дружелюбным человеком, и он уже даже и не помнил, как началась их дружба. Самодостаточность? Бескомпромиссность? Может, это ощущение нестигаемой самодостаточности делало его интересным? У Хассе на этот счет были вполне определенные теории. «Это, конечно, странности, — говорил он, — с тем же успехом можно находиться в обществе пня или разделочной доски. И конечно, есть что-то такое, как бы это сказать, нечеловеческое, да, какой-то изъян во всем баснословно асоциальном существе Арилля — кто знает, какие мысли этот тип вынашивает? Ты же знаешь, Ярле, что при такой монструозной молчаливости, с какой мы имеем дело в случае

Априлля, не может быть и речи о таких простых вещах, как стеснительность или отсутствие навыков общения. Нет. В такой молчаливости, Ярле, таятся штормы и ураганы. Кто знает, что этому типу довелось пережить? В тот день, когда он решит об этом рассказать, надо нам будет держать ушки на макушке и наматывать все себе на ус, — говаривал Хассе. — Но знаешь что, Ярле, — добавлял он обычно, подходя поближе к приятелю, как Хассе имел обыкновение делать — подходить вплотную к людям, когда он сам полагал, что вот сейчас сообщит нечто потрясающее, — придется нам признать, что рядом с нами ходит великий человек. Так что ты уж знай: в тот день, когда этот тип действительно решится заговорить, надо будет всем сидеть тихохонько и наматывать себе на ус, потому что тогда горы сдвинутся с места, тогда разверзнутся океаны и в недрах земли раздастся треск.

Вот посмотри на него, посмотри, — шептал Хассе, бывало. — У мужика рост под два метра. Он двигается как тихоокеанское цунами. Он никогда не задаст ни единого вопроса. Он же, к черту, вообще ничего не говорит! Он притягивает к себе людей всем тем, чего он *не делает*, понимаешь ты? И когда ты это поймешь, то вот тогда-то ты можешь действительно начать задумываться о том, а *что же такое он делает*, собственно, так или не так? Ты мою мысль понял, Ярле? Вот посмотри же на него, попробуй разглядеть, что же он делает, когда он *ничего не делает*. Может, он ходит по воде? Может, он парит в воздухе перед нами, а мы этого не замечаем? Собственно говоря!» — Так же как Ярле и Хассе, Арилль был принят в кружок посвященных литературоведов при Роберте Гётеборге. В то время как слухи о работе Ярле о Прусте были овеяны безграничными ожиданиями и в то время как слухи о работе Хассе о ссылках и отступлениях были овеяны восхищенным изумлением, то слухи о работе Арилля о Бланшо были овеяны глубоким и весомым уважением. Никто никогда не читал ничего из того, что он написал. Никто не знал, о чем именно идет речь в его *работе о Бланшо*. Но что это был великий труд, понимали все. Что это была просто блестящая работа, это само собой разумелось.

— Послушай, Арилль, — торопливо проговорил Ярле, — у меня тут денег надолго не хватит, но вот попозже ты будешь дома?

— Воскресенье, — услышал он Арилля. — Киноклуб. Бергман. «Тишина».

— Так Послушай, а ты не мог бы пропустить «Тишину» сегодня, как ты думаешь?

— Пропустить «Тишину», — сказал Арилль.

— Пропустить «Тишину», да.

— Пропустить «Тишину», — повторил Арилль.

— Да. Взять и пропустить. Я знаю, что я многого прошу. Не каждый день показывают «Тишину».

— Да, не каждый, — сказал Арилль.

— Послушай, я все потом объясню. Я к тебе зайду около часу. Попробуй Хассе тоже найти, о'кей?

Ярле повесил трубку и поспешил через фойе в кинозал. На экране люди вопили и кричали в страхе перед динозаврами. Дети сидели, разинув рты, их руки автоматически передвигались от кулька с конфетами ко рту и обратно, и Ярле вспомнилось, как он сам так сидел в кино вместе с папой что-нибудь двадцать лет тому назад, в Народном театре в Ставангере, смотрел «Книгу джунглей» и чувствовал, как раздвигаются границы мира.

Он быстро пробирался вдоль четырнадцатого ряда, бормоча извинения людям, убиравшим под себя ноги.

У него все внутри опустилось и в нем все поднялось, когда он увидел, что на ее месте никто не сидит. Ужас разлился по телу, перед его мысленным взором вставали картины детей, выбегающих на дорогу и попадающих под машины, картины похищения маленьких девочек людьми с дьявольскими намерениями. Он стоял между рядами кресел и, сглатывая, отчаянно озирался вокруг, пытаясь разглядеть ее в этом большеглазом море поедающих конфеты одинозавренных детей.

Где же она? Ярле выбрался из своего ряда, и на этот раз он не извинялся, с бешено колотящимся сердцем он пер направо. Шарлотта Исабель!

Шарлотта Исабель!

Господи!

В кончиках пальцев закололо. «Один день со мной, один несчастный денечек со мной, и она исчезает, — подумал он. — Что же я за недоумок такой?»

Ярле пометался туда-сюда перед экраном, прикрывая рукой глаза, чтобы не мешало мельтешение кадров, и люди начали возмущаться, кто-то потребовал, чтобы он отошел в сторону.

— Эй! Извините! Эй! — крикнул он в зал и замахал руками над головой. — Никто не видел... моей дочери? Маленькая такая... со светлыми волосами, она... Никто не видел? Она сидела в четырнадцатом ряду, она... Пожалуйста!

Люди качали головой, пожилая дама, сидевшая в первом ряду вместе с внуком, сказала:

— Ой, ужас какой, бедный!

И тут он услышал голос:

— Папа!

Он сглотнул, взглянул в ту сторону, откуда послышался звук.

— Я здесь!

— Шарлотта Исабель?!

— Да! Я здесь!

— Где?

— Здесь!

— Да где здесь?!

— Здесь!

На них зашикали: Ярле приложил ладонь ко лбу, чтобы лучше видеть в лучах светящего в глаза проектора, и тут-то он разглядел Лотту. Она стояла в самом конце зала, за последним рядом кресел, и махала ему.

Он пригнулся и преодолел зал в несколько прыжков, мгновенно проскочив все ряды:

Ты что это вытворяешь?!

Ярле жестко схватил Лотту за руку ниже плеча и поволок за собой к выходу.

— Но, папа! Я хочу досмотреть «Парк юрского периода — два»!

Шарлотта Исабель упиралась, но он тащил ее вон из зала. Оказавшись за дверью, он опустил ее на колени, схватил ее за плечи и потрянул как следует:

— Ты что это вытворяешь?!

— Я...

— Лотта! Тебе нельзя... это... Да слушай же меня! Если мы договариваемся, что мне нужно выйти позвонить, а ты должна пойти и сесть в четырнадцатом ряду, то нельзя — слышишь ты — тебе нельзя... — Он снова ее потрянул. — Да слышишь ты? — И он опять ее потрянул. Лотта! Отвечай сию минуту! Ты слышишь меня?

Шарлотта Исабель задрожала, заревела в три ручья, вывернувшись из его рук и бросилась бежать. Она бежала по коридорам со скоростью, на какую только были способны ее маленькие ножки, и выла:

— А-а-а, а-а-а, домой хочу! Я хочу домой!

Ярле кинулся за пей, люди смотрели на них, и он чувствовал себя полным идиотом. Он догнал ее в фойе. Прижал к себе:

— Ну ладно, ладно. Ладно, девочка моя. Не обижайся на папу. Понимаешь? Папа не привык быть папой, понимаешь? А? Ну послушай. А? Девочка моя. Не обижайся. Идем, пойдем к тете Грете.

Она всхлипнула и провела ладошкой под носом.

— О'кей, — сказала она и взяла его за руку.

Ярле с дочкой вышел из кинотеатра в ранний сентябрьский вечер. Скоро станет темно. Наступит вечер. Вокруг раскинулся

Берген, было тихо, людей на улицах мало. Ручка Шарлотты Исабель покоилась в руке Ярле, как маленькая птичка, казалось ему, и он чувствовал себя большим и неловким. Лотта шаркала пятками по асфальту и не поднимала головы. Они шли вверх по склону холма Нюгорсхейден, и, когда они проходили мимо зданий студенческой столовой и историко-философского факультета, Ярле показал ей их и сказал, что вон там он работает.

— Гм, — буркнула Шарлотта Исабель, не поднимая глаз.

Когда они шли мимо Ботанического сада, Ярле сказал, что там масса цветов и вообще очень красиво. Шарлотта Исабель вежливо сказала:

— А, ну ладно, — даже не оглянувшись.

Когда они проходили мимо студенческого центра, Ярле сказал, что это здесь, на холме, важное место, потому что тут много всяких разностей для студентов. И почта, сказал он. И книжный магазин.

Но и это не заинтересовало Шарлотту Исабель, которая всю дорогу шла, опустив очи долу. Когда они спускались к Мёленприс, Ярле остановился:

— Эй!

Лотта не откликалась.

— Лотта!

Она всхлипнула.

— Ну прости, пожалуйста.

Ярле не знал, что и думать о случившемся. Ему казалось, что ему, собственно говоря, не за что просить прощения, но он чувствовал по поведению девочки, надувшейся всерьез, что это единственный выход. Она же нарушила их договор, так что во многих отношениях это она, а не он должна была просить прощение.

Но что поделаешь? Вот так и бывает с девочками, осенило его, приходится их задабривать. Приходится отложить собственные заботы в сторону и уговаривать их, если нет желания до позднего вечера разбираться с обидами и ссорами.

Когда они уже подходили к их дому, Шарлотта Исабель повернулась к нему и спросила:

— Папа, а папа! А тебе страшно было динозавров?

Она, со своими черепашьими глазами, как два усика у насекомых, под самыми висками, с маленьким крохотным ротиком грызуна, открыла дверь, и на бедре у нее боком сидел ее мальчуган. Ярле еще раз поразился тому, какая она странная. Ему почудилось, что она в мягком предвечернем свете выглядит прямо-таки и пугающе, и экзотично, да чуть ли не до ужаса

нездешней, когда она вот так стоит со своим мальчишкой на бедре. «Грета Страннебарм, — подумал он, — вот уж действительно ты не из тех девушек, которых люди называют красавицами».

В ранней юности Ярле пробовал противиться всей этой канители с красивыми девушками. Когда он был ребенком, ему внушали и мама, и школьные учителя, и церковь, что главное — это внутренние достоинства. Эта мудрая мысль преподносилась как своего рода утешение и просветительская идея, как бесспорная истина. Маленький же Ярле совсем не так воспринимал мир — он был влюблен во все внешние достоинства! Эти бабочки! Эти девочки! Гламурные поп-группы с синтезаторами и в макияже! Но он верил, что то, что ему говорят, — правда, и он изо всех сил всматривался внутрь, пытаясь высмотреть *самое главное*. Став старше, он научился распространять значение высказывания «внешность не имеет значения» в соответствии со взглядами в той радикальной среде, в которой происходила его социализация, — среде, которая в восьмидесятые годы еще несла явный отпечаток почти умилительных представлений семидесятых годов о тесной связи между естественностью и радикализмом, те самые представления, из-за которых кое-кто из молоденьких девушек переставал брить ноги и пользоваться косметикой: они называли себя раскрепощенными. «Внешность не имеет значения», да, эту фразу Ярле произнес много раз. Часто ему бывало приятно ее произносить, потому что ему казалось, что он тем самым проявляет участие к девушкам, которым в этом плане не очень повезло. Вообще, высказывать убеждение в том, что внешность ничего не значит, было приятно, потому что сразу видно было, как это радовало слышавших его.

У девушек, которым в этом плане не очень повезло, росла уверенность в себе, что им было необходимо, а те девушки, которым повезло в этом плане, знали, что все это чепуха, они знали, что все это говорится именно потому, что на них-то самих смотреть приятно. Они прекрасно знали все это с самых давних пор. Еще в раннем детстве они замечали, как их врожденный блеск украшает окружающую действительность, что их подруги, которым повезло с внешностью меньше, разумеется, тоже замечали, еще не научившись тому, чем можно компенсировать это отсутствие эстетического везения. Так что обо всей этой бодяге, мол, внешность не имеет значения, Ярле знал все. Прежде всего, что это, как бы поосторожнее выразиться, не совсем верно. Но раз это уже сказано, раз это уже признано и упрочилось в общественном мнении, как бы это ни было для некоторых

печально, надо добавить, что все здесь обстоит гораздо более сложно, чем изложено выше. Вот взять, к примеру, таких девушек, как Хердис и Грета. Как, например, можно было бы сравнивать двух таких девушек, как Хердис Снартему и Грета Страннебарм — такая у нее была фамилия?

Если попробовать описать Хердис при помощи метафоры света, то можно было бы сказать, что она сияет. Можно было бы сказать, что она как звездное небо. Можно было бы сказать, что она являет собой чистый блеск. Но если понадобилось бы описать Грету при помощи метафоры света, то можно было бы сказать, что она матовая. Можно было бы сказать, что у нее отсутствует свечение. А если бы пришлось описывать двух этих девушек в терминах жары и холода, описывать двух этих девушек, которые, между прочим, были почти ровесницами — Грета всего на каких-то два года младше сестры своей, — то довелось бы услышать собственный голос, говорящий, что Хердис обжигает как лед, в то время как Грета поддерживает в мире среднегодовую температуру.

И если задаться лишь тем, чтобы рассматривать их как, так сказать, чистые формы, то всем было бы очевидно, что упоительно приятно находиться поблизости от классических очертаний Хердис Снартему, подобно тому, как восхитительно пересекать площадь Святого Петра в Риме, или также подобно тому, как по телу начинают бегать мурашки, когда стоишь перед бьющими из земли в Исландии горячими источниками. И это все из-за ее мощных бедер, не правда ли? И это все из-за ее высоких скул, не правда ли? И это все из-за ее пухлых губ, широкой улыбки, пылающего розового язычка, не правда ли? И это все из-за ее просто-таки восхитительной попы, не правда ли? И так со всем, абсолютно со всем у Хердис Снартему: не было в ней ничего, что было бы создано непривлекательным, не было ни сантиметра в ее южнонорвежском теле, что не светился бы знанием секретов мастерства, точностью исполнения, симметрией и совершенной красотой.

В свете таких впечатлений трудно было разглядывать Грету Страннебарм. Боже ж мой, наверное, пришлось бы себе сказать, и особенно в таком случае, когда у Греты Страннебарм так неудачно сложились бы обстоятельства, что ей пришлось бы оказаться рядом с такой женщиной, как Хердис Снартему, — боже ж ты мой, боже мой, пришлось бы себе сказать, боже ж мой, до чего непохожими бывают люди! Какие же у нее мосластые руки! А ее ноги, ляжки и икры — как им недостает ритма. А спина-то, какая она у нее сильная, колода дровосека какая-то, из жесткого мяса и выносливых сухожилий, грудь же, с ее туберкулезным

покроем, наоборот, щедедушная. Вся Грета Страннебарм была составлена, не сказать иначе, из каких-то странных и лишенных блеска компонентов.

«И все же, — подумал Ярле Клепп, когда она открыла дверь. — И все же, — подумал он, еще раз ошеломленный, когда заглянул в ее черепашии глаза. — И все же она фактически настоящая неземная красавица, и вот я тут стою, и прошло ведь всего несколько часов с тех пор, как мне пришлось пережить крах в любви, и все же я могу сказать, что эта черепахоподобная женщина, моя соседка, страшно привлекательна. Видно невооруженным глазом, — сказал он себе. — Видно невооруженным глазом», — сказал он себе еще раз.

— Да-а, — улыбнулся он. — Вот так. Вот и мы. Припозднились немножко. Это Шарлотта Исабель. Поздоровайся, Лотта, поздоровайся с тетей Гретой.

Лотта сделала книксен — что Ярле взял себе на заметку. «Ах вот так, — подумал он, гордо и немного изумленно, — есть в ней все же какая-то внутренняя грация».

Его дочь тянула шею, заглядывая за спину Греты:

— Привет, а этот Даниэль дома?

Грета улыбнулась и кивнула, она сказала, что он побежал опять играть со своей плеистейшн, — «иди к нему, не стесняйся», и потом она приподняла бровь, как если бы хотела дать понять, что согласна с тем, что Ярле рассказывал о дочери, что, мол, она развитая.

Пока он минут десять сидел с Гретой на кухне и объяснял ей то стечение обстоятельств, из-за которого он «вообще осмелился ей позвонить», как он сказал, из-за которого он «вообще не видел никакого другого выхода, кроме этого», как он сказал, Ярле вновь представился шанс увидеть, как его дочь без каких-либо церемоний вступала в контакт с другими людьми. Точно так же, как она это проделала с пожилой дамой в автобусе, с дочерью Эрнана, с Хердис, с девочкой в Аквариуме, а теперь и с лохматым Даниэлем, мальчиком, которому, кстати, досталось в наследство большинство странных черт его матери, в частности два полягушечьи широко расставленных глаза, повисшие, как капли воды, по обеим сторонам овального личика этого карапуза. Ярле видны были оба эти малыша, сверстники, валявшиеся на животе перед телевизором, пока он излагал Грете свою ситуацию.

У него есть дочь, как она может удостовериться. Да, это была непростая история, признал он и несколько приукрасил момент зачатия семилетней давности. Он назвал это непродолжительной юношеской связью. Ночная неудача. Но если бы он раньше об этом узнал, поторопился он сказать, то он, разумеется, давным-

давно подставил бы плечо, как и подобает мужчине. Но вот получилось так, как есть, вздохнул он и с удовольствием согласился выпить еще чашечку кофе. Так уж получилось. Пришли ему письма и из полиции, и от Анетты Хансен, и вот она здесь, Шарлотта Исабель.

Грета бросила взгляд в гостиную. Склонила голову набок:

— Чудесная девочка какая!

Ярле поступил так же, как Грета. Бросил взгляд в гостиную. Склонил голову набок:

— Да, она чудесная.

— Жалко твоего приятеля, — сказала Грета.

— А?

— Ну, этого твоего приятеля. Бедняга!

— Ах да, моего приятеля! Ты Хассе имеешь в виду? Да уж. Ужас! Кошмар. — Ярле кашлянул. — Печень. Печень шалит, да, и в таком возрасте. И почки тоже.

— И то и другое сразу? — Грета посмотрела на него с недоумением. — Это же очень редко бывает, разве нет?

— Именно. Очень редко такое бывает. Очень. Ведь с ума сойти можно?

Ярле поерзал на стуле.

— И уже в этом возрасте?

Он поднялся со стула:

— Да, Хассе досталось, конечно. Не говоря уже о его спине. Вот так, ну ладно, тогда... тогда я пошел, мне пора, извини. — Ярле повернулся в сторону гостиной: — Лотта? — Он повысил голос. — Лотта!

Ребятишки сидели на полу и играли с плейстейшн.

Они ссорились из-за джойстика, но не ожесточенно, отметил Ярле, не злясь по-настоящему.

— Лотта, ну, папа пошел на собрание тогда, о'кей?

Ярле заметил, как Лотта сказала ему «пока» — даже не повернувшись, даже, можно сказать, с полным равнодушием, — и он подумал: «Дети есть дети. Они выкарабкаются в любой ситуации. Попади ребенок в зону военных действий — и он выкарабкается. Оставь ребенка на крыльце чужого дома — и он выкарабкается. Мы живем в истеричное и сентиментальное время, когда забота и уход затмили все остальное. Ребенок — это машина выживания», — подумал он удовлетворенно, и он покидал Грету Станнебарм с твердой убежденностью в том, что ничего страшного не случится, если он оставит своего ребенка у нее на один вечер, более того, не только не случится ничего страшного — это откровенно замечательная идея.

— А как дела у... у твоей подруги? — спросила Грета, когда

он надевал ботинки у нее в прихожей.

— У какой моей подруги?

— Ну, у той... как там ее зовут? У Хердис.

Ярле посмотрел на нее. «Почему это она спрашивает об этом? Я ее интересую? Может, она решила, что вот теперь Ярле свободный кавалер?»

— Ну, — сказал он, — она бросила меня и ушла к другому.

— Ой, да что ты, Ярле! — воскликнула Грета с искренним сочувствием, как показалось ему. — Печально это слышать!

«Да, — подумал он, разглядывая лицо, которое, в очередной раз он вынужден был признать, было и ужасающим, и сказочным. — Да что же, ей действительно это кажется таким печальным? Не надо обманываться, — подумал Ярле. — При всем при том она же мать-одиночка, ей требуется мужчина в доме, и трудно истолковать это ее гостеприимство, этот ее интерес с иной точки зрения, чем что она положила на меня глаз».

— Жизнь продолжается, — сказал он со вздохом. — Жизнь продолжается. Я справлюсь с этим, конечно. И конечно, на это потребуется время. Это нужно переосмыслить и пропустить через себя, Грета.

Хассе встал с места, в изумлении качая головой, и подошел к окну.

Он скорчил гримасу, упер руки в боки, как делают беременные женщины, и время от времени отчетливо восклицал то «гм!», то «тц!», то «пфф!» или еще «хха!». Даже Арилль опустил «Моргенбладет» на колени, обнаружив на лице выражение, показывающее, как он тронут тем, что рассказывает Ярле.

— У тебя дочь? — воскликнул Хассе, как если бы он никогда раньше не слышал этого слова.

И Ярле кивнул в подтверждение, поднося бутылку ко рту:

— Дочь у меня.

— *Семи лет!* — сказал Хассе, как если бы Шарлотта Исабель была первым в мире ребенком семи лет, и Ярле пожал плечами, приподняв одновременно брови:

— Семи лет.

Арилль поднес сигарету ко рту, затянулся так, что папиросная бумага стала потрескивать, и издал длительное в своей серьезности «нда-а-а-а-а-а».

— Нда. Вот такие дела. Что я могу сказать? — сказал Ярле.

— Нет. Какого еще черта ты можешь сказать? — повторил за ним Хассе.

— Что тут еще говорить? — эхом отозвался Арилль.

Сентябрьский вечер потихоньку сгущался в квартире Арилля.

За окнами свет спрятался за крышу Концертного зала Грига, день откланивался, комнату вокруг троих старшекурсников окутал мрак. Они кивнули. Они откупили еще по бутылке пива. Они достали еще сигарет. «Вот так мужчины встречаются судьбоносные события», — подумал Ярле, отметив про себя, как громкоголосо и интимно он разговаривал об этом с Гретой и как рассудочно, более того, с каким достоинством он разговаривал на эту же тему с Хассе и Ариллем.

— Тц-тц! — сказал Хассе.

— Вот именно, — поддакнул Ярле.

— Нда-а, — подал голос Арилль.

Хассе выпускал дым подрагивающими колечками, и его скулы ходили какими-то рыбьими движениями. Через некоторое время Арилль заставил подняться свое неподатливое тело, прошел через комнату к проигрывателю и поставил «Без любви» группы «Май блади вэлентайн». Ярле открыл третью бутылку пива и почувствовал, как комната наполняется удивительными чувствами.

— У меня вот есть сестра, — сказал Хассе. — Но все-таки дочь — это совсем другое. Ходить смотреть, как у тебя сестра в двенадцатилетнем возрасте начинает распускаться как бутон, смотреть, как она притаскивает домой одного дружка за другим, смотреть, как она из нарядной маленькой ягодки-малинки превращается в бутерброд с маринованной в укропном соусе свиной шеей, который с жадностью хавают все кому не лень, — это одно дело, но дочь! Семи лет от роду! Это совсем другое. Хассе говорит вам: я пас.

— Да-а. — Ярле вздохнул. — Я-то всегда был только я один, я и всё.

— У меня есть три брата, — сообщил Арилль.

Хассе и Ярле изумленно повернулись к товарищу.

Он что, начнет разговаривать теперь? Что за чудеса?

Он собирается посвятить их в интимнейшие семейные тайны?

— Это же феноменально! — воскликнул Хассе восторженно. — Три брата!

Арилль снова уселся на диван. Он издал протяжное «нда-а». По всей видимости, он не собирался вдаваться в подробности.

В комнате вновь воцарилась исполненная достоинства мужественная тишина. Хассе требовалось время, чтобы поразмышлять над вновь открывшимися ошеломительными сведениями о состоянии дел, Ярле же в изнеможении откинулся на спинку дивана, взгляд его блуждал по потолку, и Арилль, воспользовавшись моментом, снова взялся за «Моргенбладет», перелистнул страницы и продолжил чтение статьи в той части

газеты, что была отведена культуре.

— Проблема, — сказал Ярле через некоторое время, взглядев на него, — все еще был обращен к потолку, а обеими руками он обхватил расположенную между ног бутылку пива. — Проблема-то, — повторил он, — состоит в том, что все это ну настолько к чертовой матери не ко времени. Проблема, — сказал он снова, — состоит в том, что я к этому всему не готов. Абсолютно не готов. — Ярле сел прямо и сделал глоток из бутылки. Потом провел указательным пальцем по губам. — Абсолютно не готов.

Арилль едва взглянул на него и продолжил чтение. Хассе выгнув спину дугой, прищурил глаз, и Ярле почудилось, будто другой его глаз, широко раскрытый, вдруг засветился.

— Не ко времени? — Хассе подсел поближе к Ярле. — О'кей. Может, и так. — Он наклонился еще ближе. — Ты к этому не готов? — Хассе выхватил сигарету и закурил. — О'кей. Может, так оно и есть. — Он затаился и демонстративно выпустил дым. — Какого черта, Ярле? Вот все это самое... это самое... это все... да ты сознаешь ли, в чем тебе довелось принять участие? Не принимая в этом участия, так сказать? А? В один прекрасный день ты отворяешь кладовую между ляжек у девчонки — Анетта, так ее зовут?

Ярле кивнул.

— Вот именно, Анетта, да. В один прекрасный день ты опечатываешь погребальную камеру ученицы средней школы по имени Анетта — как там ее, Сула, кажется?

Ярле покачал головой:

— Нет, это она *жила* тогда в Суле. Хансен.

— Хансен! — Хассе вздрогнул. — Да-а, в один прекрасный день ты направляешь лампу накаливания на эдакий брызговичок из народной глубинки, Анетту Хансен из Суды. Ты пьяный. Пьяный вдрызг. Тебя зовут Ярле Клепп. Тебе семнадцать лет. Вот так вот. У тебя прыщи. Вот так вот. Ты читаешь Буковского, и смотришь фильмы Джима Джармуша, и слушаешь индустриальный рок, но ты не знаешь, кто же ты такой. — Хассе снова потянулся всей спиной и руками. — Семнадцать. Прыщи. Джармуш. Буковски. Индустриальный рок. Но вот начинается жизнь — ты взрослеешь — ты ощущаешь в себе тягу к чему-то большему, но к чему? К чему? Ты покачался на волнах у школьницы, но ты понятия не имеешь о том, что ты сотворил и какое ископаемое осталось после тебя. Так что ты уходишь в море. Ты оказываешься в другом городе. Тебя распирает человечностью. Ты пытаешься поставить на ноги этого хрупкого индивида — себя самого. Эмансипация. Дедикация.

Ярле посмотрел на часы. «Скоро уже пора сматываться», —

подумал он.

— У меня теперь есть дочь, Хассе, — сказал он с легким раздражением. — От тебя не требуется раздувать из этого больше того, что есть. У меня на руках оказалась дочь. А мне, к чертовой матери, никакой дочери не надо, ясно?

— Да, но я именно это и говорю!

— Нет, ты говоришь не именно это. Ты выпил, тебя занимает твоя собственная персона, ты пытаешься все это драматизировать, вот что. Я тебя знаю. Может, это все и забавно, но только не сейчас, о'кей?

— Драмати... — Хассе развел руками, — драматизировать?! Блин, Ярле, ну ты меня разочаровал! Хассе пытается тебе показать, что тут прослеживается некая линия, а ты... — черт, ну до чего же, к чертовой матери, больно, тут вот, в спине! — я пытаюсь тебе показать, что тут прослеживается некая линия, так, а ты... что, не так? Die Niemandrose!

Хассе вытянул правую руку в сторону и удрученно посмотрел на Ярле.

— Чего-чего? — Ярле причмокнул губами. — Die чего?

Арилль одобрительно кивнул из-за газеты.

— Делан, — сказал Хассе снисходительно. — Die Niemandrose. Дочь твоя!

— Es ist alles anders, als du es dir denkst, — донеслось монотонное заунывное бормотание из-под «Моргенбладет», — als ich es mir denke, die Fahne weht noch, die kleine Geheimnisse sind noch bei sich...

Ярле обессиленно покачал головой.

— Die kleinen Geheimnisse sind noch bei sich... — Хассе кивнул, припоминая. — Чертовски здорово сказано: die kleinen Geheimnisse sind noch bei sich, хрен...

Ярле поднял глаза. Действительно, это было чертовски хорошо сказано.

— ...sie werfen, — продолжал Арилль все с той же однообразной интонацией, — noch Schatten...

— Schatten, — повторил Хассе, стараясь вспомнить дальше, — да, Schatten, Schatten, Schatten... черт, ну до чего же чертовски хорошо...

«Schatten, да, — подумал Ярле. — И действительно ведь так. Тени. Тени. Тени...»

— ...davon lebst du, — закончил Арилль, лицо которого все так же было скрыто за «Моргенбладет», — leb ich, leben wir^[11]

Мощно.

Davon lebst du.

Несмотря ни на что.

Leb ich. Leben wir.

Ярле провел языком по зубам.

Трое старшекурсников сидели, размышляя. Литература. Жизнь. Маленькие тайны, которые держались поодиночке, которые отбрасывали тени. Сильно это показалось им всем троим.

Ярле нарушил молчание:

— У меня теперь есть дочь. Вот в чем проблема. — Он вздохнул. — Она, безусловно, сладкая, как карамелька, и отец ей, безусловно, необходим, это так, но я не чувствую необходимости в дочери. Я Пруста изучаю, черт подери. Пруста!

Хассе кивнул. Он хлопнул Ярле по спине:

— Ну-ну, успокойся, папаша. — Хассе глотнул пива прямо из бутылки. — Такая, к черту, буря эмоций, вся эта история — Хассе вполне в состоянии это понять. Все, все в порядке. Ведь правда, Арилль, все в порядке?

Оба повернулись к Ариллю, который по-прежнему читал «Моргенбладет».

— Арилль, правда же, все в порядке?

Вид у Арилля был такой, будто ему не нравится, что ему мешают читать, он наобум ткнул пальцем в какое-то место в лежавшей перед ним газете и сказал:

— Здесь статья о Бергмане на две страницы. В «Моргенбладет». Сравнительный анализ «Тишины» и «Причастия».

— Что? — Уголки рта у Ярле опустились, а брови взлетели на лоб.

— Что? — Хассе заинтересованно наклонился к Ариллю.

— Да-да, — сказал Ярле. — Наверняка скоро напечатают и мою статью о Прусте. Должны же они ее напечатать!

— Верняк, — подтвердил Хассе. — Смеешься, что ли? Ясно, напечатают.

— Братья мои... — сказал Арилль и резким движением отложил газету в сторону, — братья мои наплодили черт знает какую кучу детишек.

Хассе и Ярле осторожно повернули головы в сторону приятеля. Они опасались сказать что-нибудь из страха, что он замолкнет.

— В общей сложности восьмерых, — продолжал Арилль. — Восемь ребятишек. Я дядя восьмерых ребятишек. Нда. Хокон и Брюнъяр — это близнецы, а еще София, Осхильда и Сельма и, наконец, это Юна, Силья и Сюнна, и вот у нее зрение что-то около минус семи на обоих глазах. Когда я приезжаю домой летом и на Рождество, вокруг просто кишит ребятня. По-моему, никто уже и не замечает, что я приехал. Я ухожу гулять к морю во время

отлива и собираю ракушки. Вечерами я сижу в старом сарае для лодок и перебираю сгнивший невод отца, слушая, как все эти ребяташки, которым я прихожусь дядей, с воплями носятся по большому яблоневому саду моих родителей. Они и не знают, что я существую. И в общем, это еще вопрос, существую ли я.

Хассе сглотнул.

Ярле сделал то же самое.

Ну и денек. Ну и воскресный денек!

Трое приятелей посмотрели друг на друга, и каждый почувствовал, что они стали друг другу значительно, значительно ближе.

— Es ist alles anders, — прошептал Хассе севшим голосом, — als du es dir denkst.

— До чего же, черт дери, верно! — сказал Ярле и долил остатки пива. Он поднялся. — Ну вот, как бы то ни было, я здесь больше сидеть не могу. Они меня ждут. Лотта и Грета. Черт, дьявольски классный вечер сегодня получился. Просто невероятно здорово, что есть у тебя место, куда можно прийти выговориться и где тебя поймут. Спасибо за участие. Вы ну очень меня поддержали.

— Но это же естественно! — сказал Хассе. Мы же не из камня сделаны, хоть мы и интеллигентные люди. Так или не так, Ариль?

Ариль тяжело дышал, изнуренный собственными откровениями, раздраженный тривиальным замечанием Хассе.

Ярле надел куртку.

— Нну-у... а мы тогда двинем в «Гараж», раз так, — заявил Хассе.

— С «Тишиной»-то не вышло, — сказал Ариль.

— «Тишина», — кивнул Хассе. — Стабильное качество. Но «Гараж»-то все равно открыт, пусть даже Господь безмолвствует.

Ярле посмотрел на них.

Подумал. Снова посмотрел на часы. Десять минут одиннадцатого.

Десять минут одиннадцатого.

Ведь Шарлотта Исабель не одна там, с ней этот самый Даниэль. Но десять минут одиннадцатого! Времени-то уже все-таки десять минут одиннадцатого. Маленькие дети — в том числе и его неумная дочь — в десять минут одиннадцатого уже спят.

А может, нет?

— О'кей, — сказал он. — Зайду выпью пивка по дороге домой.

— Вот это правильно, — одобрил Хассе и открыл дверь в туалет.

— Я так думаю... — Ярле пошел обуваться, пока Арилль ставил на место звукоосниматель проигрывателя и гасил свет в гостиной. — Я так думаю: что плохого, собственно, может случиться с маленькой девочкой, оттого что ее папа пропустит пару-тройку кружек пива в ситуации, когда жизнь преподносит ему уж слишком много сильных впечатлений?

— Господи! — громко и внятно произнес Хассе в туалете, где он писал. — Какого еще плохого? Она же не одна там! Забота? Да. Внимание? Да. Избыточное, невротическое цацкание с малышкой, из-за чего они становятся такими несамостоятельными дуриками, что и рта открыть не могут, чтобы не разнюниться? Нет.

Раздался звук спускаемой воды. Затем вода потекла из крана в раковину. Ярле кивнул.

Арилль стоял рядом с ним, держа в руке ключи.

— Тончайшее равновесие. — Хассе вышел из туалета. — Привязанность. Обрыв пуповины. — Он кивнул Ариллю. — Уж ты-то, дядя восьмерых ребятишек, все об этом знаешь. Черт подери! Это же феноменально! Слепая девчонка, да, Сюнна вроде бы? Это сильно. А вот моя сестра, она наоборот, она совершенно... она... просто... просто не знаю, что мать с отцом не так с ней сделали. У меня такое впечатление, что она только и делает, что усаживается поудобнее на мужиков. Она этим, блин, развлекается с тех самых пор, как подвесила под потолком эдакий светящийся диско-шар, когда ей было двенадцать лет, и все соседские парни по очереди несли вахту в ее комнате, и ничего, что я ходил мимо ее двери и слышал все, — и, думаете, она успокоилась наконец, остановила свой выбор на одном из них? Ничего подобного, ее ненасытный передок разворачивается в сторону любого проходящего мимо болта. Думаешь, ей бы семью завести, детишек там, садик маленький, настурцию посадить? Вот уж нет. Ей лишь бы трахаться, и больше ничего. Только это ей и надо. — Хассе схватился за бок и прошипел, сжав зубы: — С-с-сволочь! Ну что это за скотская спина такая? С вами так не бывало? Блин, точно у тебя внутри какие-то шахты, и горные выработки, и целая орава человечков, ворочающих камни, и таскающих уголь, и руду и — вот черт! — занимающихся сваркой и черт еще знает чем. Не было с вами такого?

Они вышли на вечернюю улицу. Лето уступило зябкой сентябрьской ночи, но головы у всех трех разгорячились от пива, и все трое раскошегарились, хоть и каждый по-своему. Хассе шел, наклонившись вперед и подпрыгивая всем телом при каждом шаге, а у Арилля вся накопленная энергия была обращена внутрь; Ярле же сглотнул и сказал себе еще раз, что ничего страшного не

случится, если он в этот вечер пропустит еще пивка. Они прошли мимо подворотни на улице Ньюгорсгатен, где Ярле всего какой-то месяц тому назад раздел Хердис Снартему догола выше пояса, и он отвернулся, подумав, что ведь вот в этих владениях он больше не будет хозяином. Рассказать об этом ни Хассе, ни Ариллю у него не хватало духу.

— Нда, — сказал Хассе и ускорил шаг, как он делал всегда, когда чувствовал, что вокруг начинает пахнуть паленым.

— Нда, — повторил он и срезал угол возле григовского Концертного зала, как будто бы им нужно было спешить.

— Нда, — сказал он в третий раз, когда они были уже недалеко от «Гаража», и резко остановился.

— Что «нда»? — Ярле нахмурился. — Ты о чем?

— Нда, — сказал Хассе и часто заморгал. — Да просто... даже не знаю. Я просто... — Хассе вздохнул. — Нет, не знаю даже. Вот просто... О'кей. Только подумай вот о чем. Серьезно подумай. Мы с вами баб немало перетрахаили в своей жизни, так ведь? Мы же мужики, так ведь? Юбочек позадирали разным там бабам, так ведь?

— Ах черт! — сказал Арилль.

— Вот именно, — кивнул Хассе.

— О'кей, вот ты о чем думаешь, — сообразил Ярле. — Мы это уже проходили, если можно так выразиться. Не могу посмотреть на пару сисек, не задумавшись, не течет ли из них молоко благодаря моим усилиям.

— Ах черт! — сказал Арилль.

— Просто черт подери! — Хассе прищелкнул пальцами. — Тут такие перспективы открываются, такие... Может, вокруг просто кишит детьми, которые от меня?

Трое молодых людей посмотрели друг на друга. Все трое кивнули. Они думали одну и ту же думу, они видели это по лицам друг друга. Мимо них рука об руку прошли в противоположном направлении две девушки, и парни кивнули.

— Пошли напьемся, — сказал Ярле и двинулся дальше.

Хассе снова нагнал его. Внезапно его лицо расплылось в широкой улыбке, он обнял Ярле одной рукой, прижал его к себе.

— Это что еще такое? — Ярле смущенно улыбнулся.

Хассе провел языком по зубам:

— Госсподи! Чел! Ты же у нас отец!

Хассе побоксировал по груди Ярле.

— Ну да, я отец.

— Но черт же подери, чел! Иногда бывает — господи! Ну что мы тут разнюнились! Ты тут со своими братьями, Арилль! И я со своей сестрицей! А еще *ты* будешь жаловаться, Ярле! — Хассе

сложил ладони на уровне груди и потрянул ими, как если бы в ладонях были игральные кости. — Что мы тут гадаем, не отреагировала ли одна-другая пизда, в которой мы проплыли тысячеметровку, произведением на свет потомства! А вдруг? Вдруг? А не лучше ли бы, чтобы все ночи, проведенные между ног у дам, приводили к появлению на свет детей? Чем больше детей, тем больше возможностей! Да ты сознаешь ли, Ярле, что же ты, собственно, сделал? Ты сознаешь ли, что ты вторгся в мировой порядок, что ты вторгся в ритм жизни? Что ты, с позволения сказать, собственноручно заявил о себе в борьбе за то, что должно случиться или не случиться дальше с этим миром? А? Что? — Хассе кивнул. — Для спины гораздо полезнее ходить, я это чувствую. Кровообращение лучше от этого наверняка. В любом случае ты сделал возможными колоссальные вещи! Благодаря тебе по земле ходит человек, человек мчит по бескрайним просторам благодаря тебе, и кто знает, кто знает, Ярле, какие свершения ждут этого человека? — Хассе замахал руками, которые в пьяном состоянии, казалось, вдвое увеличились в размере. — Ты сознаешь ли величие всего этого? Ты ее, так сказать, всю перетрахал, пока она, так сказать, дрыхла, и теперь у тебя есть дочь! Это же великое дело!

Ярле сжал челюсти.

— Госсподи, Ярле, — сказал Хассе, — ты еще не смог этого осознать. Пошли. Идем напьемся. Я прекрасно вижу. Ты еще не смог осознать всего величия произошедшего. Ребенок появился на свет. Твой ребенок. Черт возьми, чел!

«Тебе легко говорить, — думал Ярле, пока они шли к «Гаражу». — У тебя всегда так все просто получается, Хассе, потому что с тобой ничего никогда не происходит. У тебя все происходит только в голове и в болтливой варежке. А вот это... — подумал Ярле, — вот это на самом деле происходит. И я этого совершенно не хочу».

— Великое дело! — слышал он голос Хассе, когда они входили в двери.

— Великое дело! — услышал он его еще раз, когда они подходили к стойке.

— Три пива, — услышал он слова приятеля, обращенные к барменше; и тот еще добавил: — Это, черт возьми, не абы какой день. Мой товарищ стал отцом.

— Надо же, как здорово! — воскликнула девушка с колечком в носу и в футболке с изображением металлической группы «Бурзум». — И когда же? Хассе наклонился к ней поближе и понизил голос, прошептав с изумлением:

— Вот в этом-то вся и штука, это просто фантастика. Семь лет

назад. Скоро будет семь лет тому как!

Без четверти одиннадцать Ярле оприходовал первые пол-литра в темноте «Гаража», а без десяти одиннадцать Хассе удалось убедить его в том, что на тетю Грету можно положиться, и они заказали еще по одной. В половине двенадцатого они выпили следующую порцию, а без двадцати двенадцать Хассе убедил Ярле в том, что хватит уже прогибаться под этот жалкий, мягкий как тряпка социалистический дух времени; что это за мужик, если он, будучи взрослым человеком, не может сам распоряжаться суточным ритмом своей жизни? Что же, взрослый мужик уж и пивка не может заслуженно пригубить в тяжелый день? Ярле как себе представляет, что это за дети вырастут, если их без конца опекать и не давать им и шагу ступить самостоятельно?

Ближе к часу они уже потеряли всякий счет выпитым полулитровым кружкам, но все — и трое приятелей, и другие, постепенно собравшиеся вокруг них, — получили возможность поучаствовать в том захватывающем обороте, который приняла жизнь Ярле. Он вывалил перед ними всю эту историю. Загульная ночь в январе 1990 года: «Ну что, что я могу сказать? В семнадцать лет ведь со всеми такое бывает». Письмо из полиции: «И вот стою я, читаю, и, ну, будто вся моя жизнь рушится у меня на глазах». Письмо от Анетты Хансен: «И что же она пишет, эта девушка из Шеена?

«PS: батон, сырки и танцы!» Но она достойная женщина, надо отдать ей должное!» Встреча дочери в аэропорту: «Это вообще было совсем, к черту, нереально, вот она идет, и на шее у нее висит такая табличка с надписью «Я лечу одна», и я подумал: вот-вот, так с нами со всеми и происходит в жизни, и она, вот эта белочка маленькая, это, значит, и есть моя дочь?»

По мере того как алкоголь перераспределялся внутри молодых тел и по-разному корректировал личность каждого, настроение в помещении становилось все более праздничным. Хассе каждые пять минут держал речи, похожие на те, какими поздравляют людей, обретших отеческий статус, одна речь экзальтированнее другой; при этом он не забывал предупреждать об одиночестве, причиной которого дети тоже могут оказаться. Вот посмотрите только на этого человека, на Арилля, сказал он несколько раз; ведь он чувствует себя отверженным в своей собственной семье, у него есть племянница, которая практически полностью слепа, а ему приходится сидеть в сарае для лодок и мусолить старый невод, потому что у него детей нет.

Арилль сидел, понуриив голову, и бубнил: «Да-да, все уже

врубились, Хассе». Ярле постепенно вошел во вкус в роли жертвы. Поскольку в помещении были и девушки, он несколько поубавил скепсиса по отношению к Шарлотте Исабель и постарался описывать ее с определенной нежностью; большие доверчивые глаза, сказал он и улыбнулся. Какую милую ерунду она рассказывала, сказал он и воспроизвел пару ее реплик. Розовый рюкзачок в форме яблока, сказал он. Моя маленькая поня. Выражение ее лица, когда они сидели и смотрели похороны принцессы Дианы. Но Ярле настаивал на том, что, несмотря на это, история все же получилась трагической. Пусть он прослывет консерватором, но не так должен ребенок расти в этом мире. Что же касается его самого, то тут можно только одно сказать: он не создан для этого. Он выразил свою озабоченность по поводу того, как же теперь пойдет изучение Пруста, и, покачив головой, сказал:

— Да-да, единственное, благодаря чему меня, возможно, будут помнить, — это острая рецензия в «Моргенбладет». Ждите, скоро ее уже опубликуют! Совсем уже скоро!

По мере того как шли минуты, одна из присутствовавших там девушек, длинная деревенская дылда из какого-то глухого местечка в области Сюннхордланн, с тяжелыми сиськами, в домотканой юбке и с лиловым платком, намотанным вокруг головы, все ближе и ближе подбиралась к Ярле. Он знал, кто она такая, ее звали Боргни, и было в ней нечто драматическое и искреннее, она изучала религиоведение и активно участвовала и в работе «Эмнести» и в постановках студенческого театра. У нее были длинные кудрявые волосы и поблескивающие глаза над выпирающими скулами. Боргни проявила к Ярле в его новой ситуации столько понимания, сколько только было возможно, и сказала, что если ему понадобится поговорить с кем-нибудь об этом, то он в любую минуту может обращаться прямо к ней, потому что она сама — старшая из четырех детей и умеет обращаться с маленькими.

— Обращайся ко мне запросто, — сказала она и заглянула так глубоко ему в глаза, как только пьяные студенты могут заглядывать в глаза другим пьяным студентам. — И с этими словами она положила его ладони себе на бедра шириной с хорошую полку. — Обращайся ко мне, Ярле, — сказал она. — Пожалуйста. А она не писается во сне?

— Я еще не знаю, — сказал Ярле, ему показалось странным, что девушка пристает к нему теперь, когда он даже и не пытался клеить девушек, когда его свобода была ограничена и он больше не был столь же привлекателен, сколь прежде.

Да и вообще, те три девушки, которые оказались в компании

с ними в «Гараже» этой ночью, — не проявляют ли они к нему иной интерес, чем бывало раньше? Разве вот эта Боргни из Сюннхордланна, или вон та Лив Туне с острова Аскёй, или Хильда из-под Тронхейма проявляли раньше хоть какой-то интерес к его персоне?

Нет. Не проявляли.

Хильду из-под Тронхейма, девушку с масляными щеками крестьянки и задом, будто созданным для народной одежды, девушку, которую большинство назвали бы симпатичной, но очень немногие охарактеризовали бы как сексапильную, он даже пробовал клеить — как-то на вечеринке несколько лет тому назад. Он тогда распространялся о теории лингвистики и романтической поэзии, но совершенно безрезультатно. А этой Боргни из Сюннхордланна, которая сейчас стояла так близко к нему, что он уж начал подумывать, не собирается ли она посвататься к нему, он столько раз посылал зазывные взгляды в дни занятий на Ньюгорсхёйдене, не получая в ответ никакого отклика.

Но вот теперь?

Вот теперь, когда он сидел здесь, прикованный к земле по рукам и ногам чугунными узами, вот теперь они проявляли массу интереса, как если бы он был богат, или знаменит, или неизлечимо болен.

— Но если все-таки окажется, что она писается в постели, ни в коем случае нельзя ее ругать или давать понять, что в этом есть что-то необычное, — сказала Боргни, крепко прижимая его ладони к своим бедрам. — Понимаешь ты это? Такие вещи гораздо, гораздо чаще встречаются, чем люди представляют себе. И если не заострять на этом внимания, то все бесследно пройдет само собой.

— О'кей, — сказал Ярле, пытаюсь выглядеть заинтересованным и слыша смех Хассе за спиной.

— Да-да, можешь сколько угодно иронизировать и издеваться над этим, Хассе! — воскликнула Боргни. — Посмотрим, какая тебе самому понадобится помощь, когда ты обзаведешься собственными детьми. — Она снова повернулась к Ярле. — Не забудь только приготовить на всякий случай несколько чистых простынь и пододеяльников — вот и все, остальное само собой получится.

Когда времени уже было без четверти два, в глазах у Ярле начало двоиться.

Он пил с энтузиазмом одну кружку за другой. Как-то все заволокло за глазницами, и сфокусировать взгляд не удавалось. Он прищурился, вглядываясь в стрелки часов, и подумал, что вот

же, черт подери, до чего поздно, неужели уже действительно так поздно, они же только что пришли, и он, шатаясь, на негнущихся ногах, проковылял в туалет. Он поплескал водой себе в лицо, сплюнул в раковину и посмотрел на свое изображение в зеркале. Не помогло. Он пописал, прижавшись лбом к стене над писсуаром.

— Да-да, — пробормотал он, — спи-спи и не волнуйся, доченька моя маленькая.

Когда он снова вернулся в зал, ему навстречу загромыхла громкая музыка, в воздухе невольно жужжали разные голоса и в глазах у него все так же двоилось. Он сумел различить Хассе, который приобнял одной рукой за национально-романтическую талию Хильду из-под Тронхейма — рукой, из захвата которой она сразу же высвободилась. Хассе продолжил поглаживать ее по спине, не переставая разглагольствовать о чем-то, что Ярле не вполне удавалось уловить: о Канте? Философе Канте? Или о «Кенте»? О шведской рок-группе «Кент»? После чего Хильда из-под Тронхейма отодвинулась от Хассе на добрый метр. В конце барной стойки сидел один тип, который всегда околачивался в «Гараже», и которого звали Деннис, и который уже успел в бергенской среде стать легендой; он точил ляды с другой легендой, которого вроде бы называли Ангелом, у которого был сильный голос, будто он целое десятилетие пытался переорать шторм на море. Арилль понуро сидел перед двумя парнями из Кристиансанна, которые пытались вытянуть из него что-нибудь о Бланшо; под кожей на виске у него ходуном ходил раздраженный желвак холодного голубого оттенка, извилистый, будто червячок. Лив Туне с острова Аскёй хихикала с парой ребят, оба, судя по всему, претендовали на то, чтобы с ней переспать.

Как-то все съехало не на то. У Ярле двоилось в глазах, и никто больше не хотел разговаривать только о его дочери. Никто больше не поднимал кружки с возгласом: «За Шарлотту Исабель!» — как это продолжалось несколько часов подряд. Хассе больше не распространялся на тему о том, что, мол, с генами-то Ярле должно получиться что-нибудь потрясающее из этого шеенского сюрприза, во всяком случае ничего похожего на ту не сестру, а свободную зону, что сидела у него дома. Все как-то съехало на другое, как всегда бывало, когда время близилось к закрытию, как всегда бывало, когда народ уже закачал в свои тела значительные запасы алкоголя и был занят собой и только собой, студенты теперь жаждали трахать кого-нибудь и чтобы их трахали.

Ярле вышел на улицу.

Он тяжело прислонился к стене и попытался раскурить сигарету. Черт знает что за день. Он обернулся. Сквозь оконное

стекло он видел руку Хассе, испытующе ползущую вниз по заднице Хильды из-под Тронйма. Пора уже двигать домой. Хотя они все давно спят. Грета, Шарлотта Исабель и Даниэль. Черт! Ведь могут же они просто лежать в постели и спать, а? Что это за глупость, что раз другие лежат в постели и спят, то и он сам тоже должен лежать в постели и спать?

А Хердис тоже лежит себе и спит? Черт! Он же ее любит. Ярле попытался поднести сигарету к пламени зажигалки. Он, черт возьми, жить без нее не может.

А она возьми да брось его? Если бы ему только удалось объяснить ей, как глубоко это засело в нем, то, что по замыслу должно было засесть глубоко только в одном месте — между ее ног; если бы он сумел объяснить ей, что все, что росло в нем, выросло в большую и всеохватную любовь; если бы он только мог объяснить ей это, — она бы, наверное, иначе на все это посмотрела. Он снова повернулся к окну и увидел, что рот Хассе приблизился к уху Хильды из-под Тронхейма, которая отодвинулась. Повсюду любовь и желание: неужели никогда ему больше не лежать и не кувыркаться между ляжек Хердис Снартему? Черт! Он окинул улицу взглядом, как если бы он мог разглядеть отсюда ее квартиру на Нёсте. Проклятая деваха — неужели она ничего не понимает?

Ярле двинулся вперед по улице Нюгорсгатен, ноги зашевелились быстрее. Неужели она не понимает, что они созданы друг для друга? Неужели она, эта феминистка, не понимает, что она обманывается, что это унижительно и просто жалко, более того, недостойно — втюриться в шведского кобеля-полустарка, который ее обдерет как луковицу, и выжмет из себя несколько слезинок, и отшвырнет ее прочь от себя, как незрелое яблоко, и всё? Он решительно прошагал мимо кинотеатра и двинулся дальше в сторону Нёсте. Она что, не понимает, что он ее любит? Неужели до нее не дошло то, что дошло до него, что они оба созданы, чтобы сплетаться друг с другом в единое целое?! Все в нем билось и стучало — кровь, алкоголь и воля. «Она должна быть моей, — подумал Ярле, — она должна быть моей, а нет, так я хоть раздену ее сейчас, в последний раз».

— Ярле! — к нему подбежал Хассе.

— Какого черта тебе надо? — Ярле, не останавливаясь, шел дальше.

— Ярле! Ну подожди, чего ты?

Хассе едва поспевал за Ярле, который ввалился на ее улицу, остановился перед незаметным деревянным домиком, покрашенным белой краской, и прошептал про себя: «Я тебя раздену, Хердис Снартему!»

Хассе, запыхавшись, остановился рядом с ним:

— Эй, Ярле! Послушай. Ты чего делаешь? Чертова курица тронхеймская! Стояла прижималась ко мне весь вечер, и вот, когда я предложил ей слегка прогуляться или там еще чего, тут она... черт! — Хассе огляделся. — А кто это здесь живет?

«Если бы она только еще раз ощутила мою мощную радость, — подумал Ярле, — она поняла бы, что, уйдя от меня, она совершит грубую ошибку, о которой будет жалеть, пока не состарится. Спит ли она?»

— Ярле!

Хассе схватил приятеля за плечи и тряхнул, но Ярле отпихнул его и привстал на цыпочки, пытаясь заглянуть в окно гостиной. Он прищурился, он напрягал глаза, но ничего не было видно. Он неверными шагами поплелся дальше вокруг дома, за ним семенил ничего не понимающий Хассе. Так они добрались до окна спальни, и там тоже было темно. Он снова вытянул шею, приподнялся на цыпочки, и, прищурившись, всматривался внутрь комнаты.

— Ярле. — Хассе прислонился к стене дома и закурил сигарету. — Скажешь, наконец? Папаша! Эй! Скажешь ты мне, наконец, что ты здесь делаешь? Может, прекратишь, наконец, вести себя так невероятно по-детски?

Вот проклятие!

Ярле тяжело вздохнул, он сглотнул, он широко раскрыл глаза.

Хассе рядом с ним вытянул шею и заглянул в это самое окно.

Маленькая настольная лампа освещала ад. Это была лампа, которую Ярле часто включал по ночам, но с учетом того, что она была все же ярковата, у него вошло в привычку сразу же отворачивать ее наискосок к стенке, так что в комнате создавалось ненавязчивое верхнее освещение. Он это делал потому, что ему доставляло неизъяснимое удовольствие не только ощущать тело Хердис, когда он, к примеру, переворачивал ее так, что она оказывалась лежащей на животе со слегка разведенными ногами, как забытые не на месте ножницы, и когда она потом чуточку выгибала спину, но и разглядывать ее; несколько раз ему выпадало наслаждение воспроизводить в уме ракурсы, благодаря которым создавались линии, в которые он за эти несколько недолгих месяцев успел влюбиться, как, например, когда он стоял перед ней на коленях, держа ее руками под колени и подтягивая ляжки назад, в то время как она закрывала глаза и поворачивала лицо направо или налево или зарывала его в подушку, тяжело дыша; в других случаях она неожиданно раскрывала перед ним перспективы, которых, думалось ему, он

раньше никогда не видел, как тем вечером на прошлой неделе, когда он, с разинутым от изумления ртом, увидел, как она утыкает свои колени в подмышки, и смог наблюдать, что такая акробатика делает с прочими частями женского тела. А теперь? В свете лампы Ярле увидел, как губы Хердис обрабатывают рот Роберта Гётеборга. Лампа была повернута к потолку. Распиздяйка южнонорвежская, шлюха наследная! Так она, значит, позволяет себя освещать таким же образом, как и он ее обычно освещал, она позволяет этому типу упражняться в том, что было маленькими хитростями Ярле, их интимным миром. Он видел, как она гладит Гётеборга по спине, как ее пальцы временами сжимаются, как когти, соприкасаясь со шведской кожей. Ах ты старый содомит! Он видел, как ее ноги с сильными сухожилиями, но все равно мягкие, которые он так хорошо изучил, прижимаются к бедрам соседней страны, и время от времени ему доводилось мельком увидеть поблескивающим язык, втискивающийся в бычью пасть Роберта Гётеборга и вываливающийся обратно.

Плечи у Ярле поникли, он схватился руками за голову.

Хассе стоял, разинув рот:

— Что... это... ты видел, а?

Ярле отпихнул его от окна, обогнув дом, ринулся к двери и, сжав руку в кулак, заколотил по ней. Дьявол, да как это возможно! Нет у нее ни стыда ни совести, что ли? Из чего она только сделана? Он грохотал кулаком по двери:

— Эй! А ну, выходи, черт бы тебя побрал, и открывай!

— Ярле! — подбежал к нему Хассе и похлопал приятеля по спине. — Ярле! Ну успокойся, это же... чер... — И он сам себя оборвал. Изучающе посмотрел на Ярле, и по мере того, как до него стало доходить, что же случилось, речь его все замедлялась. — Так ты... так ты... ты и... *ты тоже? Госсподи!*

Внутри Ярле вздымались волны. Он колотил в дверь, не слушая Хассе. Да как они смеют! Раньше ему не случалось переживать ничего подобного, ничего столь же inferнального, ничего столь предательского — и как долго это продолжалось? Вот то, что он увидел там, в свете *своей лампы*, давно ли это у них началось? Он снова загрохотал в дверь, вопя:

— Хердис!

Хассе тяжело вздохнул.

— Заткни пасть, Хассе! — заорал Ярле.

— Я же, к черту, вообще ничего не сказал! — огрызнулся Хассе.

— Ну и что! — Ярле снова заколотил в дверь. — Хердис! Выходи и открывай, к чертовой матери! Что ты там, к дьяволу, прячешься?

Неужели помпезный старикашка постоянно таскался к ней среди ночи все то время, пока они с Хердис развивали свои изысканно тонкие и настоящие отношения? И она теперь, как выяснилось, столь слепа, что отказалась от них ради какого-то старикашки? Может, она там, внутри, шепчет сейчас ему на ухо: «Теперь я свободна, Роберт, теперь я свободна, я твоя теперь, Роберт, я теперь только твоя, делай со мной что хочешь, и я буду делать, что захочу, с тобой, властелин моей радости»? И этот литературный шарлатан, он там рядом с ней, дышит ей в затылок и говорит: «Ах-ах, милая, э-э-э, милая моя норвежская пиздушка, ах ты, моя старая, добрая норвежская пиздушечка»? «Он что, совсем, к черту, рехнулся? — подумал Ярле и снова принялся колотить кулаком в дверь. — Он совсем, что ли, к черту, рехнулся? Разве он не профессор, не литературовед? Разве он не заявлял о своей приверженности историческому авангарду, постструктурализму, Деррида и деконструкции? И вот он там расселся и шепчет: «Ах ты, моя старая, добрая норвежская пиздушечка» на ухо бабенке, которая, несчастная и слепая, не понимает, что это меня она любит на самом деле?»

Дверь распахнулась, и перед Ярле и Хассе предстала Хердис. Верхние пуговицы на ее темно-лиловой кофточке были расстегнуты, зрачки в глубине глаз расширились, губы слегка припухли. Она покачала головой, и Хассе в замешательстве отвернулся.

— Ярле! Что ты, черт возьми, вытворяешь!

— Я? — От возмущения он затоптал ногами по земле. — Я?! Как это — я?!

«Это кто должен быть, кто имеет право говорить о том, кто что вытворяет!»

— Да ты же в зюю пьяный, Ярле! А какого черта этот здесь делает?! — Она показала на Хассе.

— Да я-то откуда знаю что, к дьяволу! — закричал Ярле.

За спиной Хердис показался Роберт Гётеборг — босые ноги, обтягивающая футболка, — и в глазах у Ярле потемнело.

— Привет, Роберт! — ляпнул Хассе, стоявший позади Ярле, в полуметре от него. — Извините уж, пожалуйста, что мы тут...

— Ах ты, вонючий южношведский кобель! — прервал его Ярле, тыча пальцем. — Ах ты, поганый нейтральный хрен Дерридовый! Что, сам себе не можешь бабу найти, твоего собственного скукоженного возраста?

— Ярле! Постой! О'кей... — Хассе ухватился за рукав куртки Ярле, но тот стряхнул с себя его руку. — Я извиняюсь, профессор Гётеборг...

Роберт Гётеборг, сдерживаясь, закатил глаза:

— Ярле, ну постарайтесь отнестись к этому попроще, я могу понять, что вы...

— Понять?! — перебил его Ярле. — Понять?! Госсподи! Да ни черта ты не способен понять! Тебе что, необходимо тереться своим бьёрнборговским членом о наших женщин, чтобы кончить? В вашей чертовой Швеции дырок не хватает, что ли?

Ну-ка! — (Хассе еще раз попробовал остановить Ярле, но тот оттолкнул его, на этот раз более грубо, все еще не сводя глаз с профессора.) — Валил бы ты во Францию и сосал у своего Дерриды, если ты, мать твою, так с ним по корешам? *Он кактусы разводит?* Госсподи! Да ты вообще соображаешь, как это звучит?

— Ярле, я вас прошу, не будьте же...

— Мужик, тебе сорок пять лет! Со-рок пять! Ты понимаешь?! Сорок пять! Очнись! Пора уже прекратить соваться куда не просят и лизать девок, которые считают тебя Иисусом от академической науки и которым ты в дедушки годишься!

Хассе схватился за голову и закрыл глаза.

— А ты, Хердис Снартему, ты теперь лишилась и состояния, и уважения — ты теперь просто-напросто южнонорвежская гейша, вот ты кто, и Ярле Клепп до смерти рад, слышишь ты, до смерти рад, что ему больше не придется иметь с тобой дела! Клепп в последний раз тебя трахнул сзади!

Вокруг воцарилась тишина. Хердис и Роберт кивнули друг другу. Хассе кивал сам себе, бормоча:

— О-о-о'кей. Вот как. Таким образом. О-о-о'кей.

— Я полагаю, вы закончили свое выступление, Ярле? — спокойно сказал Роберт Гётеборг, доставая связку ключей от автомобиля.

— Закончил? Да я...

— Ярле, — сказала Хердис властно и положила руку ему на плечо. Он сумел разглядеть нечто серьезное в ее глазах и не стал перебивать. — Если ты все сказал, то послушай меня теперь. — Хердис надела туфли и куртку. — Несколько раз звонила Грета, искала тебя. Несколько раз.

— Грета? — Ярле попытался собраться с мыслями. — Грета? Это еще почему?

— Твоя дочка не может заснуть, Ярле. Грета уже весь город обзвонила, пытаясь выяснить, куда ты запропастился.

Ярле опустил голову и закрыл глаза. Позади него тяжело вздохнул Хассе.

— Черт, — прошептал Ярле. — Уж, к черту, и кружки пива не выпить, как народ впадает в панику.

Ярле заснул на заднем сиденье «вольво» Роберта Гётеборга,

положив голову на колени Хассе и пробормотав заплетающимся языком, что пусть они, вот эти двое, поостерегутся, если собираются заводить детей.

Да, они ведь этого хотят, талдычил он, они ведь так договорились? Они ведь вынашивают планы объединения Норвегии и Швеции и собираются завести ребенка? Так вот, пусть лучше хорошенечко подумают, и если кому-нибудь интересно, что Ярле Клепп думает по этому поводу, то добро пожаловать, пусть придут и спросят его совета, со-ве-та, сказал он, делая ударение на каждом слоге. Автомобиль между тем колесил по ночным улицам.

— Совета, да. Давай так скажем, Роберт Гётеборг, что я прошу сменить мне научного руководителя, да-а, и знаешь еще что, между прочим, я твою бабу складывал в шар. А? Швеция? А? А ты знаешь ли, Роберт, что я бывал в ее комнатах для гостей, что я и высоту потолков измерил и что мне довелось отведать от всех изюмин и виноградин, которые были расставлены на сервировочных столиках? А? И вот я как раз и просек, — бормотал он, — что то, что я считал искренним любовным чувством, которое все росло во мне, так вот это вовсе отстой, это гниль и грязь.

Излив в таком зудении свой пьяный гнев, под регулярные возгласы Хассе: «Не подумайте, Ярле не такой на самом деле», «Ни в коем случае не принимайте этого всерьез», «Забудьте эту чепуху, не слушайте этого», он захрапел на заднем сиденье, пока Роберт и Хердис ехали к Мёленприс, почти не разговаривая друг с другом и не сказав ни слова Хассе. Они припарковались перед домом, и Роберт с Хассе вынесли Ярле из машины, подвесив его, как покойника, между собой, и он слегка пришел в себя, когда они втаскивали его вверх по лестнице к квартире Греты Странебарм. Пока они — остороженько — стучались в дверь, Хердис попробовала поправить на нем одежду.

— Ярле, — прошептала она.

Он отхаркнул и открыл глаза:

— Мм? Я дома?

— Ярле, — прошептала она снова, — постарайся-ка хоть немного взять себя в руки.

Дверь открылась.

— Папа?

В глазах у Ярле больше не двоилось. Он видел Лотту. Она была одета в белую пижамку с красной каемочкой вокруг шеи, а по самой пижамке скакали желтые и красные кролики с морковками во рту. Глаза у нее были красные, взгляд испуганный, и она плакала, держась за руку Греты Странебарм.

— Папа! Мы так долго тебя искали! — прорыдала Шарлотта Исабель и отпустила руку Греты. Девочка сделала несколько шажков к отцу, обхватила Ярле ручонками за талию и приникла головой к его телу — Ты не хотел к нам возвращаться? Твое собрание теперь закончилось, папа? А ты теперь останешься с нами? Я так боюсь, папа, я боюсь.

Французское совещание

Утром в понедельник Ярле очнулся у Греты Станнебарм в каком-то не то чулане, не то гостевой комнате. В помещении, оклеенном небесно-голубыми обоями, не было занавесок, оно было узеньким и тесным, но маленькое окошко там все же было. Уже в течение нескольких часов оно впускало сюда настойчивую полоску света, угрожавшую разбудить погруженное в пьяную дремоту тело, но это ей никак не удавалось. Наконец часов в одиннадцать мозг начал потрескивать.

В нем стали возникать отдельные картины и воспоминания, и это было настолько неприятно, то, что вдруг всплывало из глубин и посещало его, что он проснулся. Загорочавшись на матрасе, он покрепче сжал веки и попробовал снова заснуть. Но ничего не вышло. Картины разрастались. Лавиной накатили мысли. И все это было уж слишком постыдным.

Неужели он действительно схватил Шарлотту Исабель за руки на лестничной площадке и споткнулся о порог, входя в квартиру Греты, так что они вместе повалились на пол и опрокинули вешалку?

Он загорочался под одеялом.

Неужели правда, что его рвало в туалете, а Шарлотта Исабель стояла позади и приговаривала: «Надо, чтобы все вышло, папа, чтобы все вышло, и тебе станет легче, мама так всегда говорит»?

Он зажмурил глаза и ужаснулся.

И неужели и то правда, что Шарлотта Исабель там же, на площадке, с плачем причитала: «Тетя Хердис, тетя Хердис, а папа говорил, что я тебя больше никогда не увижу»?

Ярле вытянулся на матрасе в тесной камерке и в отчаянии потряс головой: «Господи, что же я наделал?» Действительно ли Роберт Гётеборг посмотрел ему прямо в лицо, когда они с Хердис собрались уходить, и сказал: «Сегодня на вас стыдно смотреть, Ярле»?

В комнате было мутно и душно, как в парилке. Ярле встал в одних трусах и потянулся к защелкам, но окно не желало открываться. Он повалился обратно на матрас.

Действительно ли Шарлотта Исабель спросила, не заболел ли он, раз он так шатается? Неужели правда Даниэль проснулся среди ночи, перепуганный насмерть, потому что Ярле ввалился в гостиную и упал?

Да, Ярле. Да. Да. Да.

И Грета Станнебарм отказывалась сказать ему хоть слово всю ночь напролет?

Да. Отказывалась.

Он вспомнил, как он стоял на коленях, прижав к себе Лотту, в гостиной Греты, как он среди ночи прижимал к себе ее крохотное тельце и просил прощения: «Папа никогда больше не будет так поступать с тобой, девочка моя!» Он вспомнил, как она погладила его по голове и сказала, что, конечно, прощает и что она тоже больше никогда не будет так делать.

Как делать?!

Что же такого она наделала, кроме того, что ее угораздило родиться от такого папаши!

Господи!

Единственное, чего Ярле был не в состоянии вспомнить из событий прошлой ночи, так это как он оказался раздетым в этой не то кладовке, не то гостевой комнате. А пожалуй, если уж быть до конца честным, это было и к лучшему.

Он надеялся, что не приставал накануне к Грете. «Господи, спаси и помилуй! — сказал он себе. — Сделай так, чтобы я, по крайней мере, не растрезвонил перед ней все те глупости, что я о ней думал!» Он надеялся, что просто вырубился.

Пристыженный, он поднялся с матраса и потянулся за своими джинсами, неопрятной кучкой валявшимися в какой-то коробке вместе со старым пластмассовым кассовым аппаратом «Фишер Прайс». Что же ему теперь делать? Казалось очевидным, что невозможно сочинить никакой достоверной истории, при помощи которой удалось бы приукрасить то, что он натворил. Он натянул джинсы. От попыток придумать оправдания толку не будет, это ясно. У него был только один выход. Полное признание вины по всем пунктам. Полное отступление. Максимум раскаяния.

Ярле затянул ремень и провел руками по макушке. Он никогда больше не будет пить, уж это во всяком случае точно. На этот раз он завязывает окончательно. И что это была за идиотская идея? Отправиться пьянствовать в состоянии такого сильного стресса. Мало ему было собственного отца, который выпил за свою жизнь столько, что с лихвой хватило бы на всех них, и более того? Вот-вот. И не кончилось ли это очень плохо? Именно. Неужели это не смогло его ничему научить? Ярле глянул на дверь. Вот теперь они небось сидят молча в гостиной и ждут, когда же встанет этот монстр-папаша. Вот сидят они теперь аккуратненько рядочком, распаленные и заплаканные, готовые предать его суду. И вообще, почему же это он, собственно говоря, спал здесь, а не у себя дома?

Он закрыл лицо руками.

Шарлотта Исабель: «Бедный папа! Ему так больно! Его нужно уложить спать с нами!»

Грета Страннебарм: «Пожалуй, сегодня ночью твоему отцу лучше побыть одному, Лотта».

Шарлотта Исабель: «Но бедный папа! Он же не может спать в этой кладовке совсем-совсем один!»

Ярле встал.

— Ну что я за такой чертов придурок?! — прошептал он и нащупал в кармане брюк часы. Уже двенадцатый час. Черт.

Он нашел возле двери свою грязную футболку и огляделся. Старые игрушки. Ведро для мытья пола. Неработающая плита. Коробка с обувью. От его одежды воняло. Черт. Пропади все пропадом! Ну ладно. Нечего делать, нужно выйти к ним.

Он осторожно открыл дверь в гостиную. В большие окна бил яркий свет, мелкие пылинки танцевали в воздухе. В комнате никого не было.

Ярле не нашел никаких записок, адресованных ему, никаких номеров телефонов, по которым его просили бы позвонить, и вообще квартира была пуста. Одежды Шарлотты Исабель тоже не было. Да что же это такое? Выглянув в окно, выходящее на улицу, он и там их тоже не увидел. Как же так? Он рванулся к двери, захлопнул ее за собой и ворвался в свою квартиру. Там тоже никого не было. Он позвонил в справочную службу и узнал номер телефона Греты, но телефон был отключен. Что происходит? Ярле попытался собраться со своими озабоченными мыслями, пришедшими на смену стыду. Он выглянул в окно и попытался рассуждать трезво. Он зашел в гостиную. На полке стояли еще не открытые деньрожденные подарки Шарлотты Исабель.

Где его дочь?

Он переступил с ноги на ногу. Он моргнул.

Где его дочь?

Ярле пошел в ванную и принял душ. Как же ему теперь поступить? Позвонить Хердис? Роберту Гётеборгу? Ужасно не хотелось этого делать. Он закрыл глаза, ему на голову лилась вода. «Спокойно, — подумал он. — Ну-ка, спокойно. С кем я тут имею дело? С Гретой Страннебарм. Вот именно. Само собой разумеется, мой ребенок в безопасности. Я совершил промашку. Но я испытывал сильное давление обстоятельств. Вот в чем дело. Все могут совершить промашку. Так что спокойствие, только спокойствие. Грета Страннебарм — порядочный человек. Они поздно проснулись, Грета, и Лотта, и Даниэль, они увидели, что папа забылся тяжелым сном, они оценили ситуацию и решили, что нет никакого смысла будить папу сейчас, они позавтракали и попробовали придумать себе какое-нибудь интересное занятие, — может быть, они с утра поиграли в какие-то спокойные игры, а потом Грета вывела детишек погулять. Именно это было нужно

сделать. Вот она это и сделала. Ну конечно. Она что-то придумала. Она отпросилась с работы. Безвыходная ситуация. Потому что ведь не могла же она отправить девчущку назад в Шеен? Или обратиться в инспекцию по делам несовершеннолетних? Нет. Только спокойствие. Она порядочный человек, Грета. Справедливый. Она умеет обращаться с детьми. Она знает, что нечего поднимать шум из-за всякой ерунды. Кроме того, она ко мне равнодушна. За ее яростью и справедливым негодованием, за ее черепашьими глазами она скрывает свое совсем иное представление обо мне — и иные чувства, нежели у кое-каких других бабенок, которым только и нужен бесшабашный секс».

Ярле ступил из душевой кабины на пол и вытерся.

Ничего, все будет хорошо.

Кивнул своему отражению. Смотрел себе в глаза до тех пор, пока пьяный страх совсем не исчез из них.

«Все будет хорошо. Я должен приготовить ей подарок. На день рождения. Что им такое нравится, семилеткам? Смурфики? Но может быть, они уже не столь популярны. Да и не очень-то это девчоночий подарок. Но я же должен ей что-нибудь купить!»

Он двинулся в сторону комнаты Шарлотты Исабель. Он ощутил укол страха, поднеся руку к дверной ручке. Не могла же Грета настолько свихнуться, чтобы отправиться на работу и оставить девчущку одну у него в квартире? Сказать только: «Ну ладно, твой отец безответственный забулдыга, меня это не колышет, придется тебе подождать в его квартире?»

И вот все завершилось тем, что Шарлотта Исабель, измученная и напуганная, плача, свернулась в позе эмбриона в своей комнате?

Ярле открыл дверь. Постель так и стояла заправленной с прошлого утра. В нем все опустилось. Как-то все это неправильно — такое у него было чувство.

«Я ее отец, — прошептал он про себя. — Я, конечно, плохой отец, и я, конечно, не хочу, чтобы у меня была дочь, но раз уж она сейчас живет у меня, то она все же и спать должна у меня, все остальное было бы просто-напросто неправильным. Что же мне делать?»

Он взглянул на портрет Пруста. Великого Марселя Пруста. Великого французского писателя. Человека, которому Ярле посвятил так безгранично много часов своей жизни. Ярле взял фотографию в руки. Он, собственно, раньше ничего такого в этом фото не видел. Аккуратно подкрученные усы. Грязные волосы. Плохая кожа, замазанная помадой. Отстраненный взгляд.

И чтобы такой великий человек мог быть таким... размазней.

Вообще что-то такое болезненное ощущалось во всем его облике. Болезненное и напряженное.

Может быть, в этом-то и кроется истина?

Да-а. Может быть, и так. Может быть, необходима какая-то доля слабости и болезненности, чтобы творить великое, как если бы имелась внутренняя связь между жалким и суверенным?

Что бы Пруст сказал сейчас? Что бы Пруст сейчас сделал?

Мог бы великий мыслитель что-нибудь дельное посоветовать?

Ярле представил себе, как он присаживается на край кровати к Марселю Прусту. Излагает свою проблему — основательно, в подробностях. Он объясняет великому писателю, который в действительности был тщедушным и бледным человеком, прикованным к постели, и с писклявым голосом, что случилось. Он рассказал о дочери, он рассказал о своей собственной ситуации, о жизни на службе мысли, он указал на то, что Пруст, лежащий здесь, в этой изолированной пробковыми панелями комнате, в постели, спрятанный от суеты и гомона мира, наверняка мог понять, о чем он говорит, *n'est-ce pas?* [12]

— Ah, mais oui, mais oui [13].

— Вижу-вижу, — сказал Ярле, — вы понимаете. Если человек настроен совершить нечто великое в мире мысли, то не может же он всюду таскать за собой маленьких дочерей, месть Пруст?

— Ah. Non, non [14].

И Ярле рассказал о Хердис, о своем чистом и мощном желании, после чего Пруст вроде очнулся и приподнялся, наполовину выйдя из своего погруженного в одеяла и подушки положения; и он рассказал о том, как это искрящееся желание незаметно прекратило быть только самим собой и переросло в чувство любви. И он рассказал, как эта женщина, о которой он думал так хорошо, проявила себя предательницей-шлюхой, и никем более.

Пруст сухо покашливал и глубоко вздыхал, пока Ярле рассказывал это, и взгляд великого писателя, затуманившись, обратился внутрь, в то время как он легонечко водил указательным пальцем по своим приоткрытым губам.

И потом Ярле рассказал об удивительно красивой женщине, с которой у него не было вообще ничего общего, но у которой были сказочно широко расставленные глаза, и которая как раз сейчас нянчилась с его ребенком, и у которой было... да, как бы ему это назвать... большое сердце?

— И что, — спросил Ярле, — что же мне со всем этим делать?

— А! — сказал Пруст. — Я писатель! Je ne sais pas! [15]

— Oui, oui, — покивал Ярле. — Je ne sais pas, я тоже.

— Du the, mon ami? [16] — спросил Пруст.

— Merci^[17],— ответил Ярле. — Un the^[18], месье Пруст. Merci.

Вошла служанка с двумя чашками чаю и печеньем на подносе.

Ярле попробовал проникнуть в пористые глаза Пруста, который после нескольких минут погружения в мирское вернулся назад, к собственным лужайкам и взгоркам. Глубоко посаженные глаза удерживали взгляд Ярле на расстоянии, казалось ему, и его осенило, что если бы Пруст мог выбирать, то он, скорее всего, предпочел бы вообще не иметь никаких дел с нашим миром. «Это я могу понять», — подумал Ярле, но все же сделал еще попытку, сказав:

— У меня есть дочь, месье Пруст. У меня есть дочь, а я вовсе не хочу, чтобы у меня была дочь. Что же мне с этим делать?

Великий писатель приподнял тщедушную верхнюю часть тела, и видно было, что это стоило ему значительных усилий. Служанка сделала книксен и вышла. Он провел увядшей рукой по усам и убрал со лба прядь волос.

— Ты должен ее любить, — сказал Марсель Пруст. — Все остальное — комедия. Все остальное — печаль. Все остальное — несчастье.

Недалеко от того места, где Ярле жил в эти свои студенческие годы, была детская площадка. Такая вполне обычная для западных стран детская площадка, каких много можно найти в нашей части мира, — аккуратненькая, но простенькая и без особой фантазии: с горкой, съехав с которой окажешься в песочнице, с голубой лошадкой-качалкой на спиральной металлической пружине, с разноцветной пирамидкой для лазания. Ярле никогда не размышлял на тему детских площадок, зачем ему это было надо? Он проходил мимо нее практически каждый день весь последний год, он, по-видимому, проходил мимо одних и тех же детей, одних и тех же мамаш, одних и тех же нянек каждый день, не глядя на них и не думая о них. А вот теперь? Теперь он стоял перед своим домом и все это видел перед собой. Красную горку. Сияющий и отражающий солнце металл, отполированный шустрыми ребятишками. Лошадку-качалку с грустными желтыми глазами. Разноцветную пирамидку для лазания, по которой карабкалась и с которой кубарем валилась малышня. Женщину лет пятидесяти с волосами, собранными в хвостик, всегда сидевшую с вязаньем на покрашенной в зеленый цвет скамейке, пока двое детишек, которых она приводила гулять, возились в песочнице. Он даже знал имя одного из них, осенило его, когда у себя в голове он услышал голос этой женщины: «Андреас! Шапке следует быть на голове, милый мой!»

Несколько озадаченный тем, что можно каждый день проходить мимо какого-нибудь места и не замечать его, но все-таки настолько точно его себе представлять, Ярле завернул в двери лавочки Эрнана, чтобы купить курева, жвачку, лимонад и газету. Это было единственное, что пришло ему в голову. Посмотреть, нет ли их на детской площадке.

— Моргенбладет! — Эрнан появился за прилавком с охапкой сигарет в блоках.

— Привет, Эрнан, вижу, дела идут хорошо?

Эрнан засмеялся своим заразительным смехом и начал расставлять блоки сигарет на полках.

— Ах вы, Моргенбладет, Моргенбладет. Как идут дела у Эрнана? Да хорошо идут. Каждый день, я вам скажу, каждый день этот человек в шесть утра уже на ногах. Ровно, понимаете. Ровно в шесть. Как его отец вставал. И отец его отца. И отец отца его отца. Встаю в шесть! В постель в десять!

Ярле напряженно улыбнулся и сообщил, что торопится.

— Ну что же... Двадцать «Мальборо». Кола. Жвачка И «Дагбладет».

Он положил выбранные товары на прилавок, а Эрнан поставил на полку последний из сигаретных блоков.

— Ладно, а где ваша дочка?

— Ну, она... она у подруги. — Глаза у Ярле так и забегали. — Вы их не видели, то есть я хотел сказать — они тут, случайно, мимо не проходили, по пути на детскую площадку?

Эрнан посмотрел на Ярле и кивнул:

— А-а. Гм. Проблемы? О'кей. Гм. Нет. Вот у вас жены нет, знаете ли. Вот от этого и проблемы. Нет, я их не видел.

Ярле пожал плечами. Эрнан кивнул еще раз, потом обошел прилавок сбоку и, схватив ящик с бананами, понес его к полке с фруктами. Ярле схватил коробочку с тамагочи, лежавшую на прилавке:

— Послушайте, Эрнан, а что вот эти здесь делают, собственно говоря?

Эрнан доставал бананы из коробки и раскладывал их на полке.

— Бананы, бананы, бананы. — Эрнан, кажется, не услышал его вопроса.

— Послушайте, — сказал Ярле погромче и поднял коробочку повыше, — что они здесь делают, собственно говоря?

— А? — Эрнан обернулся, в обеих руках он держал бананы. — Вот они? Тамагочи?

— Угу.

— А-а. — Он шваркнул бананы на полку. — Это вроде такие маленькие зверьки, я думаю. С ними детишки любят играть. Они прямо нарасхват.

— Зверьки? — Он прочитал надпись на коробочке: — *«The original virtual reality pet»*^[20].

— Да-а. — Эрнан снова склонился к ящику. — Бананы, бананы, бананы.

— Знаете, я, пожалуй, возьму один банан, — сказал Ярле и отложил коробочку с тамагочи в сторону.

Эрнан подошел к кассе. Он наклонился вперед и начал ритмично покачивать указательным пальцем перед Ярле:

— Когда приходит покупатель, я думаю: что же этот покупатель может захотеть купить у меня? И вот я вычисляю, что, как я думаю, этот покупатель может хотеть у меня купить, и я начинаю с этим товаром возиться. Я говорю, например, «варенье, варенье, варенье» и переставляю банки с вареньем. Или я говорю «бананы, бананы, бананы» и укладываю бананы. И глядь — верно. Йес, сэр. Покупатель покупает. Йес, сэр. Вот вы сейчас купили

банан? Сразу же после того, как я начал раскладывать бананы? Йес, сэр. А я рассказывал вам, Моргенбладет, что мой отец торговал? И отец моего отца? И отец отца моего отца? Как думаете, пользовались они этой техникой? Как думаете, повторяли они «оливки, оливки, оливки» или «сандалии, сандалии, сандалии»? — Эрнан подмигнул и взял у Ярле деньги. — И как вы думаете, — спросил он, — был ли хоть у одного из них когда-нибудь ребенок, притом чтобы у него не было жены? Нет. Никогда. Никогда.

— Семь лет, — сказал Ярле и стал очищать банан. — Семь лет, Эрнан. В четверг.

На детской площадке никакой Шарлотты Исабель не было. Никакой Греты, никакого Даниэля и никакой дочери. Солнце отсвечивало от царапин на горке, и женщина лет пятидесяти, с хвостиком, вязала что-то, сидя на зеленой скамейке, как обычно. На вид вроде бы джемпер. Она окинула Ярле, стоявшего у заборчика с бутылкой кока-колы в руке и с таким видом, будто он не решается спросить о том, что его интересует, подозрительным взглядом.

Он заторопился к Нюгорсхёйдену. Ему удалось было убедить себя в том, что они на детской площадке, но теперь-то он понял, что дело пахнет керосином. Могло ведь случиться что-нибудь. Студенты сновали вокруг, кто заходя в студенческий центр, кто выходя из него, они толпой разбрелись по всему холму со своими как бы взрослыми папками, со своими сумками через плечо, и он заторопился поскорее пройти мимо в надежде не наткнуться на Роберта Гётеборга или еще кого-нибудь с кафедры. С этим ему придется разобраться потом. А могут ли человека прогнать с университетской кафедры? За то, что он оскорбил профессора? Он должен найти свою дочь. Ярле боялся даже подумать о том, что сказала бы об этом мама. Если бы она только знала, что случилось. Если бы она только знала, что — она бабушка. Он подумывал о том, чтобы позвонить ей. «Привет, мама. Вот послушай, что я тебе скажу. Слушай. Ты — да, пожалуйста, приготовься и держи себя в руках, — ты бабушка. Бабушка семилетней девочки. Вот так». Совершенно невозможно позвонить и сказать такое. И уж в любом случае не тогда, когда тебя приставили последить за девочкой всего-то неделю, а ты уже умудрился ее потерять. А уж что сказала бы Анетта, знай она, что тут у них происходит?

Он ускорил шаги, на зная, куда податься. Куда ходят в Бергене люди с маленькими детьми в обычный понедельник? Времени было половина первого, и Ярле стал покрываться потом.

Нужно, чтобы кто-нибудь ему помог в этом деле. Он бросился бежать. Через площадь Торг-алменнинген, через набережную Брюгген, в сторону фуникулера на Флэйен, по маленьким улочкам возле вокзала. Он остановился перед белым деревянным домиком, где жил Хассе. Он позвонил. Никого. Он постучал. Сильно. Через некоторое время он услышал, что внутри кто-то возится, потом дверь открылась, и пред его очами предстал взъерошенный Хассе, щуривший глаза от света.

— Черт подери, Ярле. Рано. Входи.

Зевая во весь рот, одетый в просторную футболку с портретом Ника Кейва, Хассе прошаркал вглубь квартиры.

— А где девчонка?

Ярле вздохнул:

— Ну вот, а я надеялся, что ты это знаешь.

— Кофе? — Хассе налил себе полный стакан воды и выпил ее одним глотком. — Кофе?

— Нет. Так ты не знаешь?

Хассе плюхнулся на серый диван:

— Нет, откуда мне это знать? Вот черт. Сволочь, как спина болит. А времени сколько?

Ярле нервно ходил по комнате:

— Половина первого. Просто не знаю. Хассе, у меня такой стресс. Представь себе, потерять ребенка!

Ты же был с нами... ну, когда мы домой пришли, вчера, разве нет?

Хассе потерся спиной об обивку дивана и зажмурился:

— Можно подумать, мне лет сорок, так эта проклятая спина болит.

— Хассе, ну пожалуйста. Ты же видишь, как все плохо обернулось, — сказал Ярле нервно.

— Ну сядь, что ли. У меня тоже стресс, из-за того что ты маячишь перед глазами.

— У меня времени нет. Я должен их найти. Я не могу... а... а там все совсем ужасно было?

Хассе поднялся, проковылял к кухонному столу и достал кофе и фильтр для кофеварки.

— Да уж, — сказал он. — Совсем.

Он отмерил воды и, схватившись за бок, вылил ее в кофеварку.

— А это еще что? Радикулит какой-нибудь? — Хассе обернулся к Ярле: — Я не знал, что у вас с Хердис так далеко зашло. И Гётеборг еще? Что, он тоже в этом замешан? Если уж быть честным, я всегда думал, что он такой маленький шведский гномик. Какой-то — он весь корявый. И этот его нос крючком, и

ручонки рептильные — а у тебя не возникает какого-то такого ощущения от нашего шведского братишки, что есть в нем что-то от Голлума? Или... — Хассе осторожно приподнял плечи и так и стоял, пока думал. — Или что-то... от грифа? Он тебе грифа не напоминает, этот мужичонка? Кто знает, Ярле, кто знает, чем он, собственно, раньше-то занимался и откуда он взялся? Мы вот все думаем, что он такой умный и интеллигентный, только потому, что он встречался с Деррида, и потому, что он из Швеции, но что, если все как раз наоборот? Что, если он не смог заполучить никакой завалящей работенки хоть в каком университете в своей распрекрасной Швеции, ни в Лунде, ни в Уппсале, ни в Стокгольме; что, если шведы его считают баяном для козы, умственно отсталым, и что, если великий Жак Деррида сидит в своем Париже со своими «Галуаз» и со своим коньячком и потешается вовсю над нашим Робертом Гётеборгом, травит издевательские истории о нем всем своим французским коллегам? А? Тебе такое в голову не приходило? Нет? Что-то такое неприятное в этом типе всегда чувствовалось. А Хердис-то? Задница у нее — это да. Она феминистка, да. Богатая до ужаса, да. Но есть ли там что внутри? За этой задницей? За феминизмом? За деньгами? Я не уверен, Хассе не уверен. А ты-то сам что за кашу заварил, собственно говоря? Ах ты черт, ну до чего же больно, разве бывает радикулит в двадцать пять лет? Ишиас? Это все бергенское пиво, похмелье в спину отдает. И еще твоя дочь. Это уж слишком, Ярле. Кофе?

— Нет, Хассе. Я должен их найти. Ты ничего не знаешь?

Хассе пожал плечами:

— Мы тебя несли по лестнице, и это для моей спины совсем, к чертовой матери, не полезно. Ты так и рухнул на пороге. Прилип к этой, как ее, Грете, и все талдычил, какая она сексуальная.

Ярле опустил глаза.

— Да. — Хассе пожал плечами. — Каким ты любвеобильным становишься в подпитии, Ярле. Но господи! Кто не таков? Кого же не тянет трахаться, когда наклюкаешься? Хотя у этой самой Греты есть что-то такое загадочное во внешности. Нда. Та еще ночка была. А еще все эти братья Арилля! Со всеми их отпрысками! Слепая семи лет от роду! Просто песня.

Но я вот что тебе скажу, Ярле. Мужество. Этого у тебя не отнимешь. Припереться прямо к Хердис. Потребовать своего, законного. Вот как раз там и как раз в эти секунды ты себя показал мужчиной. Жалким мужчиной? Может быть, и так. Но мужчиной. Что-то такое в тебе было, да, эдакое итальянское. Серьезно.

И вот что я тебе еще скажу: твоя дочь. Шарлотта Исабель. Потрясающая девочка. Какая преданность. Глазенки красные, все волновалась, чтобы ее папочку не обидели. Вот это-то, Ярле, вот это и есть настоящая заботливость. Мальчишка Греты спал у нее на руках, но твоя дочь, Шарлотта Исабель, как ее, к превеликому сожалению, окрестили, твоя дочь — это совсем другое дело. Она до последнего стояла за своего отца. Мы тебя, спящего, затащили в чуланчик какой-то, что ли. — Ты у меня на руках захрапел, и, когда шведишка со своей феминисткой удалились, Шарлотта Исабель все спрашивала, знаешь ли, не будет ли плохо ее папе.

Такое впечатляет, серьезно. Это была такая ночь, какую не забудешь никогда.

Пока Хассе вещал, Ярле не переставал нервно ходить из угла в угол. Слушал он вполуха. Желудок выворачивало, голову прорезала такая боль, будто кто-то водил мелком по доске, и казалось, что ноги под ним вот-вот подогнутся.

— Вот еще единственное, что ты, может быть, должен знать, — сказал Хассе и снова схватился за бок с трагической гримасой, — вот что: это еще вопрос, на юге ли эта так называемая мать.

Ярле поднял взгляд и нахмурил брови:

— Не понял!

— Ну не знаю. Я такие вещи чую, понимаешь?

Ярле сделал несколько шагов к Хассе:

— Что-что?

Хассе рассказал, что, когда они пришли домой, Грета, смертельно усталая и злая, сразу же ушла со своим сыном прямо в спальню. Сам он кое-как выпроводил Хердис и Роберта Гётеборга и остался в гостиной вместе с Шарлоттой Исабель, несколько ошарашенный, должен был он признать, и не представляющий себе, должен был он признать, что же он теперь должен делать. Грета настолько распалилась всем своим языческим телом, что он подумал: лучше будет оставить ее в покое, вот он и остался в гостиной с дочерью Ярле. Шарлотта Исабель попросила стакан молока, каковой он ей и принес, и потом они перекинулись там парой слов, как он выразился, пока у девчушки росли молочные усы. Ситуация странная, должен был признать Хассе, в том числе и для него, раньше никогда не остававшегося за старшего с детьми, во всяком случае с тех пор, как он сам был ребенком. Странно, сказал Хассе, но все-таки интересно. Она совсем не идиотка, дочь Ярле, временами она прямо-таки трогательна, и как же он мог не растаять, что естественно для любого человека, когда она заглянула ему в глаза и сказала: «Дядя Хассе, а здорово, что ты мой дядя»?

В общем, Шарлотта Исабель рассказала ему о городе, где она живет, какой он маленький, но все-таки большой, это выражение особенно запомнилось Хассе.

И вот пока они так сидели и Шарлотта зевала и говорила, все говорила о маленьких городах и больших городах, и о принцессе Диане, и о маленькой пони, Хассе спросил у нее, где ее мать и отец. «На юге», — ответила Шарлотта. «Понятно. На юге. А где на юге?» — спросил Хассе. И вот тогда Лотта — она сказала, что дядя Хассе может ее так называть, — достала из кармашка брюк бумажку. Бумажку с номером телефона. «Вот, — сказала она. — Вот он. Я могу просто позвонить им. Мама там. И отец».

— Но, — сказал Хассе и опять схватился за бок. — Ах ты черт, да что же это такое? Можно подумать, туда жгучую медузу запустили! О'кей. Но. Но. Но. Какой-то это был совсем не южный номер.

Ярле моргнул несколько раз подряд:

— А ты его помнишь?

— Нет, конечно же я его не помню, — сказал Хассе и уперся кулаками в кухонный стол, пытаюсь выпрямить спину, как если бы он был на тренировке. — Но вот что это был никакой не южный номер, это определено. Вот так. Да. Вот я и думаю. Что мать сказала, что она будет на юге, но, может быть, она вовсе не там. Вот и все. И может быть, тебе бы подразузнать, в чем тут дело-то. Может быть, твоя дочь... Да-а. Ну, я не знаю. Но круто, все равно очень круто, что ты сказал, что я ее дядя. Это мне даже нравится. Мне иногда полезно, наверное, пообщаться с малышкой, потому что моя сестрица в таком количестве поглощает противозачаточные, что я вряд ли скоро стану настоящим дядей.

Хассе добавил, что ему надо бы поскорей обратиться к врачу, потому что такое впечатление, что с его спиной что-то серьезное, но он все-таки готов был, сжав зубы, мужественно вытерпеть эту боль и пойти помочь Ярле в поисках Шарлотты Исабель.

Ярле отклонил это предложение. Он чувствовал себя усталым и опустошенным. Напуганным и нервным. Злым и раздраженным. Он простился с приятелем и поскорее ушел. Разумеется, Анетта Хансен была не на юге. И как он попался на это? Какой там юг? «Алло, тут твой ребенок, я еду на юг, последи за ней недельку!» Какой отец поверит в такую идиотскую выдумку? И какая мать отправит своего ребенка за тридевять земель, чтобы он неделю жил у своего совершенно незнакомого папы, пока она сама будет на юге? Ясно, что это все вранье. Ясно, что она звонила ему утром в воскресенье из совершенно другого места. Ничего себе бабеч! Солидная? Господи!

Но почему же она тогда здесь, Шарлотта Исабель?

Собственно говоря. И где же ее мать? Собственно говоря.

И где же его дочь?

Собственно говоря!

Ярле остановился перед витриной магазина. Что же ему делать? Игрушки. Рыболовный сачок. Ведерко и совок. Пластмассовый трактор. Плеймобиль.

Мячи для купания.

Ну что за люди! И для чего было втягивать его во все это? Разве плохо было девчонке жить до этого?

Разве не существует такой вещи, как счастливое неведение? Юг? «Я еду на юг?» Что за дурной народ!

Или будь добра вступить в контакт с отцом ребенка, когда оказывается, что у тебя детеныш в животе, или уж оставь его в покое. Это несправедливо, и негуманно, и совсем не умно — дожидаться семь лет, прежде чем занести руку и швырнуть человеку в лицо отцовство. Да это просто безответственно, вот и все. Ничего странного, что все катится к чертям собачьим. Она что же, не знала, что ли, что это Ярле отец, тогда, в 1990 году?

Гм?

Не может такого быть.

А?

Не могла же Анетта Хансен еще в средней школе быть полнокровной поблядушкой, вешавшейся на всех попадавшихся ей парней и не имевшей понятия о том, кто же отец ребенка?

А?

У него по шее забегали мурашки. Неужели мать его ребенка была чуть ли не шлюха? Он до сих пор потратил прилично времени на то, чтобы примириться с тем, что мать Шарлотты Исабель не то чтобы была воспитана при французском дворе и не то чтобы вела жизнь завзятой интеллектуалки! Она была кассиршей. Точка. Финале. Но в то же самое время у него как-то незаметно сложилось представление о ней как о чистом человеке. Он приписал ей значительные запасы Дианиных добродетелей, невинности и доброты.

И тут она оказывается вот кем! Вульгарной, блудливой бабенкой, которая, не успев оуклиться из подросткового кокона, покувыркалась уже с несколькими сотнями парней, из которых Ярле был всего лишь свежим ебарем среди безумного множества пускающих слюни кобелей, так основательно ее осеменявших, что она даже и не догадывалась, кто же был отцом ее ребятенка?

Солидная женщина? И как ему могло прийти в голову, что Анетта Хансен представляет собой нечто иное, чем жалкую шлюшку?

«Я еду на юг, вот ребенок, пожалуйста, в четверг у нее

деньрождение». Батон и сырки?

«Придется мне заняться несчастным ребенком, — думал Ярле, удрученный собственными размышлениями. — Совершенно ясно, что те, с кем она имеет дело, не способны на это». Он решительным шагом вошел в игрушечный магазин. Его окружал мир ярких, кричащих красок — красная, желтая, зеленая, синяя. Пластмасса. Ярле, со своей обритой головой и черной одеждой, остановился, оглядываясь по сторонам. Его дочери требуются забота и внимание. С учетом того окружения, в каком она растет там, в своем Шеене.

— Могу я вам помочь? — перед ним стояла сильно накрашенная девушка с хвостиком. Розовая губная помада, ровненькие зубки, все лицо замазано темным тональным кремом.

Накладные ресницы? Накладные ресницы. Зеленые тени с серебристым отливом.

Примерно так он представлял себе Анетту Хансен, разве только та наверняка была жирной как бочка и только и делала, что смотрела телевизионные сериалы, развалившись на диване и запустив руку в пакет с чипсами.

— А постеры у вас есть? — сказал он со всей возможной невозмутимостью.

И что же такое придумать?

Чертовски дурацкая ситуация. Собственно говоря, сегодня он собирался заниматься. Собственно, он собирался глубже погрузиться в Пруста. Собственно, у него была назначена встреча с научным руководителем. Но вот ничего подобного. Вот он болтается здесь. Торопится через Торг-алменнинген. Держа в руках пакет с тамагочи и с постером. Это было просто-напросто унижительно.

Что он оказался втянутым в такую дурацкую ситуацию. Мало того что ему посадили на шею чужого ребенка, но он к тому же еще вынужден ходить искать ее, ходить волноваться из-за того, что с ней могло приключиться что-нибудь и что он понятия не имеет, где эту девчонку носит.

Ярле вдохнул. И выдохнул. Он попробовал размышлять трезво. О'кей. Если посмотреть на это трезво, то такие вещи так не делаются. «Что мне, обойти все до одной детские площадки в Бергене? Бесполезно. Если посмотреть на вещи трезво, то встретить их я хоть с какой-то вероятностью могу только в одном месте. Дома. И не важно, — сказал он себе, — не важно, насколько бы по-дурацки я себя ни вел, все-таки вот это — *отобрать ребенка у его отца* — совершенно неприемлемо. Она должна снова появиться дома».

Он потрусил по направлению к Мёленприс. Лицо Шарлотты

Исабель то и дело вставало у него перед глазами. Он пытался отодвинуть его, но она не желала исчезать. Она улыбалась. Она сияла. Она показывала щелочку между зубами, за спиной у нее болтался рюкзачок в форме яблока, и она говорила: «Папа! Папа!»

Ярле вошел в квартиру со слабой надеждой, что они уже пришли. Но нет. Он позвонил в дверь к Грете, и тут тоже со слабой надеждой, что они дома, но нет.

Он повесил куртку в прихожей, аккуратноенько поставил туфли рядышком на подставку для обуви, как если бы от этого сегодняшний день стал более благопристойным. Он завернул тамагочи как можно старательнее и поставил его на полку среди других подарков. Его подарок выглядел красиво. Вот только, может быть, был маловат по сравнению со многими другими. Он по очереди доставал их с полки и читал, что на них написано. «Для Лотты от тети Элизабет». «Лотте на семь лет от дяди Карла и тети Иды Элисе». «Нашей дорогой Лотте от бабушки и дедушки».

«И это ведь, как ни странно, мои близкие, — подумал Ярле. — Я их не знаю, но они мои родные».

Он схватил телефонную трубку и набрал первый из номеров, записанных в письме от Анетты. Он не ожидал, что она окажется там, но он же должен был попробовать позвонить. Никто не отвечал. Может, ему бы надо позвонить ей на работу, попробовать разыскать ее через головной офис торгового дома «Рема-1000» или, может, лучше позвонить в автосалон в Шеене и узнать, нет ли Трунна на работе?

Или лучше ему этого не делать?

«Может быть, — подумал Ярле вдруг, — они как раз и ждут, что я не буду этого делать? Может быть, дело просто в том, — подумал он, — что Анетта Хансен нуждается в помощи?» Ладно, пусть в ней есть что-то такое блядское. Ладно, пусть она еще с юности привыкла укладываться под парней. Такое случается с некоторыми девушками, и кто он такой, чтобы осуждать ее за это? Разве нельзя предположить, что она не утратила из-за этого человеческого в себе? Может быть, и более того? Может быть, на это можно посмотреть и иным образом, осенило его, как на своего рода гуманизм, своего рода щедрость: пожалуйста, парни, все желающие, вот она я? И вообще, что он, собственно говоря, о ней знает? Почти совсем ничего. Может быть, она заболела, может быть, случилось что-нибудь, о чем она не могла рассказать ни ему, ни Шарлотте Исабель. И вот она тогда не придумала ничего лучшего, чем сочинить эту поездку на юг.

Как там она писала?

Он достал ее письмо.

«PSSS: Нам ведь хорошо было тогда».

Он спрятал письмо.

Конечно, много о чем можно было еще подумать, но в любом случае он не мог допустить, чтобы его квартира выглядела вот так. Грязь везде. Не убрано и неаккуратно. Когда Шарлотта Исабель придет домой, а она наверняка скоро придет, то она увидит, что у нее действительно есть папа. Да, увидит. *Настоящий папа*. Когда она придет домой, и она наверняка скоро придет, ей не придется стыдиться своего папы, ходя по квартире. Ярле достал ведро и половую тряпку и опустился на колени. Он надраил полы хозяйственным мылом с ароматом сосновой хвои, он помыл окна, он проветрил в комнатах, он выстирал одежду, и он подумал: теперь уж она точно скоро придет. Он протер стены тряпочкой; потя, он привстал на цыпочки и помыл потолок на кухне, он отчистил ванну до блеска, и он подумал: теперь уж она придет скоро.

Потом он пошел в комнатку Шарлотты Исабель. Он упер руки в боки, как, он видел, это делают женщины на фотографиях пятидесятих годов, и огляделся.

Ярле навел чистоту по всей комнате от пола до потолка. Он снял со стен книжные полки, он вынес из комнаты все, что там хранил. Он пропылесосил каждый миллиметр. Он начищал комнату до тех пор, пока не обломал ногти, а кожа на ладонях не сморщилась от воды. Он принес с чердака старое красное кресло и поставил его там, кресло с мягким сиденьем, на котором ребенку будет удобно прыгать. И почему он, собственно, убрал его из квартиры, а вместо него поставил строгую икеевскую мебель и черные стулья, он не мог понять. Оно было красочным. Оно освежало комнату.

И оно было мягким, на нем было удобно сидеть. Он достал краску, которой он в прошлом году покрасил стол в гостиной, — светлую, нежно-зеленую, этот цвет только и был у него, — и нарисовал большой круг на одной из стен. Он сбегал на кухню и включил плиту.

Достал картошку — была у него, слава богу, — и поставил ее вариться. Заглянул в морозильник, посмотреть, вроде бы должны были у него завалиться две пачки рыбной запеканки, и оказалось, действительно завалились. И наконец, когда время перевалило за половину четвертого и Ярле весь взмок, он развернул купленный давеча постер. Он достал замазку. И он повесил постер на то место, где раньше был портрет Теодора В. Адорно.

Пять гордых девушек. Пош-Спайс в платье из золотистого ламе. Скэри-Спайс в облегающем леопардовом костюме. Джинджер-Спайс — в цветочек и с рыжими волосами. Бэби-Спайс

в лиловом пиджаке. Спорти-Спайс в коротком золотом топе.

Теперь здесь хорошо пахло. Какой-то свежестью повеяло в комнате. Стало тепло просто-напросто. По всей квартире пахло хозяйственным мылом и рыбной запеканкой. Он посмотрел на часы. Десять минут пятого. Он постучал пальцами по подлокотнику красного кресла.

— Да-а, — сказал он вслух.

Да-а!

Вот.

Теперь пусть приходят! Да-а.

Папа готов!

Ярле было трудно представить себе, что Шарлотта Исабель могла чувствовать в этот день. Он попробовал вызвать в памяти какие-нибудь воспоминания из своего собственного детства, которые могли бы дать ему ответ на вопрос, каково это ребенку семи лет — отправиться в чужой город, впервые встретиться со своим папой, посмотреть вместе с ним похороны принцессы, познакомиться со множеством новых людей, увидеть своего нового папу в стельку пьяным, а затем оказаться на попечении соседки. Как сыну алкоголика, пившего все выходные напролет, Ярле было знакомо чувство детского одиночества, он знал, что такое непредсказуемость отца, и, разумеется, его мучило то, что его вполне можно было принять за его собственного отца, если судить по его поступкам в первые же выходные, когда дочь приехала к нему, но все же все это не было похоже ни на что из того времени, когда он сам был ребенком. А что он знал о том, в каких условиях росла Шарлотта Исабель, насколько сильной или насколько ранимой она была, насколько чувствительной или флегматичной? В том, что сам он повел себя ужасающе, сомнений у него не было, но вот как она это восприняла, он понятия не имел, ровно так же как он понятия не имел, где же она была в этот понедельник.

Вместо того чтобы предаться *собственным* воспоминаниям, о своем собственном детстве, Ярле вдруг с изумлением обнаружил, что происходит нечто совершенно иное. Сидя в этом красном кресле и несколько неожиданно для себя самого сучая по своей дочери, он как будто бы превратился в своего собственного отца. Именно папа, а каким-то непостижимым образом и *все прочие папы* вдруг как-то непрошено заполонили все пространство воспоминаний, именно их опыт, и их чувства, и их мир представлялся ему помимо его желания, а не опыт, чувства и мир ребенка — его собственные или те, что могла иметь Шарлотта Исабель. У него даже в висках похолодело, когда он вдруг не смог вспомнить ничего из своей собственной жизни; вместо этого у него возникло ощущение, будто он бродит внутри папиной головы, в папином мозгу, в отцовском мозгу *всех других пап*; такой озабоченный из-за ребенка, такой радующийся за ребенка, так раздраженный ребенком, так отчаявшийся из-за ребенка.

Где же его ребенок?

Он резко поднялся и стряхнул с себя это призрачное ощущение.

Вокруг него все было чисто и прибрано. В гостиной хорошо

пахло.

Чтобы побережь дочь, которая должна была скоро прийти, он выходил на воздух, когда хотелось покурить.

Подарки для Шарлотты Исабель были красиво расставлены на полке. Ее одежда, ее маленькие, просто-таки трогательные туфельки, ее вещички — все было аккуратно разложено по шкафам и полкам. И было тихо. Ярле бдительно следил за дверью.

Она наверняка скоро придет.

Иначе и быть не может, сказал он себе. Это единственно разумное — а Грета разумна. Она повела ребят погулять. А теперь она должна скоро уже вернуться с ними домой. И тогда они сядут обедать. Все вместе. Будут есть обед, который приготовил папа Клепп.

Потому что они наверняка скоро придут.

Он не давал картошке и морковке остыть, пользуясь маминой уловкой: она клала в кастрюлю сложенное полотенце, а сверху уже накрывала кастрюльку крышкой. Хуже дело обстояло с запеченной рыбой, тем более что у него не было в плите термостата, как у бабушки. Но рыба стояла в духовке и была все еще горячей.

В половине пятого хлопнула дверь вниз.

Он выпрямился.

Он откашлялся.

Осторожно приоткрыл дверь.

Ярле услышал на лестнице детские голоса. Это были они. Затылок его напрягся, и он вышел на площадку.

— Привет! — сказал он с воодушевлением, когда они показались на площадке между этажами. — Привет! Пришли! Шарлотта Исабель! Грета, Даниэль! Как здорово! Я уж вас так ждал, так ждал! Ну а теперь... теперь добро пожаловать за стол! Обед! Как у вас, хороший был день? Где вы были?

У Греты под глазами залегли глубокие темные круги. Вид у нее был такой, будто она не спала несколько недель. Волосы были в беспорядке, а широко расставленные черепашьи глаза разбежались в разных направлениях. Даниэль висел у нее за спиной, как мешок с дровами, он плакал, и у него под носом засохли сопли. Бледная и измученная Шарлотта Исабель всхлипывала, держа ее за руку.

— Ну как? Хороший был день? Чем занимались?

Грета спустила Даниэля на ступеньки и подтолкнула Шарлотту Исабель перед собой:

— Вот так. Можешь идти к своему отцу.

Шарлотта Исабель неуверенно глянула на нее.

— Ну. Иди же. Вон твой отец.

Ярле сглотнул, он все еще старался улыбаться, но заметил, что у него не получается. Грета повела Даниэля по лестнице наверх, она не удостоила Ярле ни взглядом. Она остановилась перед дверью в свою квартиру. Выудила из сумки ключ. Шарлотта Исабель стояла, засунув в рот два пальца, и переводила взгляд с одного на другую.

— Ярле, — сказала Грета, отпирая дверь. Ее спина то вздымалась, то вновь опадала.

Он кашлянул:

— Да?

— Я не знаю, каким местом ты думаешь. — Она обернулась. — И я не знаю, что происходит в твоей голове. Но такого ты больше никогда не сделаешь.

Ни со мной, ни со своей дочерью.

Она открыла дверь. Хотя она стояла к нему спиной, Ярле чувствовал, как она стиснула зубы и зажмурила глаза.

— Я требую, чтобы ты оставил меня и Даниэля в покое. — Грета повернулась к его дочери. Она улыбнулась и погладила девочку по голове. — Мне очень жаль, что все так сложилось, Лотта. Большое тебе спасибо за сегодняшний день.

— Но... но вы разве не хотите пообедать, а? Запеченной рыбы не хотите?

Дверь захлопнулась.

— Мне кажется, что она не хочет есть, папа, — прошептала Шарлотта Исабель дрожащим голосом.

— Кажется, не хочет, — прошептал Ярле в ответ.

Дочь кивнула:

— Знаешь, что я думаю, папа?

Он посмотрел на нее:

— Нет.

— Я думаю, что она устала. Зато я для тебя рисунок нарисовала.

Лотта достала из кармана курточки сложенный листок бумага формата А4.

В правом верхнем углу она нарисовала солнце, желтое солнце, спускающее к земле пять гордых лучей. Внизу под ним стояли лошадка, а может, пони, мужчина в черной одежде и девочка.

Вторая половина понедельника выдалась тихой у Ярле с дочерью. Правда, Шарлотта Исабель шумно и пронзительно-громко выразила свою радость, увидев на стене своей комнаты Бэби-Пош, Джинджер-Скэри и Спорти-Спайс, но совсем не так шумно и пронзительно-громко, как она обрадовалась бы, если бы

все было в порядке. Она очень устала, это он видел, и вот она сидела и ковыряла вилкой запеченную рыбу. Ярле сказал «да», когда она спросила, не может ли он дальше рассказать про принцессу, которая не хотела быть принцессой; и, когда она спросила, не может ли он еще и спеть песенку про нее, если ей будет не заснуть, он сказал, что попробует. Может быть, он смог бы ее пропеть на мелодию «Спайс-Гёрлз»? Ну ладно, пробормотал он, если только сможет вспомнить какую-нибудь из их песен, споет. Ярле очень хотелось знать, что же они делали целый день, и он кивнул в подтверждение собственных предположений, когда услышал, что они были в каком-то учреждении. Она и Даниэль рисовали почти весь день, сказала Лотта. Кроме получаса, когда Грету отпустили с работы и они вышли, совсем на чуть-чуть, и купили по булочке с изюмом. Это было весело, сказала Лотта, но, вообще-то, скучно было так много рисовать. А были они на работе у Греты, поведала девочка, потому что утром папа ведь так крепко спал и был такой больной, что не мог встать, вот поэтому-то ей и пришлось пойти с Гретой. А раз ей пришлось пойти с Гретой, то хорошо, что и Даниэль тоже там был, и они там были вдвоем. Ярле кивнул. Да, сказал он, как много хороших мыслей сразу. А на работе, сообщила Шарлотта Исабель, почти все время звонил телефон, и Грете все время надо было носить всякие папки и скоросшиватели и разговаривать с людьми целый день. Так что они с Даниэлем нарисовали очень много картинок. Ярле, наверное, сможет посмотреть их, если захочет. Да, он бы с удовольствием их посмотрел, сказал он, но пока ему хватит той одной, которую она ему принесла, он ее сразу же повесит на стену в ее комнате, — кстати, почему бы не посередине зеленого круга?

Он взял картинку в руки и поднял ее перед собой:

— Она просто замечательная, Лотта.

Лотта кивнула.

— А вот ты теперь угадай, кто это, — сказала она и улыбнулась, обнажив щелочку между зубами.

Отец с дочерью достали замазку и повесили рисунок внутри зеленого круга. Они сошлись на том, что получилось классно. Лотте ее комната показалась теперь гораздо более красивой, и она уточнила, что папа может, если захочет, спать там, когда она уедет, если ему будет страшно или если он будет по ней скучать. А завтра они могут еще и покидаться подушками на матрасе, сказала она, но сегодня она слишком устала, к сожалению, а кроме того, скоро уже будет детская передача по телевизору, ведь скоро, да?

Шарлотта Исабель вся иззевалась, пока смотрела историю

про Муми-тролля. Она сонно бормотала что-то про принцессу Диану, как она лежит там под землей и мерзнет, и еще она сказала, что надеется, что маме и отцу на юге здоровьеско. Ярле собирался было опросить, нет ли у нее, случайно, номера телефона, по которому он мог бы позвонить, — может, этот номер записан на бумажке, лежащей у нее в кармане, — но по той или иной причине не стал этого делать. Было у него такое чувство, что нет все же никакой срочности в том, чтобы узнать этот номер. Кто-то счел, что Лотта должна несколько дней провести у него, ну и пусть так будет еще какое-то время. Если кому-то необходимо называть что-то югом, значит, есть на то свои причины. Он все раздумывал над тем, не пересечь ли ему лестничную площадку и не постучать ли осторожненько в дверь Греты и попросить у нее прощения, но не стал. Когда детская передача закончилась, Лотта спросила Ярле, здоров ли он теперь. Ярле кивнул и подтвердил, что, конечно, сегодня он себя чувствует намного лучше. Тогда Лотта спросила: а вот эта болезнь у него, из-за которой он шатается и падает, он ею болеет все время или только иногда, и Ярле сказал, что надеется, что уже полностью выздоровел. Но все равно хорошо, что у него есть дядя Хассе и тетя Грета, сказала Лотта, ведь без них плохо бы дело кончилось.

— Но знаешь что, папа? — сказала Шарлотта Исабель гордо, когда закончилась детская передача по телевизору.

— Мм... что?

— Я никогда еще так поздно не ложилась спать, как вчера.

— Нда-а, — сказал Ярле. — Могу себе представить.

— Надо не забыть рассказать про это маме. — Она зевнула. — Это новый рекорд. А сколько было времени, как ты думаешь?

— Ну-у... — сказал Ярле тихо. — Может, пусть это будет нашей тайной?

Глаза его дочери засияли.

— Тайной?

— Угу! — Он зевнул. — Только твоей и моей.

— Ладно, — сказала Лотта. Она тоже зевнула, прижавшись потеснее к нему на диване. — Только твоей и моей, папа.

В половине восьмого оба уже заснули перед телевизором, так что не получилось ни вечера сказки, ни песни про принцессу под мелодию «Спайс-Гёрлз». Если бы кто-нибудь заглянул туда, он увидел бы на диване отца вместе с дочерью: один сидит, другая лежит. Если бы этот кто-нибудь повнимательнее присмотрелся, то увидел бы, как эта парочка во сне складывает губы трубочкой, и подумал бы, как они друг на друга похожи. И еще он услышал бы, как звонил четыре раза телефон, но никто из этих двоих не проснулся; и он увидел бы, как ровно и мерно дышит Шарлотта

Исабель Хансен, положив голову на колени своего папы.

Лотта давно уже поняла это

Нет таких матерей, которым понравилось бы, что девушки кружат голову их сыновьям. Когда матери видят, что вот-вот наступит такое головокружение, — и видят они это раньше, чем все остальные, — они опознают в этом нечто, очень напоминающее им их самих в молодости; и, сколько бы некоторые ни утверждали, что матери ценят, когда их сыновья увиваются вокруг красивых девушек, приписывание им такой широты взглядов является ошибочным и голословным: матери инстинктивно сразу же принимают вздыхать и стенать. Потому что — что же им остается делать?

Они знают, что произойдет. Девушки затащат их сыновей в постель. За какие-то секунды девушки займут место того разума, который по крупицам сам по себе складывался в сыновьях, за какие-то секунды весь ум, все планы на будущее, все продуманные рассуждения словно сдует у юного сына, и все, чему матери отдавали свое время, будет отброшено. В остатке — только собственно сам сын, дрожащий от ненасытнейшего желания. Он готов отказаться от всего, что составляет его сущность, ради этих прелестных девушек. Сын осознал теперь, для чего он существует на свете, и никто не в состоянии остановить его в его самореализации. Этого-то и страшатся матери, это-то и знают матери так хорошо, потому что они сами это проходили. Потому что они и сами затаскивали в постель сыновей других матерей, они и сами сеяли ужас в груди других матерей, которые тоже узнавали самих себя в девушке, которая являлась им с длинными ресницами и прекрасно оснащенными губами.

Если девушка, которая затаскивает в постель чьего-то сына, разумный человек, в котором матери могут разглядеть будущее для своих сыновей — здоровеньких внуков, уютный дом с заправленной постелью и испеченными на сковородке оладушками, то матери могут смириться над своими юными сестрами, которые предъявляют права на их отпрысков. Они смиряются с существованием таких девушек. Но если девушка, которая затаскивает сына в постель, кандидат без будущего, то дело много хуже. Этой девушке ее старшая сестра всегда будет вставлять палки в колеса. Но существует еще и девушка третьего типа, которой достанется сильнее, чем прочим, и это сказочно прекрасное, радующее глаз существо, которое грозит превратить все сыновнее в метель обнадуженного желания. Такая девушка, которой хочется видеть только, как парнишка весь вздымается,

которая хочет чувствовать только, как он весь напрягается, как тетива лука, ради нее, и более ничего, — такая девушка получит всю меру восторга этого парня и всю меру ненависти его матери.

Могут ли матери по шагам за дверью своей комнаты услышать, не их ли это сыновья крадутся мимо?

Могут ли матери всем существом ощутить, когда их сыновьям плохо?

Могут ли матери по голосу девушек, с которыми они разговаривают, определить, не переспали ли они с их сыновьями?

Да. Могут.

Около четырех часов ночи Ярле проснулся оттого, что Шарлотта Исабель повернула тяжелую ото сна голову, которая покоилась у него на груди. Он, прищурившись, взгляделся в темноту, почувствовал, что отлежал затылок, потом он остороженько взял дочь на руки и отнес ее в собственную спальню. Ее голова и ноги тяжело свешивались долу, светлые волосенки полосато отсвечивали в свете уличных фонарей. Он укрыл Шарлотту Исабель одеялом, подоткнул его вокруг маленьких ножек, а потом и сам укрылся. За этими простыми делами, как если бы он был *настоящим отцом*, он не успел задуматься о завтрашнем дне и вскоре заснул.

Ярле проснулся, только когда уже перевалило за половину девятого, почувствовав, что маленькое тельце рядом с ним потихоньку выбирается из сна. Дыхание Лотты стало неровным, руки и ноги заерзали по матрасу, и после нескольких минут этой пробудительной активности он услышал, как дочь говорит:

— Мм, папа!

— Привет, Лотта, — сказал он чуть осипшим спросонья голосом, — доброе утро, доброе утро. Тебе хорошо спалось?

— Мм, — как-то хрипловато протянула девочка, потом она распылила рот в большом зевке. — Да-а. А тебе?

— Да неплохо, — сказал он и окинул взглядом ее взъерошенную шевелюру, спутанные локоны. Через всю щеку у нее пропечаталась тоненькая полосочка, из-за того что она заснула, прижавшись щекой к складке на наволочке. — Совсем неплохо, Лотта.

— Ой! — Она подскочила в постели и испуганно обхватила лицо руками. — А какой сегодня день, папа?

— Ну-у-у, вторник, — сказал он, — а что?

— А-а-а. — Она снова всей своей тяжестью бухнулась на матрас. — А-а-а. А я думала, сегодня мое деньгождение!

Этим утром они совсем не торопились. На завтрак у них была яичница-глазунья, кофе и молоко, и Лотте было позволено

посмотреть, как Ярле бреет себе голову. Когда он покрывал голову пеной для бритья, она стояла на табуретке, смотрела, а потом сказала, что он похож на гриб. На гриб?! «Да, папа, на гриб!» Но когда он провел лезвием по голове, она испугалась и сказала, что он же может порезать себе мозги. Ярле улыбнулся, подмигнул ей и сказал: «Да нет, что ты, Лотта, папа хорошо умеет делать это». Постепенно голова Ярле заблестела, и он разрешил Лотте потрогать ее, и девочка сказала, что теперь она ну совсем как резиновая, и они оделись, чтобы выйти на белый свет.

Несколько часов они провели на детской площадке, и Ярле изо всех сил старался забыть вчерашний день и запойную ночь, из-за которой этот день таким получился, и быть обычным беззаботным отцом. Не обошлось и без проколов, само собой. Он быстро понял, что если уж он вынужден принимать у себя гостей какую-нибудь дочь, то ему необходимо наработать определенный ритм стирки, чтобы у него всегда была с собой смена одежды, потому что ребяташки успевают запачкаться так скоро, что и оглянуться не успеешь, — даже и девочки семи лет. Выглядеть они могут сколь угодно миленькими, может показаться, что они вполне в состоянии сами за собой последить, но вот чтобы сверху донизу вымазаться песком и всякой липкой дрянью, им требуется совсем немного времени. Угости их мороженым — что Ярле и сделал, когда они завернули к Эрнану по пути на детскую площадку, — и готово. Переодеть джемпер? Не было у Ярле никакого другого джемпера с собой. А сама она что же, не взяла? И еще, как оказалось, она замерзла.

Дома Шарлотта Исабель говорила, что одного джемпера более чем достаточно, и летних туфелек, и тоненьких колготок, потому что ей все равно будет жарко, сказала она, но, как выяснилось, это было совсем не так. Не прошло и двадцати минут, как она разнюнилась и разворчалась, потому что замерзла. И еще она хочет в туалет, сказала она. Да — но ведь все это они же могли сделать до того, как пошли гулять?

Но ничего. Ярле сгонял домой и принес одежду потеплее, и утренняя прогулка удалась. А как много они успели сделать! Если бы ему пришлось сравнивать с обычным днем, то до обеда он, может, успел бы прочитать половину эссе о деконструкции. Эссе, которое было бы необходимо перечитать еще два, а то и три раза. А вот сегодня! Они успели сделать целую кучу вещей. А сколько они всего обсудили! И Венесуэлу-то они обсудили, поскольку Эрнан с семьей были родом оттуда. И Шеен они обсудили, поскольку она сама была родом оттуда, и Лотта долго расписывала, какая у нее там большая комната, выкрашенная в розовый цвет от пола до потолка, с собственным проигрывателем

для компакт-дисков, и множеством постеров, и всевозможных замечательных штучек.

И «Спайс-Гёрлз» они обсудили, поскольку они так сильно нравились Шарлотте Исабель. Она настаивала на том, чтобы он выбрал среди них ту, которая ему больше всех нравится, — ведь у всех была одна, самая любимая, — и в конце концов ему пришлось сдаться и сказать: Джинджер-Спайс. Но тогда Лотта сказала: фу-у, Джинджер, а ей больше всех нравится Скэри-Спайс. И дело было даже не в том, сколько всего им удалось обсудить, а в том, **как** они это обсуждали, с восторгом подумал Ярле, как они играючи и ассоциативно плавно переходили от одной темы к другой, пришло вдруг ему в голову, просто-таки изумительными, эссеистски-запутанными пассажами. Вдохновленный таким уровнем разговора, Ярле попробовал объяснить Лотте еще и то, что такое академическая среда, но на этом свободный обмен мнениями в виде диалогической мыслительной деятельности застопорился. Форум свободного мышления, сказал он. Гм, сказала Лотта. Арена для размышлений, сказал он. Гм, сказала Лотта. Ну и что! Все равно, они так много успели сделать этим утром! Он уж и не помнил, когда у него было в последний раз такое простое, беззаботное и разнообразное утро; во всяком случае, как ему казалось, такие утра остались в его далеком детстве.

Примерно в половине одиннадцатого прибежала Ингрид, дочь Эрнана, и тут-то на площадке началось настоящее ликование. Девочки катались с горки, и Шарлотта Исабель рассказала, что наклейка с собачкой висит на зеркале у папы, они с бешеной скоростью качались на качелях, они шептались и хихикали на скамейке о чем-то, что Ярле ни в коем случае нельзя было слушать, до тех пор, пока чуть не попадали с этой скамейки от смеха. «Ну ладно, — сказал Ярле бодро, — хватит секретничать, рассказывайте, что там у вас». И после долгих уговоров Ингрид спросила его, а на ком он женится, когда вырастет большой, на что Ярле фыркнул, как девчонка, и сказал: «Ну, на ком, на ком, на тебе, наверное, Ингрид», удивляясь, почему она об этом спросила.

Ярле знал, что ему необходимо сделать с утра, но все откладывал это. Пока он только и делал, что улыбался по-детски. Но в голове плотно засела мысль о том, что придется сходить в библиотеку, чтобы забрать там стопку авторитетных статей. Неделя под одуряющим солнцем обещала оказаться долгой, это он понял, а у него уже было заказано там несколько статей, «которые столь значимы для меня, — сказал Ярле себе, — что если они не окажутся при мне, то мне кислород не будет

поступать в достаточном количестве».

Когда Ингрид наконец собралась уходить — после того как девочки бесчисленное количество раз съехали с горки, и повизжали, и сыграли в пятнашки и после того как они договорились встречаться «все время и навсегда остаться лучшими подругами», — Ярле подошел к дочери, которая осталась в одиночестве стоять возле лошадки-качалки и выглядела какой-то потерянной.

— Лотта, а Лотта, — сказал он с заискивающей интонацией, которая ему совсем не шла, зато подходила в этой ситуации, — ты, случайно, не хочешь сходить с папой на работу?

Она два раза хлопнула в ладоши, радостно воскликнула: «Да!» — и они двинулись вверх к Нюгорсхёйдену.

— Вот только знаешь, Лотта, — сказал он и изобразил на физиономии то, что ему представлялось отцовским выражением лица, — знаешь, это папина *работа*. Ну, то есть ты поняла? Работа! Где папа работает! И на папину работу, вообще-то, детей не разрешают приводить.

Ярле видел, как дочь вслушивается в серьезные нотки его голоса, и про себя высоко оценил это.

— Это вообще строго запрещено, — добавил он, вдохновленный послушным настроем в духе «отец-дочь», воцарившимся в их отношениях, и ему показалось, что именно так и надо излагать подобные вещи.

Они меж тем приближались к университетскому комплексу. Он остановился и посмотрел ей прямо в глаза:

— Да-а. И это значит, Лотта, что раз уж я сейчас беру тебя с собой к папе на *работу*, потому что мне нужно забрать кое-какие весьма авторитетные статьи, то абсолютно необходимо, чтобы ты была тише воды ниже травы. Ты поняла меня?

Лотта кивнула и строго посмотрела на него.

— Тише воды ниже травы, — повторил он. — Сумеешь?

Лотта снова кивнула, с тем же строгим выражением лица.

— Ты только представь себе, Лотта, — сказал он, развивая успех и довольный тем, как у него все ловко получается, — ты только представь себе, что во время этого посещения твоя цель состоит в том, чтобы никто тебя не заметил. — Правда, очень интересная игра?

И Лотта кивнула в третий раз, все с тем же строгим взором, и на этот раз Ярле показалось, что она выглядит прямо-таки взрослой, да нет, не только взрослой, но чуть ли не старой, и глаза у нее суховаты, словно перед ним стоял маленький карлик, чопорная подавальщица с господской кухни давным-давно минувших дней.

— Тише воды, — прошептала она. — Тише воды ниже травы.

— Правильно, — сказал Ярле и, удовлетворенный, погладил ее по головке.

Они в это время как раз обогнули угол здания историко-философского факультета и подходили к portalу учебного комплекса «Сюднесхауген» на холме, где Ярле был записан в библиотеку.

— Мы туда только на минутку заскочим, раз-два, заберем несколько статей, которые для папы весьма важны, и скорей назад — ну, как будто бы мы воры, Лотта, — сказал он и подмигнул ей.

— Как будто воры! — Глаза у Лотты стали круглые-прекруглые.

— И смотри, Лотта, — сказал он и поднял палец кверху, — тише воды, не забудь!

Она кивнула, и они вошли в одно из зданий комплекса.

— Дядя Хассе!

Подбородок Ярле медленно задрался кверху, он остановился и тяжело вдохнул через нос, глядя, как Лотта бежит через заполненный студентами двор к Хассе, — который сидел на одной из скамеек вместе с Ариллем. «Тише воды», — попытался он выдать из себя, но слова как-то раскрошились в горле при виде того, как студенты сначала, все как один, прервали свои оживленные беседы и уставились вслед несущейся ураганом девчужке, а потом развернулись в сторону Ярле, стоявшего как раз под сводом подворотни.

— Папа! Да вот же дядя Хассе, он здесь!

Ее голос, сильный и нежный детский голос взвился над увитыми плющом стенами, и Ярле показалось, что он был как запах, как аромат, что исходит от открытой решетки гриля на воздухе, поднимается и стелется вдоль фасадов, заползает во все окна, во все читальные залы, во все аудитории, во все ушные проходы.

Он выпрямился, ощущая, как кровь разбегается по сосудам рук, и попробовал собраться и успокоиться, приближаясь к дочери, которая стояла перед его приятелями, размахивая руками.

— А тут, на твоей работе, очень здоривско, оказывается! — сказала Лотта, когда он поравнялся с ними.

Он откашлялся и кивнул.

— Привет, — сказал он, — ну, мы только на минутку, мне тут нужно забрать парочку... э-э-э... ну, кое-что из Адорно, и...

— А ты кто? — Лотта ткнула пальчиком в Арилля.

Тот покраснел от шеи до макушки, глаза у него забегали.

— Ну-у, пойду, пожалуй, позанимаюсь, — сказал он. — Нда-а-а. — И Арилль потрусил ко входу в здание.

— А это кто был, папа?

— Ну, приятель один, — не стал распространяться Ярле. — Его зовут Арилль.

— Дядя Арилль? — Лотта повернулась к Хассе. — Так это был дядя Арилль?

Хассе утвердительно мотнул головой:

— Он немножко... стесняется, понимаешь? Ему нужно время, чтобы привыкнуть. Нет, а знаешь что, Лотта, классно, что ты сюда пришла. Давай мы тебе покажем все здесь? Здесь и столовая есть, там продают мороженое и...

Ярле переступил с ноги на ногу и крепко ухватил Лотту за руку:

— Да нет, мы... у нас не особо много времени, мы вот только...

Хассе перебил его:

— Да брось, конечно все покажем!

Лотта приблизилась к Хассе еще на шаг и строго на него посмотрела:

— Но ты же знаешь, дядя Хассе, что детям сюда нельзя! Нам тут нужно быть тише воды ниже травы!

Хассе поднял брови и взглянул на Ярле:

— Да-а, действительно, так оно и есть. — Он наклонился к ней. — Ну, мы тогда будем поосторожнее себя вести, договорились?

— Да, поосторожнее, — прошептала Лотта. — А у тебя еще болит спина?

Он подмигнул ей:

— Просто невыносимо!

Втроем они двинулись ко входу в «Сюднесхауген». Ярле плелся позади Хассе и Лотты, и его не оставляла мысль о том, как поразительно легко нашел Хассе общий язык с ребенком, как беспроблемно он сумел войти в детский праздничный, таинственный и интуитивный мир. Его рыбы глаза распахнулись, и, рассказывая Лотте о том, что им попадалось по пути, он размахивал своими длинными руками: знает ли она, что за этими дверями сидят люди будущего, как раз такие люди, которые в прошлом совершали великие открытия и оказывались авторами гениальных изобретений? Глазенки Лотты открылись еще шире; нет, прошептала она, она этого не знала. Знает ли она, что за дверями, совсем как вот эта, сидели люди, которые изобрели и лампы накаливания, и инвалидные коляски, и разные удивительные машины? Девчоночья головенка так и крутилась по

сторонам, всматриваясь в дали коридоров; нет, шептала она, этого она не знала. Хассе присел на корточки и ухватил ее за плечи.

— А вот это, Лотта, — сказал он, — вот это, смотри, это лаборатория, здесь все кипит и клокочет, и никто не знает, что из этого получится.

Лотта обернулась к своему отцу, в глазенках у нее светилось восхищение, рот приоткрылся, не во всю ширь, а просто от изумления, и Ярле ощутил обретенные им уважение и пиетет со стороны маленького человечка, чем он не мог не гордиться.

— Да, — прошептал он. — Именно здесь все это и происходит, Лотта. Совершенно верно. Это здесь происходит. Так что теперь ты сама знаешь: тише воды!

Она кивнула.

— Тише воды, — шепнула она.

Они вошли в помещение библиотеки. В зале царила отчетливо ощущаемая гнетущая тишина, окружающая людей, занятых чтением. Зажатые в зубах карандаши, раскрытые книги, изредка — застенчивый стук переставляемой ноги или треск разрываемой упаковки жевательной резинки. Лотта и Хассе застыли на пороге. Ярле распрямил спину и, старательно избегая взглядов других студентов, которые, все как один, обратились в его с Лоттой сторону, быстро прошел к зарезервированному за ним месту в читальном зале.

— Так это всё здесь делают, дядя Хассе? — едва расслышал он ее шепот позади, на что Хассе ответил утвердительно:

— Э-э-э, да, Лотта, будь уверена, именно здесь!

За этой обманчивой тишиной, Лотта, за этими склоненными затылками скрывается кипящий и волнующийся мир!

Пока Хассе продолжал облекать в мифы университетскую жизнь, Ярле собрал в стопку несколько распечаток, копии статей и пару книг. Он слышал, как Лотта спросила, что это дядя Ариль делает вон там, у окна, и как Хассе ответил, что «вот это, Лотта, только сам дядя Ариль и знает».

Ярле, со смешанными чувством гордости и ощущением того, что покраснел, неуклюже поспешил собрать свои вещи. Он кивнул знакомым, кому смущенно, кому свысока, подхватил стопку материалов и, подойдя к двери, поскорее вытолкал Лотту назад, в коридор.

— Ну вот, — сказал он с облегчением. — Дело сделано, теперь ты видела, где работает папа. Ну что, домой пойдем?

— Ты только не разговаривай так громко, папа! — прошептала Лотта.

По пути во двор они столкнулись лицом к лицу с Хильдой из-

под Тронхейма, национально-романтические пейзажные щечки которой порозовели, когда она увидела дочь Ярле. Она мило склонила головку к плечу, глаза морской синевы засверкали, и, воскликнув: «О, какая красавица!» — она не удержалась от того, чтобы не протянуть навстречу Лотте руки и не погладить ее по головке.

Ярле коротко выдохнул через нос, сжав губы из опасения, что она спросит девчушку, не писается ли та в постели, как спросила Боргни из Сюннхордланна, сказал, что они очень спешат, и решительным шагом направился к выходу.

— А как же мороженое? — возразил Хассе и попридержал его. — Ведь нужно же угостить Лотту мороженым в качестве завершения ее первого посещения университета.

— Мороженым, — возразил в свою очередь Ярле, мечтавший поскорее убраться отсюда, — ее можно с тем же успехом угостить где-нибудь в другом месте.

— Нет, папа, а можно, я здесь поем мороженого? — сказала Лотта и встала рядышком с Хассе, так что они образовали единый фронт против Ярле.

И они пошли в столовую, и снова произошло то же самое. Все головы, все взгляды обратились к ним. Что же это такое? Что они все, детей раньше не видели? Ярле раздраженно пошел к стойке. Он злился, потому что Хассе, можно сказать, вмешивался в воспитание его ребенка, потому что зачем он только вообще взял девочку с собой в университет?

— Ну так какого тебе мороженого купить? — сказал он брюзгливо, роясь в морозильнике. — Трубочку? Эскимо? Что ты больше любишь? А? Что ты хотела бы? Потому что давай-ка выбирай, что ты там стоишь и копаешься, Лотта, мы тут не можем стоять до бесконечности, мы не можем весь день тут торчать и слюни пускать, знаешь ли, нам надо... много чего сделать...

Девочка смотрела не на отца, а на что-то за его спиной.

— А вон тетя Хердис, — услышал он ее спокойные и осторожные слова. — Она стоит там и машет мне рукой.

Ярле обернулся.

Ему почудилось, что он слышит, как Хассе глотает.

Он и сам сглотнул тихонько.

Сколько таких девушек появляется на свет?

За год? В мире?

Пять? Десять?

Стоя у входа в столовую и махая им рукой, она выглядела прямо-таки по-королевски. Спокойная, но печальная улыбка застыла под благородным носом.

Ноги, которые по-прежнему заключали ее обширную и теперь

столь обетованную страну грез, заканчивались летними туфельками кремового цвета с тоненьким ремешком вокруг щиколотки. Линию бедер подчеркивал брючный пояс, элегантно обвивавший талию Хердис. Маленькие груди, радость пристраивать которые в ладонях или поудобнее обхватывать губами Ярле испытывал так много раз, трогательно проступали под легкой маечкой цвета старой розы. Ее рука — правая рука с длинными пальцами, которая в одно и то же время умела вести себя и так мягко, и так решительно, когда, например, этими пальцами она поглаживала у него в паху или когда, случилось, массировала ими его украшения с точно тем же знанием дела, с каким женщины вроде Хильды из-под Тронхейма наверняка разминают тесто для булочек или выдаивают коровье вымя, — ее рука мягко покачивалась на плавно движущемся суставе. «И даже одно только это, — подумал Ярле, — одно только это королевское помахивание рукой страшно меня возбуждает».

— Давай-ка подойди к ней, — шепнул Ярле.

Хассе кивнул.

— Подойди и поговори с ней немножко, вперед, — шепнул он снова и оторвал взгляд от Хердис. — А папа пока выберет мороженое.

Ярле сунул руку в холодное нутро морозильника. Он достал оттуда трубочку с клубникой, задвинул крышку и пошел, как только мог невозмутимо, в сторону кассы. Расплачиваясь, он видел, что Хердис присела на корточки и крепко обняла Лотту.

— Да-да, — сказал Хассе. — Как-то атмосфера тут у нас сгустилась слегка.

Немного спустя Лотта и Ярле обогнули угол дома и оказались на своей улице. В руке Лотта сжимала тоненький прутик, которым она вела по планкам заборчиков, ограждавших палисадники домов, мимо которых они проходили. Шла она легким, танцующим шагом.

«Да, вот сейчас ей весело», — подумал Ярле и услышал, как она сказала, наверное уже в двадцатый раз, как здорово было снова повстречаться с тетей Хердис и как обидно, что ей нужно было куда-то идти так скоро.

«Радостно и весело», — подумал он и приложил невероятные усилия, чтобы прогнать стоявший перед глазами образ Хердис. Он постарался объяснить Лотте, что Хердис — дама занятая, как, впрочем, и он сам.

И Лотта громко рассмеялась, а они уже совсем близко подошли к своему дому, потому что папа-то ведь вовсе не дама.

Когда они поднимались по лестнице, Ярле сделал попытку направить разговор в иное русло, оставив тему Хердис, и спросил

Лотту, говорила ли с ней ее мать когда-нибудь о нем или, может быть, о человеке по имени Ярле, но на это Шарлотта Исабель ответила отрицательно.

— Ну-ну, — сказал он и пожал плечами.

Когда они проходили мимо двери Греты, Лотта сообщила ему, что Грета наверняка сейчас у себя на работе и что сегодня она, может быть, не взяла с собой Даниэля.

— Наверное, — ответил Ярле, и снова разом вспомнились ему все глупости, совершенные и сказанные им в предшествующие дни.

— А обедать будем?

— Обязательно, — сказал он, обрадовавшись, что Лотта, похоже, забыла о Хердис.

Накрывая, как она выразилась, «стол, чтобы перекусить», Лотта и Ярле разделили обязанности. Так они всегда делали с мамой, сказала она; когда они накрывали стол, чтобы перекусить, они делили обязанности, и тогда им работалось и легче, и веселее; и Ярле вполне это понимал, подтвердил он, поддаваясь очарованию этой привычки, которую безголовая Анетта Хансен сумела привить своей дочери. Он спросил, не принимал ли и ее отец участия в приготовлениях к трапезе, но в ответ Лотта только глянула на него с недоумением. Они договорились о том, что если Ярле будет пить кофе, то Лотта тогда угостится какао, и вот, когда Ярле налил своей доченьке в чашку горячего какао, а она сказала, что пенку просто терпеть не может, раздался звонок в дверь.

— А это кто? — Ярле поднялся из-за стола.

— Нет! Нет! — подскочила Шарлотта Исабель, замахав руками и дрыгаясь всем телом. — Я открою! Я сама открою!

Ярле вспомнил, как, когда он был маленьким, ему всегда хотелось самому открывать подарки, откручивать пробки, снимать телефонную трубку, отворять дверь. Он снова сел. «Так ведь делают отцы, — подумал он. — Садятся и ждут, когда ребяташки сами хотят что-то сделать. Откидываются на спинку стула. Пьют кофе. Вот так и должно быть».

В коридоре стало тихо, и он вытянул шею, чтобы увидеть, кому же это Шарлотта Исабель открыла дверь. Ведь вряд ли это Грета. Не пришла же она к выводу, что слишком сурово поступила, списав со счетов его вместе с дочерью? Или это она пришла попросить прощения? В коридоре было все так же тихо. Хердис? Может ли это быть она? Что ей здесь может быть надо? Он вытянул шею, но никого не увидел, поэтому встал и пошел в прихожую.

— Ты кто?

Ярле остановился, ему вдруг стало жарко.

— Мама?!!

В коридоре стояла Сара, в длинном пальто, с чемоданчиком в одной руке и дамской сумочкой на локте другой.

— А ты кто? — снова спросила Лотта.

Сара окинула удивленным взглядом маленькую девочку, одетую в красный джемпер с золотыми пайетками и с вывязанным на нем пони.

— Э-э-э... да я... — Она замолкла. Почувствовала, как во рту пересохло, отставила в сторонку дорожный чемоданчик и попробовала понять, что же такое она видит перед собой. — Ярле?

Он медленно втянул воздух и поднял брови:

— А... мама, а... а что ты?..

Она сглотнула с закрытым ртом, пытаясь попасть в такт с происходящим.

— Да я... мне позвонили, Ярле, позвонили и сказали, что тебе требуется помощь, и еще сказали, что у тебя... Нну... я подумала... — Сара повернулась к Шарлотте Исабель. — Ну вот, я и подумала, что у тебя маленький...

Лотта стояла между ними, она смотрела то на одного, то на другую и пыталась понять, что же такое происходит, кто это такая перед ней стоит и что все это значит.

— А кто такая Хердис Снартему, Ярле?

— Хердис? Она одна... а откуда ты знаешь про Хердис?

Ярле увидел, что глаза у Сары забегали и она посмотрела на Лотту, сам же он попробовал справиться с тем хаосом, который царил в мыслях.

Ярле резко тряхнул головой:

— Нет! Нет, нет, нет! Хердис вовсе не... но почему... Хердис?

— А это она мне позвонила...

— А ты кто? — повторила Лотта. Она склонила голову набок и сунула указательный палец в щербинку между передними зубами.

Сара осторожно прокашлялась и слабо улыбнулась девочке:

— Я... но... А сколько тебе лет, деточка?

Сара опустила на корточки перед девочкой, и глаза у нее покраснели. И когда Лотта сказала: «Семь будет в четверг, а ты кто?» — у нее задрожали руки.

— Миленькая ты моя, — сказала Сара севшим голосом. — Я, выходит, твоя бабушка.

Моя бабушка?

Сара кивнула.

Шарлотта Исабель с сомнением посмотрела в сторону Ярле,

который в знак согласия вскинул брови.

— Так у меня есть еще бабушка?

— Да, у тебя есть еще бабушка по папе, — шепнула Сара и крепко обняла ее. — Я только думала, что ты... чуточку поменьше.

— А я в своем классе третья по росту, — сказала Шарлотта Исабель.

Вечером накануне этой встречи, которую все трое — Ярле, Шарлотта Исабель и Сара Клепп — восприняли как одно из самых странных событий в жизни, дома у Сары Клепп, которой было за пятьдесят, когда все это произошло, зазвонил телефон. Мягкий женский голос с южным акцентом сообщил, как показалось Саре, преувеличенно любезно, почти так, как говорят представители высшего общества, что она ушла от Ярле и что он перенес это тяжело. Тот же самый женский голос, называвший себя «бывшая девушка Ярле» — с чем Саре пришлось смириться, хотя раньше она никогда о ней не слышала, — сообщил еще, что Ярле после этого события казался несколько неуравновешенным, может быть, не совсем в себе и ему, возможно, требуется помощь. Потом эта же самая девка сказала Саре, что она не знает, что и делать, что она совсем не уверена, что поступает правильно, но дело в том, что Ярле часто рассказывал о своей матери — «да, о вас» — тепло и с любовью, и поэтому она все-таки решилась позвонить. И тот же самый голос, который, как заключила Сара в процессе разговора, принадлежал человеку, женщине, которая Ярле не любила, но пристроилась к нему и сумела заставить его петь древнейшие песни, выложил ей в конце концов, что у Ярле есть дочь.

Сара зажала ладонью рот, закрыла глаза и слушала Хердис Снартему. Саре удалось взять себя в руки, она набрала в легкие воздух и задала напрашивающийся вопрос, не она ли мать этого ребенка, на что мягкоголосая Снартему ответила отрицательно с коротким смешком. Сара поблагодарила за информацию и повесила трубку.

А потом она заплакала.

Саре Клепп, которая любила своего сына больше всего на свете и которая прожила насыщенную жизнь, богатую и горестями, и радостями, казалось, что такого она не заслужила. Стоя с гудящей телефонной трубкой в руке и пытаясь переварить тот факт, что Ярле стал отцом, что сама она теперь бабушка и что есть на свете крохотный новорожденный ребеночек, о котором она ничего не знает, — ребенок, узнать о котором ей пришлось унижительным образом через посредство девахи, которая ничего

для Ярле не сделала, если не считать того, что она от него ушла, — Сара абсолютно ничего не понимала.

Сара все плакала и плакала.

Она положила трубку и пошла в гостиную. Она пустила ноги пройтись по ковру, она пустила руки потрогать занавески, она переставила фарфоровые фигурки на серванте и, надавливая рукой на корешки, задвинула поглубже книжки, чтобы они образовали совершенно ровную линию.

И еще немножко поплакала.

Когда Сара Клепп выплакала наконец в этот вечер все слезы, которые постепенно вбирали в себя больше, чем то, что вызвало эти слезы, больше и грустных, и теплых воспоминаний, слезы, которые подвели ее к альбомам со старыми фотографиями, на которых был изображен маленький Ярле, слезы, которые навели ее на стершиеся картины из собственного детства, слезы, которые, будто по волнам, носили ее по жизни и сопровождали мелкие и крупные события подобающими им слезами; когда она в конце концов почувствовала, что глаза у нее просохли и воспоминания на этот раз исчерпаны, она набрала номер Ярле. Ответа не было. Она набирала его несколько раз, но никто не желал снимать трубку.

Этой ночью она спала совсем мало, но, лежа под своим одеялом, в темноте собственной спальни, она приняла решение на следующий же день отправиться на самолете в Берген и посмотреть в глаза и своему внуку, и своему сыну. Мысли так и крутились у нее в голове в ночные часы, она испытала и злость бессилия, и оскорбленное достоинство, она прочувствовала и откровенное отчаяние, и радостные ожидания, и она улыбнулась про себя, представив себе грудничка, о котором ей не довелось, по неведомой причине, ничего услышать до тех пор, пока он уже не появился на свет, сморщенного младенца со слипшимися веками и крохотными беличьими ручонками, тянущимися ко рту. И с учетом всего этого совсем не трудно понять, что для Сары оказалось большой-пребольшой неожиданностью увидеть, что дочь Ярле вовсе не была новорожденным головастиком с двумя щелочками ниже лба, где время от времени что-то поблескивало, как свет далекой звезды, но девочкой достаточно взрослой, чтобы ходить уже в первый класс.

Лотта слегка попритихла сначала, когда Сара появилась в квартире. Разглядывая Сару Клепп, она таскалась по пятам за Ярле. «Приятная какая бабушка в гости приехала», — подумала она, наверное, когда увидела добрые глаза над гладкими щеками без морщин, тонкую спинку носа и теплую улыбку, которая

раздвигала губы. Но ей ведь все-таки казалось, что многовато тут всего нужно переварить, казалось ведь, наверное? Еще один новый человек? Еще с кем-то надо выстроить отношения? Или дети совсем не так думают, — может, они просто принимают мир таким, каков он есть, и ориентируются в нем, подобно тому как корабль воспринимает море, по которому плывет?

Разобравшись немного с мыслями и смущенно покрутившись рядом с Ярле, Лотта оттаяла. Она не избегала взгляда своей бабушки и в какой-то момент стала столбиком перед Сарой и сказала, что, по ее мнению, бабушка добрая, раз она из самого Ставангера приехала, — «а мама тоже из Ставангера, и папа тоже, а мы можем поехать в Ставангер, папа?»

Ярле кивнул, и по лицу дочери расплылась счастливая детская улыбка; дочь сказала, что у нее теперь есть одна бабушка, и другая, и дедушка, совсем как у ее подружки в классе Сюзанны, которая была еще и самой высокой среди девочек.

Для Сары все это было так странно. Она не знала, что это за ребенок, не знала ни как он появился на свет, ни как так случилось, что он прожил без малого семь лет, а они и не знали об этом ничего. Ведь так же не должно было быть, правда же? Сара ощутила внутри очень некстати зародившийся гнев, оскорбленное раздражение, но как она могла дать этому выход, когда перед ней стояла Шарлотта Исабель и говорила: «Бабушка, бабушка, а бабушка, а зови меня просто Лоттой?»

Напоив бабушку кофе и перекусив бутербродами, они решили подняться по подвесной дороге «Флэйбанен» на самый верх и прогуляться по горам. Погода в Бергене в тот день стояла хорошая, и бабушка переоделась в более легкую одежду, пока Ярле изо всех сил старался одеть дочь. Сара собрала тронутые сединой волосы в конский хвост, достала из чемодана пару спортивных туфель и сказала себе, что этот день — плывущий корабль, а она — пассажир на его борту и это все, что ей требуется знать. Когда она вышла из ванной, Ярле сказал, что кому-то из них придется спать в гостиной, потому что комната для гостей, в которой Сара спала в прошлый раз, теперь превратилась в детскую. «Да ведь, Лотта, это ведь твоя комната?» Шарлотта Исабель широко улыбнулась и показала бабушке новое «кресло для прыгания» и плакат «Спайс-Гёрлз», который она получила от папы, на что Сара удивленно посмотрела на сына. Лотта так обрадовалась тому, что покатается на фуникулере; у нее мурашки забегали, сказала она, когда она услышала, что они повиснут, раскачиваясь, в больших вагонах высоко-высоко над землей.

И вот они там висели. Отец, и дочь, и бабушка. Высоко над

землей по пути наверх, к вершине горы Флэйфьеллет. Когда они проплывали мимо старинных домиков квартала Скансен, Сара улыбнулась и сказала: «А вот, ей-богу же, мы, кажется, похожи друг на друга!» — на что Шарлотта Исабель широко распахнула глаза и ответила: «Ну конечно же похожи, бабушка!» Лотте казалось, что носом, хотя Ярле пробурчал что-то про глаза, но Сара была уверена, что главное тут рот, а девчушка пришла в полный восторг, когда увидела, как далеко от них земля, потому что уж чего-чего, а высоты она совсем не боялась. И когда она услышала, что там, высоко на горе, есть кафе с мороженым и лимонадом и еще кучей всего, она захлопала в ладоши и сказала, что это лучший день в ее жизни, во всяком случае до сих пор, гораздо лучше, чем когда папа болел.

— Болел? — Сара взглянула на Ярле, пока они, раскачиваясь, ползли вверх по склону.

Он метнул на Лотту молниеносный взгляд.

— Ах да, но это тайна! — поторопилась сказать Лотта.

— Ну а где же твоя мама? — спросила Сара. Она, как могла, старалась сохранить эдакий легкий и беззаботный тон.

— А она на юге, вот, — сказала Лотта и выудила из кармана брюк листок. — Вместе с отцом. — Она протянула листок Ярле. — Я забыла про это рассказать, тут номер дяди Карла и тети Иды Элисе. Мама сказала, чтобы я отдала это тебе. Ты можешь им позвонить, если надо будет. Если я заболела, или мне будет грустно, или ногу сломаю, или еще что-нибудь.

Вот так. Ярле тихонько кивнул. О'кей.

Может быть, она действительно на юге?

Может быть, головка у мадам столь фантастически безответственна, что она все же отъехала на юг?

— На юге, надо же, — сказала Сара и посмотрела на Ярле. — А ты зато можешь побыть вместе со своим папой здесь, в Бергене.

— Да, мама подумала, что пора уже мне с ним познакомиться, а отец сказал: «Господи, да давно уж пора! — Лотта засмеялась. — Давным-давно!»

Ярле и Сара обменялись взглядами. Он слегка пожал плечами.

— Но... — произнесла Сара таким естественным тоном, какой только смогла изобразить, — но... ты всегда знала, что у тебя есть здесь, в Бергене, папа?

Они добрались до вершины Флэйфьеллет. Прежде чем остановиться, вагон качнулся несколько раз, двери открылись, и Лотта выскочила на площадку.

— Нет! — Лотта развела руками, и лицо ее сложилось в гримасу, которая демонстрировала, что вот сейчас бабушка

тормозит. — Нет! Я это только во вторник узнала! Или в среду! Или, может быть, это понедельник был? Бабушка! Ты что, не понимаешь? Если бы я знала, я бы раньше приехала!

Ярле и Сара снова взглянули друг на друга, и оба подумали, что славный им достался человек, но еще оба подумали, что выросла она в странных условиях, и оба подумали, что в этом самом Шеене многое можно было и следовало делать иначе. Но Лотта так не думала. Она направилась к вершине пригорка, на котором стоял павильончик.

— А-а-а. Сначала прогулка, Лотта! — крикнул Ярле. — А потом пойдем в павильон!

Шарлотта Исабель резко остановилась, и плечи у нее опустились.

— Ну вот. Всегда так. Ну ладно. — И она побежала дальше.

Ярле пришло в голову, что Лотта сегодня не совсем такая, как в прежние дни. Она ему представлялась шустрым и легко воодушевляющимся маленьким существом, у которого путь к восторгу был недолог. Такой же она была и сегодня, но в то же время он вдруг заметил в ней какую-то напряженность, как если бы девчушка все время сама себе напоминала о том, что вот сейчас она должна радоваться, сейчас она должна смеяться. В промежутках между бурными проявлениями удивления и радости она словно бы сникала то на несколько секунд тут, то на несколько секунд там, и в глазах у нее появлялось что-то горестное чтобы вдруг снова улетучиться.

«Но странно ли это? — подумал он. — Нет. Нет, наверное, ведь девочка столько всего пережила за такой короткий срок. Как много ей пришлось узнать и усвоить нового!»

Саре и Ярле, пока девчушка сновала впереди них по лесу, представилась возможность поговорить друг с другом. Время от времени им приходилось останавливаться и разглядывать, какие такие шишки и другие фиговинки Шарлотта Исабель нашла в лесу, и выслушивать ее рассказы о том, что она там увидела. Ярле и не пытался рассказать какую-нибудь другую историю вместо той, что приключилась на самом деле. Он объяснил, кто такая Хердис Снартему, что между ними были отношения, которые «нельзя было назвать особенно глубокими», но что он довольно болезненно воспринял то, что она пару дней тому назад порвала с ним, но что теперь у него дел по горло с Шарлоттой Исабель, и, кроме того, он, пожалуй, уже и сам начинал понимать, что будущее с Хердис не сулило ничего хорошего. Когда Сара захотела узнать, кто же такая была Анетта Хансен, Ярле сказал, что да, это он и сам хотел бы узнать, и потом он рассказал о той вечеринке в 1990 году. Сара помнила эту вечеринку — потом

приходили счета за поломанную мебель и разбитые окна. И вот, значит, Ярле, что, дебютировал той ночью сексуально?

Он кашлянул.

Сара покачала головой:

— А я ничего и не знала.

— Мама, — сказал он, — я же тебе не звоню каждый раз, как я... нет ведь?

Она подтянула молнию на куртке:

— А здесь прохладнее, чем я думала. Надо же, семь лет прошло.

— Угу.

— И у тебя есть дочь. — Сара посмотрела на него. — Надо же, у тебя есть дочь. А дальше-то как будет?

— Папа, смотри!

Оба подняли глаза. Лотта стояла на большом камне. Она оттолкнулась, с воплем прыгнула вниз и приземлилась на попу.

— Молодчина, Лотта! — сказал Ярле и захлопал в ладоши. — Давай еще разок! Ну, дерзай! Лезь на камень! — Ярле заметил, что мать наблюдает за ним. — Что, мама?

— Да нет, ничего, — сказала она. — Я... просто так странно видеть тебя таким... таким... отцом.

— Да-а, — согласился Ярле. — Это очень странно.

— А тебе идет, — сказала Сара.

Он не ответил. Но подумал, что человеку многое может идти, но вовсе не значит, что ему обязательно все эти обличья должны понравиться.

— Лотта на тебя похожа, — сказала Сара.

— Серьезно?

— Угу. Похожа-похожа. Я уже много лет не видела этого. Но я вижу тебя — когда я вижу ее. Всегда хотел все знать, ни минутки не посидишь спокойно.

Ярле потер руки.

— А как дела с учебой?

Он расправил плечи:

— Да в общем все хорошо. Даже очень хорошо, если уж на то пошло. Я уже близок к тому, чтобы... ну чтобы уяснить суть проблемы. Да, я ведь написал еще статью для «Моргенбладет», я тебе об этом рассказывал? Рецензию на научную книгу о Прусте? Так вот, я ее написал. Вопрос в том, напечатают ли ее на этой неделе, вроде бы должны. А еще вот что, у меня будет другой научный руководитель. С этим мы, ну, как сказать, по-разному смотрим на вещи. И если уж говорить все как есть, то, по моему мнению, он недостаточно компетентен. Так что придется мне завтра пойти прямиком на кафедру и уладить это дело. Как ты, не

могла бы побыть с Лоттой в это время? Несколько часиков?

Сара поправила крабик в волосах.

— Да, если это все же не будет перебором для малышки, так много нового, а?

Они прошли еще несколько метров в глубь леса, следуя за Лоттой, которая уже насовала шишек во все карманы.

— Как-то мне это не особенно нравится, Ярле, если уж быть честной до конца. Чтобы мать взяла да и ничтоже сумняшеся отправила ребенка в Берген, а сама уехала на юг, и... я к таким вещам не привыкла.

Уж не знаю, как это может отразиться на ребенке; конечно, она милая и доверчивая девочка, и, по всей видимости, она от этого не страдает, но...

— Мама...

— Да нет, я просто хочу сказать...

— Мама.

Они остановились.

— Да?

— Мне это тоже не нравится. Понимаешь? Я, собственно, и не хотел бы иметь никакой дочери. Понимаешь?

— Ярле. — Взгляд Сары стал суровым. — Так нельзя говорить.

— Ладно, ладно.

— Разумеется, я завтра посижу с Лоттой. Мы можем сходить в город погулять. Бабушка уж придумает что-нибудь. А кстати, как дела у твоей соседки? Она была так мила со мной, когда я приезжала в последний раз. Помнишь, как я у нее одолжила гладильную доску? — Сара бросила на него шутливый взгляд и хихикнула.

«Как маленькая девочка, — подумал Ярле, точно как та девочка, что идет вон там впереди и собирает шишки».

— Ну да, вроде у нее все в порядке, — ответил он уклончиво. — У нее есть сын.

— Как хорошо для Лотты, — сказала Сара с удовлетворением. — Значит, ей есть с кем поиграть, когда она в Бергене.

Шарлотта Исабель вприпрыжку вернулась к ним. Карманы у нее были набиты шишками, и еще целая охапка в руках. Она с лукавой улыбкой остановилась перед своими бабушкой и папой и подняла вверх палец в знак того, что они должны следить за тем, что она будет делать. Потом Лотта вывалила все шишки на землю, все так же не сводя взгляда со своих родных. Опустилась на колени и начала выкладывать на земле узор из шишек. Добавив еще шишек, она изобразила слово «Лотта».

По дороге домой они купили в магазине игрушек пазл, выбирала его сама Шарлотта Исабель, и потом они зашли за продуктами в «Рему-1000». Сара настояла на том, чтобы заплатить, Лотта же заявила, что знает, где все лежит в магазине «Рема», ведь в нем работает ее мама, только в Шеене, а не в Бергене.

Лотта расправила плечики, глаза у нее гордо засияли, и она потащила папу и бабушку к полкам, объясняя, что вот здесь у них варенье, а здесь мед, а здесь чипсы. Но после недолгого триумфа девочка растерялась, потому что ни подгузников, ни кофе не оказалось рядом с теми товарами, возле которых их выкладывали дома. Она с недоумением огляделась, попробовала заново сориентироваться, пробормотала, что они же должны были лежать здесь, а потом сказала, смутившись, что, может быть, они тут все и переставили, но вот супы, поторопилась она сказать громко и отчетливо, где стоят супы, она, во всяком случае, прекрасно знает. «Идем, бабушка, я тебе покажу и супы, и бульонные кубики». Она схватила Сару за запястье и потянула ее к длинному прилавку напротив того, где была выложена нарезка. Но супов там не было, равно как и бульонных кубиков.

Пока все это происходило, Ярле вглядывался в ее лицо. Он смотрел, как она сначала с гордой улыбкой указывала дорогу и кричала: «Вот, бабушка, вот здесь супы!» — и как она потом вдруг закусил пухлую губку, и как забегали у нее глаза, когда она обнаружила, что перед ней стоят лимонады, соки и пиво. Ему показалось досадным, что этот магазин «Рема-1000» не уважил желаний Лотты; он отметил, как ему стало жалко дочь, когда магазин, так сказать, провел ее и растоптал ее гордость, и он даже покраснел за дочь, почувствовав, как ей, должно быть, обидно, что она так ошиблась.

Когда из-за двери возле автомата для приема пустых бутылок вышла кассирша, Лотта застыла на месте, не сводя взгляда с двери, которая так и продолжала раскачиваться взад-вперед, пока не остановилась. Глаза у девочки стали такими большими, будто она ждала, что оттуда выйдут еще люди. Постояв так какое-то время, она повернулась к Саре и Ярле:

— А вы знаете, что за этой дверью?

Ярле сдвинул брови.

Сара заинтересованно посмотрела на дверь:

— Нет, Лотта, понятия не имею.

— За этой дверью... — сказала Лотта с торжествующим видом, — за этой дверью сотни, нет, тысячи бутылок.

— Да? Правда? — Бабушка кивнула с таким видом, будто узнала нечто важное, как показалось Ярле.

— Угу, — произнесла Лотта, не разжимая губ, — и, скорее всего, бабушка, скорее всего, там комната отдыха, где те, кто здесь работает, могут немножко расслабиться.

Сара кивнула и сказала, что это разумно, после чего Лотта с жаром объяснила, что вход туда воспрещен, но что в Шеене ей несколько раз довелось там побывать, но только потому, что ее мама там работает.

— Когда они пришли домой, Сара настояла на том, чтобы приготовить еду, ведь Ярле никогда не славился своей стряпней, сказала она и засмеялась, и тогда Шарлотта Исабель тоже засмеялась, потому что уж стряпней своей папа не мог прославиться, нет, и ее отец тоже не мог, потому что это ее мама каждый день готовила дома, и она на это жаловалась все время, отец же всегда говорил, что пожалуйста, пусть она с ним поменяется и рабочими часами, и самой работой, а он тогда будет кашеварить, если она думает, что так получится намного лучше.

Ели они курицу с рисом, и Сара подавала обед в переднике, который она сама уложила в студенческий рюкзак Ярле семь лет тому назад. Лотте все показалось очень вкусным, и они видели, как она обмакивала кусочки в соевый соус и с каким аппетитом съедала их.

После обеда Сара сказала, что теперь Ярле может идти заниматься. Она отодвинула стол в гостиной в сторону, свернула коврик и махнула своей внучке, чтобы та шла к ней, потому что теперь Лотта и бабушка будут складывать пазл.

Ярле уселся позади них на стул, с исследованиями Адорно о Гегеле. Он сказал себе, что пора посмотреть действительности в глаза. Это всего только одна безумная неделя в длинной жизни. И она скоро промчится. Через какие-нибудь несколько дней отдыхающие вернутся с юга чартерным рейсом, и Шарлотта Исабель исчезнет за семью морями. Какой смысл так из-за этого переживать? А пока вполне достаточно того, что есть, — плаката «Спайс-Гёрлз», и зеленого круга на стене, и приезда бабушки.

Теодор В. Адорно, да.

«Skoteinos, или Как следует читать Гегеля».

Это энигматическое эссе непревзойденного мастера франкфуртской школы, эссе, в котором он блестяще истолковывает гегелевские тексты, и аплодирует им, и вычитывает в них сопротивление и амбивалентность. Это отрадно беспардонное и глубокое эссе великого Адорно в последние месяцы просто восхищало Ярле. Оно сияло, часто думалось ему, это эссе, оно сияло светом двусмысленности, блеском неясности, счастьем туманной неопределенности!

Он пристроился перечитать его еще раз, не торопясь, как Адорно советовал читать Гегеля, следуя словам Адорно о том, что необходимо развивать в себе интеллектуальную процедуру слоумоушн — снижать темп чтения на туманных фрагментах текстов, дабы они не оказались пропущенными взглядом, но дабы взгляд сумел выявить их собственное продвижение.

Он читал.

Гм.

Что же тут, собственно говоря, было написано?

Что касается Гегеля, писал Адорно, невозможно знать, о чем идет речь.

Ярле поднял глаза от книги. На полу перед ним на животе лежали две дамы и, перекладывая кусочки пазла, пытались найти то место, куда их нужно было уложить.

Он попробовал читать дальше.

Что касается Гегеля, невозможно знать, о чем идет речь.

Ярле отложил книгу в сторону, как-то даже с обидой, — такое у него было ощущение, хотя он не смог разобраться в собственных мыслях. Он отложил ее в сторону, чувствуя сильную досаду в руках.

— Смотри, бабушка, — услышал он голосок Лотты, — а этот кусочек не от корзинки с яблоками, которую держит тетенька на рынке?

Бабушка взяла кусочек в руку и сдвинула очки на кончик носа:

— Да, похоже, что так, Лотта. Ну ты и молодчина!

Ярле присел на корточки рядом со своими девочками.

— Пожалуй, поздновато сегодня читать, — сказал он. — Я лучше с вами поиграю.

И Ярле улегся на живот на полу и стал укладывать кусочки пазла, на котором были изображены люди на рыночной площади перед церковью в большом европейском городе.

Вечером в этот вторник укладывать Лотту в постель пришлось долго. Ее уже потянуло в сон; належавшись молча и сосредоточенно перед пазлом, она разругалась, но перевозбудилась и переутомилась.

И у маленькой девчушки из Шеена вдруг оказалось так много дел, которые ей просто необходимо было сделать сейчас, и так много вещей, которые ей просто необходимо было сейчас рассказать. Ей нужно было немножко поскакать на диване Ярле, «Можно ведь, да?» — и ей нужно было пощупать пакеты с подарками, «Правда ведь можно?» — и ей обязательно нужно было нарисовать новую картинку, чтобы там была и бабушка тоже. Она болтала о том, что, как она думает, ей подарят на

деньрождение в четверг и о гостях, которых папа, конечно же, позвал на ее праздник, «Да, ты-то там, конечно, будешь, бабушка?» — и она рассказала о своих бабушке и дедушке из Ставангера, тех, что живут в домике недалеко от аэропорта в Суле, потому что у них в саду — у нее там ее собственные качели, только ее, вот как, дедушка сам их сделал, но его очень жалко, дедушку, потому что у него какой-то там радикулит и из-за этого он теперь все время сердится. Но с той бабушкой зато все в порядке, сказала Лотта, она все еще может ходить на работу на молокозавод, и разгадывать кроссворды, и печь кексики, и вообще.

Когда они наконец смогли спровадить ее в ванную и Лотта почистила зубы и надела новую пижамку, Ярле и Сара спели для нее. Ярле с запинкой проурчал некую версию песенки Пеппи Длинныйчулок, в которой Шарлотта Исабель все время приходилось поправлять текст, а Саре пришлось хорошенько порыться в памяти, чтобы воспроизвести старинные детские песенки тех времен, когда Ярле был маленьким. Шарлотта Исабель смеялась, когда бабушка пела «Я знаю прекрасное море», потому что эта старинная песня была такая чудная, но, когда Сара сказала, что она может и не петь ее, Лотта посерьезнела и объяснила, что она смеется не потому, что песня ей не нравится, а потому, что нравится, и она бы очень хотела, чтобы бабушка спела ее еще раз.

— Бабушка, — спросила Лотта, очутившись наконец под одеялом, — а каким был папа, когда он был маленьким?

Сара улыбнулась:

— Ну, каким таким был папа, когда он был маленьким... — Она окинула Ярле взглядом. — Да, пожалуй, он был ну совсем таким же, какой сейчас. — И добавила: — И еще он был очень похож на тебя.

— Ой! — Казалось Лотта была довольна таким ответом.

— Ну вот, — сказала Сара тоном, который Ярле показался многоопытным, укрывая внучку одеялом, — а теперь пора укладываться.

Потом Ярле уселся на краю матраса и продолжил сочинять сказку, которую придумал давешним вечером.

— Принцесса, которая не хотела быть принцессой, шла и шла через леса, и горы, и глубокие долины, пока не пришла в одну деревушку, — рассказывал он размеренно, как сказочник. — Там она остановилась и присела отдохнуть. Устав после долгого пути, она сбросила туфельки, чтобы пошевелить пальчиками на ногах и дать подышать ножкам, которые так и гудели после дороги длиной в несколько миль. «Может быть, мне остаться жить здесь,

в этой маленькой деревушке на дне долины?» — подумала принцесса, которая не хотела быть принцессой, и огляделась по сторонам. И что же она заметила в этой маленькой деревушке на дне долины? А, что же она такое заметила? У принцессы, которая не хотела быть принцессой, мурашки побежали по спине и сердце у нее так — и забилося, потому что что же она увидела?

Шарлотта Исабель лежала под одеялом, и глаза у нее были большие-пребольшие.

— А что она увидела, папа?

Ярле задумался.

— Что она увидела, папа? Скажи скорей! Скажи!

Ярле лихорадочно соображал. Он никак не мог придумать, что же такое увидела принцесса. Ведь это он просто так сказал, про то, что у нее сердце так и забилося, чтобы история получилась более захватывающей. Он же никакой не сочинитель на самом деле, и уж во всяком случае не детский писатель, и не слишком хорошо подготовлен к такому занятию.

— А вот попробуй сама догадаться пока! — сказал он бодро. — А я тебе завтра расскажу!

— Нет, папа! — Лотта рассерженно села в постели. — Папа! Ты мне сейчас должен сказать!

— Ну ладно, — сказал Ярле и почувствовал, что перед ним опустился железный занавес. — Ну ладно. Ляг только, и папа расскажет, что было дальше. Я только сначала в туалет схожу. И сразу вернусь.

— Эй, папа! Ты только недолго!

Он поскорее вышел в гостиную и закрыл за собой дверь. Сара сидела перед телевизором, и он быстренько рассказал ей, в чем дело. Вот есть принцесса, которая не хочет быть принцессой. Она приходит в деревню, которая находится в долине. Видит что-то, из-за чего сердце бьется и мурашки бегают по спине. Сара уставилась прямо перед собой и задумалась:

— Да уж, что же это такое может быть? Лиса или, может быть, медведь?

Ярле вздохнул:

— Нет, как-то это все... как-то это все по-дурацки звучит. Медведь, ну и что? Вау! Медведь!

— Нет, пожалуй, — согласилась Сара. — А что же это тогда должно быть?

Пока мать и сын стояли в гостиной и пытались решить ребяческую, но важную проблему, из комнаты Шарлотты Исабель отчетливо слышались некие звуки. Приглушенные, ритмичные и отчаянные рыдания. Они посмотрели друг на друга. Сара нахмурила брови и поднялась с дивана. Они зашли в комнату к

девочке. Лотта лежала на животе, плакала, и ее спина вся содрогалась от рыданий. Ярле недоуменно пожал плечами и шепнул Саре, что он понятия не имеет, что случилось. Он присел на корточки, попытался перевернуть Лотту на спину, но она не давалась. Сара попробовала спокойно поговорить с ней, спросила, что случилось, пусть Лотта расскажет папе и бабушке, но та не захотела и спряталась под одеяло, сердитая и рыдающая.

Ярле снова прошептал, что понятия не имеет, что такое происходит, а Сара просверлила его взглядом и сказала, что вот так и бывает, когда люди отправляют своих детей в Берген, не подумав как следует.

— Да, так и что, и в этом тоже я теперь виноват, что ли? — Ярле так же сердито посмотрел на нее.

— Ребенок страшно перевозбудился, Ярле.

— Что значит — перевозбудился? Ну, может, и так, откуда мне-то знать?

Голова Шарлотты Исабель высунулась из-под одеяла — щеки мокрые, глазенки покрасневшие.

— Вы такие же дураки, как мама и отец, вы оба, — сказала она, всхлипывая, — и нет вовсе таких принцесс, которые не хотят быть принцессой, это все знают, и ты тоже знаешь, папа, ведь ты со мной смотрел про Диану, и ты это знаешь, и не хочу я никакого нового папу и бабушку никакую не хочу, я хочу домой, не хочу я лежать в этой дурацкой комнате в этом дурацком городе, и вы что, думаете, я давно уже не поняла все? Думаете, я уже это давно не поняла? Не поехал никто ни на какой юг, потому что нет вовсе никакого юга, все это глупости, и Лотта давно поняла это, это просто отец ушел, и не на юг, а от мамы.

Мы должны сделать для Лотты что-нибудь здоровое, что-нибудь позитивное, говорит бабушка, и Ярле уходит на встречу с Робертом Гётеборгом, предполагая, что увидятся они в последний раз

После того как безутешная Шарлотта Исабель, наплакавшись, заснула вечером в страхе, что никогда больше не увидит своего отца, Ярле и Сара посмотрели в новостях сюжет о том, что в посольствах, консульствах и ратушах по всему миру выложены книги соболезнования по случаю кончины принцессы Дианы. Никогда раньше ни один человек не вызывал такой симпатии у простых людей, сказал репортер, и показали кадры, отснятые в Лондоне, в Сиднее, во Франции, в Дании и в Норвегии. Нескончаемым потоком люди шли, чтобы оставить записи, и было действительно трогательно, вынужден был признать Ярле, насколько это событие смогло сплотить людей в самых разных уголках земли. Неумно, разумеется, что он и высказал матери, но также и трогательно. И как-то это было не совсем объяснимо. Метафорически трогательно, попробовал он придумать определение и пошел распространяться о том, что, вероятно, это не сама принцесса Диана послужила причиной такого всемирного потока слез; очевидно, по щекам всего света стекало ровно столько же метафорических слез, вызванных экзистенциальной потребностью поплакать.

— Экзистенциальной потребностью поплакать? — Сара опустила на колени вязанье, которое захватила с собой.

— Угу. Неким культурным ропотом. Болезненностью существования.

Она посмотрела на него:

— Болезненностью существования? — И вновь принялась за вязанье.

— Нда-а, — сказал Ярле. — Сублимация плача, если можно так выразиться. Горе и его проекция. Трагедия собственного существования, которой человек теперь оказывается в состоянии по-ницшеански или по-шопенгауэрски посмотреть в глаза, потому что при этом для человека оказывается возможным осознать всю скорбь жизни и потерять почву под ногами, в этой журналистской истории находит выход все затмевающая безысходность.

«Такое за последние годы случалось не раз», — подумала Сара и не стала комментировать сказанное Ярле. Она помнила,

как он в начале девяностых годов, в университете Бергена меньше полугода, едва познакомившись с жизнью академической элиты и влюбившись в нее, вихрем ворвался в дом, приехав на рождественские праздники, и издевательски посмеялся над ней, когда она сказала, как ей ужасно нравится голос Габриэля Гарсия Маркеса. «Голос! — воскликнул Ярле. — Голос!» Она что, не знает, что литература — это *письменный жанр*? Она что, не понимает, что бродит по иллюзорному минному полю неверных представлений, связанных с восприятием литературы, всех тех представлений, что основываются на многолетней традиции неуклюжей метафорики голоса, перенесенной на медиум — литературу, — который в действительности является *письменным*. Письменным!» Еще Сара помнила, как он годом позже приехал домой, на этот раз обкорнанный под ноль, и тяжело вздохнул, когда она рассказала ему о ядре, посыле и глубинной сути прочитанного ею, когда она этой весной вновь открыла для себя одного из любимейших авторов своей юности, Диккенса, и его «Большие ожидания». Во-первых, сказал тогда Ярле удрученно, пора бы уж ей было давно пройти *стадию Диккенса*, ей все-таки скоро уж стукнет пятьдесят, но это уж ладно, может сама выбирать, тратить ли ей свое драгоценное время на Пауля Целана или Чарлза Диккенса, но что она до сих пор продолжает выражаться в терминах «ядра», «посыла» и «глубинной сути», от этого у него действительно может начаться депрессия. Он просто не мог этого не сказать. Неужели она не знала, что отсутствие ядра уже заключено в самом ядре, что не-сущностное вписано в сущностное? И если она не могла понять этого, могла же она тогда по меньшей мере уяснить и осознать, что разговоры об «авторском посыле литературного произведения» являются фундаментально редуccionистскими?

Редуccionистскими? Сара теперь вспомнила, что она тогда, в самом начале девяностых, сказала: «Я не знаю, что это такое», а Ярле тогда хлопнул себя по лбу и сказал: «Но думай же хоть немножко-то этой своей менопаузальной горошиной на верхушке шеи, что у тебя вместо мозга!» Год за годом с этими академическими завихрениями. Год за годом с неофитскими идеями. Приезжая домой, он притаскивал с собой одну теорию за другой, он советовал ей заочно получить филологическое образование, чтобы не так сильно сказывалась менопауза, и с того светлого пути, что виделся ему годом раньше и на который она послушно и с пониманием долга пыталась вступить при помощи чтения статей, копии которых он для нее снимал, при помощи книг, которые он ей дарил ко дню рождения и к Рождеству, — Рембо, Целан, Беккет и Ульвен^[21], — с этого пути он на

следующий год сошел ради новой, абстрактной до невероятного земли обетованной. И тот факт, что он теперь пытался убедить ее в том, что люди, в общем-то, оплакивали не саму Диану, но собственную незадавшуюся жизнь или же фундаментальную трагедию человеческой жизни вообще, ее не удивил. Она привыкла разделять Ярле, влюбленного в теоретизирование и анализирование, и мальчика, ходившего по грешной земле и пытавшегося понять, кто же он такой. Она всегда думала, что однажды это у него получится, и она всегда надеялась, что он не настолько далеко забредет в академические туманы, чтобы не отыскать пути назад.

Сара никоим образом не собиралась этого педалировать, потому что уж если что она и поддерживала, так это желание Ярле учиться, и уж если что она и уважала, так это знания, образованность и ученость. Сара до боли хорошо знала, насколько это может оказаться важным, поскольку сама закончила только неполную среднюю школу и на своем опыте испытала, с какими проблемами может столкнуться на жизненном пути человек без образования. Но тем не менее. Случалось, она задавалась вопросом, так ли уж много хорошего в том, что изучает Ярле. Она надеялась, что по крайней мере в более или менее отдаленной перспективе это позволит ему найти работу, но, когда она иногда спрашивала Ярле, кем же он, собственно говоря станет изучив эти свои предметы — философию, и литературу, и религиоведение, он только закатывал глаза. Что, мыслить — это не работа, что ли? Или она, может быть, думает, что учиться — это не работа?

А если она имела в виду место работы, то он, *разумеется*, найдет себе *место работы*. А она как думала?

Может, она думала, что норвежское государство так вот, с бухты-барахты, позволит целой ораве людей глубоко постигать гуманитарные науки, если потребности в таких людях вовсе и нет? Неужели ей не ясно, что умение мыслить и знания — это редкий товар в современной жизни, и тем самым они будут колоссально востребованы в постиндустриальном обществе?

Ну хорошо, хорошо. Нет, конечно, она так не думает, упаси бог.

Все это совершенно замечательно звучит, сказала Сара. Но она так и не поняла, что же отвечать людям, когда они спрашивают, кем он будет.

— Говори, что я буду человеком, — сказал тогда Ярле. — Посмотрим, что тогда скажут эти дуралеи.

Сара вспомнила жуткую ссору как-то под Новый год. Когда же это было — в 93-м? 94-м? К ней тогда приехал погостить ее новый

ухажер — мужчина, которого Ярле инстинктивно невзлюбил, кажется, просто потому, что тот был ее ухажером, так полагала Сара, но это ладно, это к делу не относится. Ульрик, так его звали, Ульрик Крогеланн в семидесятые-восьмидесятые годы довольно много времени отдал получению образования и в те предновогодние выходные у Сары сидел и разглагольствовал о днях своего студенчества, к бесконечному раздражению Ярле.

— Нда, — сказал тогда Ульрик, откинувшись после сытного обеда с индейкой на спинку кресла, нда, Ярле, когда я теперь, через много лет после того, как выбрался из кокона, как некая академическая куколка, и превратился в ту бабочку, которой теперь и являюсь, думаю о всей той чепухе, которой меня тогда учили, мне становится грустно, по большей части.

Ярле, которому Ульрик Крогеланн представлялся грушеподобным остолопом и которому казалось прямо-таки отвратительным, что такой помпезный идиот, такой законченный кретин разделяет ложе с его мамой, пытался как-то сдерживать раздражение. Он не сводил взгляда с поверхности стола; при мысли о том, что этот надутый придурок сношался с его нагой матерью и делал с ней невыразимые вещи, лапал ее своими омерзительными пальцами, наваливался на нее своим пресмыкающимся телом, его одолевало ощущение, близкое к рвотному позыву; и он не стал ничего на это высказывание отвечать. Но Ульрик пошел и дальше развивать свою не привлекающую должного внимания попытку донести до масс жизненную мудрость:

— Нда, Ярле, у меня появляется такое чувство, будто я нахожусь в помещении с какими-то напудренными женщинами, которые всю жизнь провели перед зеркалом, старыми женщинами, которые никогда не делали ничего иного, как только сидели там, поглощенные собой, интересующиеся только собой, расфуфыренные, и пялились на свое отражение, стараясь приукрасить невнятное содержание. Да, теперь это меня просто печалит, Ярле, меня раздражает такая смехотворная заикленность на самих себе, такое непробиваемое самодовольство, то, что взрослые мужики — чаще всего именно мужики вызывают во мне мысли об этих загримированных женщинах — могут переливать из пустого в порожнее до бесконечности, год за годом, год за годом, и при этом пользоваться уважением, занимать положение в обществе, наслаждаться вином и большеглазыми юными женщинами под тем соусом, что они делают вид, будто их интересуют умные вопросы — познание там, истина, может быть, идентичность, кто его знает, в то время как интересуется их только одно: как бы

выглядеть покрасивее своих братьев. Да, теперь меня это только печалит и раздражает, Ярле, и меня это страшно сердит. Ужасно сердит. Это просто какое-то всемирное надувательство, это самовозвеличивание, возведенное в хитроумную систему. Я этого больше и на дух не переношу. Подумать только, что я и сам мог бы уже много лет заниматься тем же. А, Сара? Можешь себе представить? Нет, все это нужно отправить на свалку истории, говорю я. Смести всю эту шелуху с лица земли.

Сара заметила уже, что Ярле сидит и весь кипит; Ульрик же продолжал:

— И вот ты спрашиваешь меня, Ярле, почему я забросил занятия в университете, и расстался с этим местом, и больше никогда — никогда — туда ни ногой и почему я более чем счастлив и удовлетворен, занимаясь коллекционированием формы зарубежных футбольных команд и водя такси? Теперь-то понял почему? Теперь-то ты видишь, что я уже стал бабочкой?

Ярле в тот вечер ушел в паб. Напился вдрызг из отвращения к Ульрику Кругеланну и долго распространялся перед случайно подвернувшимся барменом об одном слизняке-таксисте, унижающем его мать. Саре же пришлось объяснять Ульрику, что он, возможно, обидел влюбленного в философию юношу, — каким он и сам когда-то был.

Так что все это для нее было не ново. Она давно уже не спрашивала сына о том, кем же он собирается стать. Она давно уже перестала напоминать ему о взятом образовательном кредите, который разросся до невероятных размеров. Но она не перестала беспокоиться о сыне.

В гостиной у Ярле постукивали вязальные спицы Сары — знакомый звук, который вернул его в прошлую жизнь, на многие годы назад.

— В любом случае... — сказала Сара и поднялась, — в любом случае, что бы ты об этом ни думал, завтра я собираюсь сводить ребенка в ратушу.

— Гм? — Ярле открыл балконную дверь и вышел покурить. — Что ты говоришь?

— Говорю, что я собираюсь сводить твою дочь в ратушу, посмотреть, не лежит ли у них там книга соболезнований по случаю смерти принцессы Дианы. Мы должны сделать для Лотты что-нибудь здоровое, что-нибудь позитивное.

Ярле облокотился о перила балкона и посмотрел вниз. Оперся руками, втянул дым. «Нда, — думал он и чувствовал, как мир вокруг чернеет. — Черт знает какой стресс».

Что-нибудь позитивное? И теперь, конечно, оказывается, что ребенок страдает. Ребенок растет в семье, переживающей развод,

и там происходят ужасные вещи. За всем смехом, и всеми улыбками, и всеми восторгами, которыми его заманили в западню, кроется полнокровная трагедия развода. Вот что ему сбагрили на руки. Вот что лежит там у него на матрасе и плачет. Разбитый горем ребенок. И кто, к дьяволу, мог знать, что на самом-то деле происходит в этом их Шеене?

Откуда ему знать, может, этот тип, Трунн, поколачивает Анетту.

— Ярле, ты слышишь меня?

Он выпустил дым и кивнул.

— Тогда я ее завтра туда веду. И мы распишемся в книге соболезнований. Пока ты будешь в университете.

Сара вышла на балкон и встала сзади.

— А ты — ты можешь выбирать, стоять ли тебе вот так, клясть судьбу и дуться или попробовать дело делать. Ты нужен своей дочери независимо от того, сколько бы экзистенциальных, по твоему мнению, слез ни проливалось на земле. Спокойной ночи, Ярле. Поспишь в гостиной.

«Госсподи, — подумал он. — Она со мной разговаривает, словно я маленький ребенок».

За ночь небо над Бергеном затянуло тучами, и на следующее утро они тяжело свисали между горами и обеспечивали отъявленно дождливую погоду. Шарлотта Исабель долго не просыпалась, а когда встала, была не в настроении и не жаждала общаться. Сара приготовила ей завтрак, сделала бутерброды с печеночным паштетом и вареньем, разрешила их пополам и не приставала к внучке с расспросами. Она дала девочке поесть не торопясь; та вяло держала бутерброды ручонками и едва шевелила челюстями; сама же Сара улыбалась со всей теплотой, на какую была способна. Потом Сара отвела Лотту в ванную, где обе они почистили зубы, показала на наклейку с собачкой на зеркале и сказала, что собачка просто чудная. Ярле все еще спал на диване в гостиной, и через четверть часа бабушка опустилась на корточки в коридоре и помогла Лотте надеть плащ.

— Вот так, — сказала она и улыбнулась. — Пусть теперь идет сколько хочет.

— Кто?

— Дождь, Лотта.

— Все-таки не надо называть меня Лоттой, — сказала девчушка, надув губы.

— Гм. — Сара улыбнулась и погладила ее по головке. — Ну что же, ладно. Ты не обязана разрешать называть тебя этим именем кому угодно. Давай так сделаем: когда ты решишь, что

бабушке можно называть тебя Лоттой, ты мне скажешь. А до тех пор я буду тебя называть Шарлоттой Исабель.

Девочка кивнула: — просто Шарлоттой. А потом Лоттой, позже.

— Да. Так и сделаем, — сказала Сара, и ухом не поведя, будто она полностью разделяла логику девочки. — Ну, иди скажи папе пока. Ему нужно в... на... на работу.

Девочка пошла в гостиную. Она остановилась перед Ярле, лежащим спиной к ней, зарывшись лицом в диванные подушки. Она тихонечко покачала головой и вернулась в коридор.

— Он сегодня устал, бабушка, — сказала она. — С отцом такое тоже бывает время от времени.

Бабушка и внучка шли по улицам Бергена. Сару при этом не покидало какое-то неприятное чувство. Ей в этом чудилось что-то нехорошее, какая-то фальшь, что ли, — в том, что ей приходится брать на себя ответственность за ребенка, с которым она едва была знакома, за ребенка, следить за развитием которого с первого дня ей не довелось. Ее не было рядом, когда эта девочка ходила в подгузниках, ее не было рядом, когда Шарлотта Исабель впервые сумела написать свое имя, и она не видела, как у нее выросли первые зубки, как она научилась плавать, научилась кататься на велосипеде, трехколесном и двухколесном, как она входила в мир. Не случилось ей позволить малышке укунить себя за палец в годовалом возрасте. Ей на руки ребенка сдали на семь лет позже, чем надо бы, и как-то это было неправильно. Еще у Сары было такое ощущение, будто она вторгается в уклад жизни других людей, как если бы она расхаживала по дому, к жизни в котором она, собственно говоря, не имела никакого отношения.

Когда они зашли в ратушу, Сара отвела девочку в сторонку и они уселись рядом на белые стулья, стоявшие у стены.

— Шарлотта Исабель, вот что. Как ты думаешь, ты можешь немножко послушать, что тебе бабушка скажет?

Шарлотта Исабель кивнула.

— Замечательно. — Сара достала из сумки упаковку жевательной резинки, достала пластиночку жвачки, разделила ее пополам и дала кусочек Лотте, а другой взяла себе. Потом она улыбнулась и сказала: — Я не знаю, что у вас там случилось. У отца с матерью. И у тебя тоже. Но я рада тому, что я твоя бабушка.

Лотта смотрела в пол.

— Не нужно об этом говорить, — прошептала она.

— Нет, — сказала Сара спокойно, — этого нам не нужно. Совершенно верно. Но бабушке хочется сказать еще кое-что, совсем чуть-чуть, и потом мы пойдем и напишем что-нибудь

Диане, хорошо?

Лотта кивнула.

— Я рада, — сказала Сара и почувствовала ком в горле, — что я твоя бабушка. И единственное, что я хотела сказать, — это что если тебе будет грустно или если тебе будет жалко себя, то это вполне понятно. И если тебе нужно будет поговорить о чем-нибудь, то ты можешь, если подумаешь, что это поможет, обращаться ко мне. А если тебе не захочется вообще ни о чем разговаривать, а просто поскладывать пазл или поиграть во что-нибудь, то и это тоже хорошо.

Лотта всхлипнула.

— Ну что, договорились? Договорились, хорошо?

— Да.

— Замечательно, — сказала бабушка Сара. — А теперь идем к Диане.

Раскрытая книга соболезнований лежала на изящном столике, покрытом скатертью. Рядом стояла фотография принцессы. В очереди перед Сарой и ее внучкой оказалось четыре человека — две девочки-подростка, пожилая дама с вьющимися волосами, в красной шапочке, и женщина за тридцать. Пока очередь двигалась, они обсуждали, что же им написать.

Сара сказала, что Шарлотта Исабель должна написать ровно то, что она хочет сама, но Лотта возразила, что пусть бабушка посоветует что-нибудь, потому что она гораздо лучше умеет писать, чем Лотта. Речь не о том, кто как умеет писать, возразила Сара, но о том, что Шарлотте Исабель нравилась Диана, но о том, что она сама должна сказать то, что пожелает.

Когда подошла их очередь, Лотта взяла ручку, как следует обхватила ее пальчиками и сжала зубы. Она писала долго-долго и написала: «Дорогая Диана». Тут она остановилась и посмотрела на бабушку:

— А ты не можешь за меня написать, бабушка?

Сара кивнула и взяла у нее ручку:

— Ну конечно могу. А что ты хочешь, чтобы я написала?

Лотта прикусила губу и задумалась.

— Э-э-э... — Она переступила с ноги на ногу. — Напиши: «Может быть, ты была принцессой, которая — не хотела быть принцессой. А может, и нет. Я считаю, очень жалко, что ты умерла. Обнимаем, бабушка и Лотта».

Сара кивнула и написала.

— Только знаешь что, бабушка? Как ты думаешь, наверное, от папы тоже нужно написать?

Сара кивнула:

— Да. Почему бы и нет?

И Лотта добавила:

— Ты тогда напиши: «И папа тоже обнимает».

Побывав в ратуше и оставив в книге соболезнований свое личное послание, бабушка Сара сказала, что хочет сводить внучку в кондитерскую, но Лотта не знала, что это такое, — это аттракцион такой? Сара засмеялась и объяснила, что это такая специальная булочная с кафе, и Шарлотта Исабель нашла, что это супер, потому что уж если она что и любит, заявила она, так это булочки, и ее мама, кстати, тоже.

А когда они вошли в одну из старейших кондитерских Бергена, Лотта вдруг остановилась:

— Когда я летела на самолете, бабушка, то я уже поняла, что мама с отцом не собираются на юг. А теперь мне кажется, что я еще больше поняла. Я думаю, что они собираются развестись и что я теперь буду дитя развода, как в прошлом году стала Катрина из моего класса.

— Знаешь что, Шарлотта Исабель? — Сара сняла плащ, повесила его на вешалку, поставила рядом зонтик и развязала завязки плаща на шейке у внучки. — Знаешь что? Мы сейчас купим себе по булочке. И лимонаду. И может быть, еще по одной булочке. А потом ты постарайся думать о том, что твои родители — это твои родители, что бы ни случилось, и что они наверняка разберутся в том, как им лучше поступить. И кто знает, может быть, ты сходишь потом с бабушкой в библиотеку и мы возьмем там книжек?

— Угу, — сказала Шарлотта Исабель.

— Вот и хорошо.

— Бабушка, а бабушка!

— Мм?

— Ты все-таки можешь меня называть просто Лоттой. Я передумала. Просто я тогда немножко рассердилась.

— Договорились, — сказала Сара. — Лотта.

— А знаешь что, бабушка, ты, вообще-то, очень даже похожа на принцессу Диану, правда.

Лотта улыбнулась, и бабушка увидела, что между зубами у нее широкая щель, и она подумала, что детишки — сильные люди, но это не значит, что взрослым людям позволено обращаться с ними как с ненужными вещами.

За годы, проведенные в университете Бергена, Ярле часто приходила в голову мысль, что его дело — это выражать словами то, что все люди знают. Эта мысль отчасти успокаивала, а отчасти и изводила. Успокаивала, поскольку она выявляла универсально необходимое в его труде и предавала ему легитимность. Ведь,

значит, он, как ни крути, трудится для всеобщего блага, а не только для себя. Ведь, значит, жизнь в мире мысли служит на благо также и миру копателя канав, и миру электрика. Изводила же она потому, что иногда у него возникало ощущение, что то, чем он занимается, — это риторические выверты. Если эпистемология является учением о знании и познании, то почему ее необходимо облекать в оболочку такого корявого слова, как «эпистемология»? В те периоды его многолетнего университетского существования, когда он в наибольшей степени ощущал уважение к своей собственной работе и к академическому миру вообще — вот как теперь, когда он с большой уверенностью в своих силах трудился над ономастикой Пруста, — он никогда не сомневался в ценности изобретательного и богатого словами выражения того, что знают все люди, и что таковое словесное выражение, если оно должно представлять собой нечто большее, чем тему для болтовни за чашкой кофе, должно осуществляться на соответствующем современному этапу развития уровне. Жонглирование соответствующими понятиями доставляло ему огромную радость, и он радовал и других в своем собственном мире своим владением этими цирковыми кунштуками. В другие же периоды, когда уважение и к своему собственному, и к чужому труду ослабевало, ему казалось, что все это не что иное, как злорадно-торжествующий способ группки людей вознестись над другими. Временами Ярле был не в состоянии разглядеть иного аргумента в пользу именования учения о знании и познании эпистемологией, чем тот, что остальные. Карл Ивар, вместе с которым он учился в школе, тот самый, который теперь работал в службе дорожного хозяйства; Энни, вместе с которой он когда-то учился в школе, та самая, что теперь торговала в газетном киоске, — не поняли бы этого слова. Академическая радость оттого, что другие не смогут этого понять, думал Ярле в такие периоды, — это то имплицитное знание, которое доступно всем членам научного сообщества и которое составляет один из приводных механизмов всей академической системы.

Таким образом, время его учения было отмечено и горделивой радостью, и тревожной утратой иллюзий.

В периоды горделивости — такие, как он переживал в этот момент, — Ярле видел в мельтешении ученых коллег украшение города Бергена. Он находил тогда возможность рассматривать самого себя как часть той весомой традиции, которая поднимала уровень населения не только в городе Бергене, но и во всей стране.

Эти утонченные молодые люди, в пиджаках, с папкой под

мышкой, тянущиеся к знаниям, к научному мирозерцанию, к мудрости, составляют своего рода аристократию, казалось ему. Ему казалось, что и он входит составной частью в эту своеобразную аристократию, и он чувствовал, как от этого выше задирается его подбородок, когда он вместе с другими студентами пересекает площадь Торг-алменнинген. В менее горделивые периоды все это казалось ему тягостным. И как только государство и общество позволяют им из года в год болтаться там и изучать одну за другой все более непонятные и бесполезные темы, как только государство и общество, и даже прочие граждане этой страны, идут на то, чтобы студенты дефилировали перед ними, задрав подбородок, и тратили свое время на эту снобскую ахинею, эту академическую говорильню, эту духовную ерундистику? Ему делалось неловко от этой мысли. «А вот представить только, — говорил он себе, — вдруг все остальные нас разоблачат? Только подумать, вдруг народ, который и так уже почувствовал, что тут не все ладно, обнаружит, что мы, студенты, и наши преподаватели практически ничего не привносим в общественный миропорядок? Только представить себе, что они обнаружат: пока они строят дома, поддерживают тепло в жилищах, подают кофе, и чай, и еду, и воду, мы тут сидим себе и делаем мир еще более запутанным, чем он уже есть, делаем при помощи своего... *ничегонеделания?*»

После того как в Бергене приземлилась Шарлотта Исабель и внесла столь значительные изменения в его жизнь, вера Ярле в то, чем он занимался, вновь пошатнулась. В эту среду, когда он собирался с духом перед встречей с Робертом Гётеборгом, где он предполагал поставить точку в отношениях с надутым шведом и попросить о назначении ему нового научного руководителя, подобные мысли роились в его голове, как потревоженные пчелы. Он не в состоянии был сейчас, одеваясь у себя в прихожей, после того как мать и Лотта уже вышли под дождь, придумать ни одной умной вещи, какую он мог бы сказать, ни о своей учебной программе, ни об академической деятельности. Тратить драгоценные часы своей жизни на попытки понять дурацкую заикленность астматика-француза на именах собственных представлялось ему просто смехотворным. Сидеть и не то в девятый, не то в десятый раз перечитывать эссе Адорно, где этот немец вел гордую борьбу за невнятность и туманность изложения, казалось ему исключительно идиотическим занятием. Неужели в конечном итоге дело обстоит таким образом, что все, из чего состояли долгие годы его учения, — это дилетантские потуги и ловля блох? Неужели эти бесчисленные месяцы тщательнейшего вычитывания философских, теоретических и литературных

текстов не только не приблизили его к радости глубинного постижения литературы, но даже отдалили от нее? Неужели и он, и Хассе, и Ариль просто прошли обработку смазкой — отвратительным жиром глупости? И разве не такие люди, как Роберт Гётеборг, как эти надутые от восхищения собственной персоной профессоришки, которые уже не могли прочитать и стишка в простоте душевной, не углубившись в какую-нибудь теорию постструктурализма, в этом виноваты?

Он поспешил к зданию историко-философского факультета. Раз уж он сюда пришел, стоит высказать этому придурку-шведу все, что он о нем думает. Не то чтобы он собирался забросить все свои академические занятия, нет, совсем наоборот, он еще глубже зароется в толщу этой массы далеких от жизни блаженных, он достигнет вершин мышления как такового, пришло ему вдруг в голову, он прорвется сквозь всю эту дурацкую наносную, поверхностную мишуру, и проникнет, и постигнет... вот-вот, *мышление как таковое*.

Ярле бодро поднялся по лестнице на кафедру литературоведения. Он открыл двери и окинул взглядом коридор. Раз решил, надо довести дело до конца.

Он расправил плечи. Довести дело до конца. Он двинулся по коридору в сторону кабинета Роберта Гётеборга и заметил вдруг, что ноги не хотят идти и ведут себя нервно. Ему это не понравилось. Он представил себе, как лежал на заднем сиденье в машине Роберта Гётеборга всего-то несколько дней тому назад. Черт. Не нравилось ему все это. У него возникло такое ощущение, будто он стоит перед кабинетом директора школы, будто он, когда был маленьким, стоит перед папой, а тот ругает его за то, что он не убрал на ночь велосипед со двора.

Он тяжело вздохнул. Он постучал в дверь.

— Да-а?

Проклятый шведишка. Черт бы его побрал! Пропади он пропадом. И это надо же! Подумать только, спать с собственными студентками, у которых... ну... уже есть свой парень. Он открыл дверь.

Роберт Гётеборг сидел, склонившись над книгой Бахтина, перед ним светился экран компьютера, а на его письменном столе горой были навалены книги, и рукописи, и учебные материалы. Ярле ощутил, как по телу распространяется дурнота, и почувствовал, что не нужно ему было делать этого, но швед, когда вошел Ярле, не выказал никаких внешних признаков ни изумления, ни смущения.

— Ярле, — сказал он. — Ага-а-а. Я так и думал, что ты заглянешь ко мне. — Профессор снял очки и развернулся на стуле

в его сторону. — Садись, садись, ради бога.

Ярле кашлянул:

— Да ничего, я...

Роберт Гётеборг кивнул и поднес руку к сережке в ухе.

— Я...

— Послушай, давай так поступим, а? — Гётеборг протянул ему руку.

Гм? Ярле смутился. «Он мне что, руку хочет пожать?»

— Давай забудем эту историю, о'кей?

Гм?

Забудем?

Взгляд Ярле заметался.

О'кей?..

— Женщины... — сказал Гётеборг. — Ну о чем тут говорить? Либо ты сумеешь подвести под этим черту, и тогда мы оба сможем продолжить начатую тобой блестящую — да, снова повторю, Ярле, как и раньше не раз говорил: блестящую! — исследовательскую работу, посвященную творчеству Пруста; либо мы заварим на всем случившемся чертовски неудобоваримую кашу, что не принесет нам с тобой ничего, кроме конфуза и неприятностей.

Роберт Гётеборг, на котором в этот день были белая рубашка и твидовый пиджак в красную и черную клетку, схватил руку Ярле и тряхнул ее:

— Ну, что скажешь?

— Ну да, — услышал Ярле собственный голос. — Но только...

— Никаких «но только», понятно? — сказал Гётеборг.

— Но только... — Ярле опешил. — Вы с Хердис...

— Нда. — Роберт Гётеборг вздохнул. — Что тут скажешь? Что с этим дальше будет, неизвестно, Ярле. С учетом всего происходящего я, вообще-то, и сам не знаю, каков наш статус. Тут много всего случилось. В субботу госпожа отправляется домой.

— Домой?

Гётеборг пожал плечами:

— Да, ты не ослышался. Ей предъявила ультиматум мамаша — Само Состояние, и уж поверь, разбушевалась она не на шутку. — В голосе шведа слышалась тоска. — Но не важно, главное, ей необходимо дома обсудить все это с родными. Короче говоря, Хердис подумывает о том, не уйти ли ей с кафедры и не включиться ли в деятельность семейного предприятия. Да-да. Может случиться и так. Денежки мадам Снартему, знаешь ли.

— Ну и ну, вот это новость. — Ярле был потрясен.

— Именно так, — сказал Роберт Гётеборг.

— И вы? И ваша...

Роберт Гётеборг снова притронулся рукой к сережке в левом ухе и, разговаривая, поглаживал ее; медленно, с долгими паузами, он проговорил:

— Люблю ли я эту женщину, Ярле? Собираюсь ли я переехать на юг Норвегии и жить за счет своей богатенькой подружки? Знаю ли я о том, что она порезвилась с твоим юным телом? Грустно ли мне от этого? Радуюсь ли я тому, что она, несмотря на это, говорит, что хочет меня? Любит ли она меня? Любит ли она деньги своей матери? Знаю ли я, что будет дальше?

Ярле сидел там, слушал, и вдруг вспомнилась ему одна более ранняя встреча с Робертом Гётеборгом. Это было на лекции по литературоведению несколько лет тому назад, на первом курсе. Зеленым юнцом, свеженький, он явился из Ставангера, исполненный восторга перед литературой, с крупными эпическими произведениями под мышкой, — и за сорок пять минут августовским днем 1991 года Роберт Гётеборг сумел поставить знак вопроса ко всему, во что Ярле верил до этого. Харизматичный швед читал им риторический блицкурс по историческому авангарду, в заключение коего заявил: «Все, что вы раньше думали, — это конструктивистская чепуха. Литература, друзья мои, вот эта самая литература не призвана осуществлять коммуникацию с массами, она не призвана камуфлировать румянами и пудрой жирные щеки и щекотать людей там, где больше всего чешется, — она должна быть как удар кулаком в живот. Она должна оказывать откровенное и неистовое сопротивление».

Ярле вышел с той лекции пылающим факелом. Он узнал целый вагон новых слов, ему довелось стать свидетелем совершенно иного способа мышления, и на руках у него был список доселе неизвестных ему авторов, которыми он в последующие недели зачитывался с голодным азартом: Маяковский, Бодлер, Тцара, Беккет...

Не этот ли человек, этот выпендренный швед, запустил в его мозгу вечный двигатель? Не этот ли человек, этот швед, которого ему никак было не раскусить, научил Ярле тому, что никакую мысль невозможно додумать до конца?

Роберт Гётеборг отпустил серьгу, слегка повел плечами и снова пожал Ярле руку.

— Нда, — сказал Ярле. — Много вопросов. Но не важно. Я-то вот почему пришел. Я пришел выразить сожаление по поводу своего поведения тут на днях, это было... ну совершенно непростительно с моей стороны, разумеется. Что я могу сказать, я...

— Ярле. — Роберт Гётеборг махнул рукой. — Хватит.

Достаточно. Я знаю. И я скажу словами Эдит Пиаф.

— Как?

— Je ne regrette rien^[22].

— Вот именно, — сказал Ярле в некотором замешательстве, — но не важно, я хотел пояснить, что намереваюсь довести свое исследование творчества Пруста до конца — и да, *разумеется*, под вашим научным руководством, если у вас были по этому поводу какие-либо сомнения.

— Да конечно же нет. — Профессор положил левую руку на книгу Бахтина и снова водрузил на нос очки. — Вот еще что, Ярле, можно спросить, как дела у твоей дочери?

Ярле уже поднялся и стоял возле двери.

— Да вот, — сказал он и подумал, что было в этом шведе нечто *суверенное*, и уж действительно, никакого другого и слова то не придумаешь, которое так бы к нему подходило, как *суверенный*. — Да вот, оказалось, что у нее ситуация вроде бы посложнее, чем я думал. Ну уж какая есть. Справимся как-нибудь. У нее завтра день рожденья. Посмотрим, как нам удастся с этим справиться.

— День рожденья? — Гётеборг кивнул. — Семь лет, надо же! Прекрасный возраст. Нужно тебе тогда придумать что-нибудь неожиданное, а? Поехать за город, или вот еще что, как это по-норвежски-то называется — *жаровня сосисок*? Или карнавал? Что-нибудь увлекательное для старушки, да?

Плывать на эту жалкую газетенку «Моргенбладет», пропади она пропадом!

Вот черт! Паршивая газетенка. Таблоид недотраханый... «Мы постарались внимательно и без спешки проанализировать присланный Вами текст». Без спешки? Да уж точно, не спешили, это заметно! «И мы пришли к выводу, что, к сожалению, печатать его не стоит». К сожалению? *К сожалению?* «Тема сама по себе представляет безусловный интерес, как и рецензируемая книга, однако нам представляется, что в предложенном тексте не удалось удержать достаточно высокий уровень». Не удалось удержать достаточно высокий уровень? Что же это, к чертовой бабушке, за такой *достаточно высокий уровень*, хотелось бы узнать? «Тем не менее мы взяли на заметку Ваши данные, а также приняли во внимание Ваш очевидный интерес к рассматриваемой проблеме и потому прикладываем к данному письму заключение литконсультанта, которое, мы надеемся, прольет бальзам на Ваши раны». Бальзам? На раны? И кто это, к дьяволу, сказал, что кому-то нужен какой-то там *бальзам*? Какие еще такие раны? Кто там, к едрене фене, решил, что нужно врачевать раны? Заключение литконсультанта!

Вот как, теперь готовься к тому, что завалят заключениями литконсультантов. Ну это уж слишком, чтоб им неладно было! «В подготовку текста об опубликованном в прошлом году исследовании Арнольда Роджерса «The significance of memory lost»^[23] посвященном Прусту, несомненно, вложено немало труда». Ага, вот именно! «Однако, к несчастью, сам этот текст создает больше проблем, чем их решает». К несчастью? Проблем? «По всей видимости, автор текста заблудился в дебрях академических хитросплетений». Заблудился? В дебрях *академических хитросплетений*? Он что, издевается, этот так называемый литконсультант? «В литературоведческих кругах произошло некое обесценивание таких понятий, как неидентичность, фрагментация субъекта, повтор и метонимия, не говоря уже обо всех тех понятиях, которые призваны выявить референциальные/нереференциальные возможности языка». Обесценивание? Он что, не в состоянии увидеть, для чет я пользуюсь этими понятиями? Да кто же это, к дьяволу, навалил такую бурду?

Ярле скинул куртку, бросил ее на спинку кухонного стула.

Невероятно, подумал он. Просто невероятно, на фиг, как можно поступать так с людьми? Тут возвращаешься прямиком с

воодушевляющей встречи с одним из виднейших академических умов Норвегии, и Швеции тоже, Робертом Гётеборгом, — и не просто воодушевляющей встречи, но также и глубоко человеческой, осенило его, глубоко и основополагающе гуманистической и человеческой встречи, более того, с такой встречи, которая будет помниться всю жизнь, подумал Ярле, с такой встречи, которая действительно помогает осознать, что следует понимать под *способностью прощать и человеческой суверенностью*, подумал он, и это с подачи одного из виднейших академических умов Норвегии, и Швеции тоже, чтобы не сказать — всей Скандинавии, который в дополнение к этому без экивоков называет мои исследовательские работы, посвященные Прусту, *блестящими*; возвращаясь с такой встречи накануне того дня, когда твоей дочери предстоит отметить единственное в своей жизни семилетие, свой первый день рождения у своего настоящего отца, и возвращаясь разгоряченный и настроенный на духовный позитив — вот именно, на *позитив*, — и планируешь в предстоящий день рождения устроить и то и это — и тут эта жеманная дилетантская газетенка преподносит тебе вот это? Да кто-же это, к черту, накропал такое дерьмо?

Ярле так и приник, оскорбленный, к столешнице, опершись на нее и перелистывая основательное заключение, которое редакция «Моргенбладет» приложила к своему письму, пока не добрался до последней страницы. Должна же там быть подпись автора?

Хеннинг Хагеруп.

Ярле вздрогнул.

Хеннинг Хагеруп.

Он сглотнул, с трудом перевел дух и не сел, а чуть ли не упал на кухонный стул и заново перечитал заключение.

«В то же время не следует забывать и о том, что автор, безусловно, овладел стилистическими средствами языка и обладает несомненными способностями к аналитическому мышлению, что он и демонстрирует в тех редких случаях, когда ему удастся освободиться из-под влияния возведенных им на пьедестал теоретиков».

Хеннинг Хагеруп.

Ярле так и сидел с письмом в руках, пока вдруг не заметил, что даже кончики пальцев у него покраснели. Ну ни фиги ж себе!

Ему пришло письмо от Хеннинга Хагерупа!

Разгромное письмо.

Но письмо же!

По телу растекалось неслышное ликование. Меленькие сладкие ощущения, как если бы ему было четырнадцать лет и он

вот только что пообжимался с девушкой; в суставах и мускулах забегали мурашки возбуждения.

Черт подери!

Он закусил нижнюю губу.

Письмо!

От Хеннинга Хагерупа!

Ха!

Разве Хассе или Ариллю когда-нибудь светило получить письмо от Хеннинга Хагерупа? Разве хоть кому-нибудь из тех, с кем он был знаком, светило получить письмо от Хеннинга Хагерупа?

Нет.

А вот Ярле получил. И его статья, которую прочитал Хеннинг Хагеруп — основательно, и не один раз, судя по всему, да, и, судя по всему, этот текст заставил Хеннинга Хагерупа хорошенько поломать голову, непростой это оказался текст, несмотря на вынесенный им негативный вердикт, — его статья явилась поводом для получения письма от критика, которого Ярле ценил превыше всех.

Одно только его имя, Хеннинг Хагеруп, вызывало искрение в мозгу Ярле, как, бывает, потрескивает и гудит в голове, когда человек оказывается на небольшом расстоянии от того, чем восхищается. Из всех столичных светил, внимательнейшим образом изученных Ярле по научным журналам, и газетам, и книгам за последние пять-шесть лет, никто не внушал Ярле и ему подобным такого благоговения и такого восторга, как Хеннинг Хагеруп. Всегда опережая всех, всегда демонстрируя одинаково острый ум, всегда проявляя неизменные широту знаний и начитанность. Всегда в гуманистическом поиске, глубоко проникшийся всей освоенной им массой литературы, захваченный перипетиями литературного творчества, безжалостно резкий по отношению к тому, что ему не нравилось в прочитанном. Вот уже немало лет Ярле сидел здесь, в Западной Норвегии, и представлял себе столичную среду состоящей из молодых авторитетных критиков с прекрасно подвешенным языком. Как они сидят там вокруг редакционного стола в своих научных журналах, отягощенные книгами и статьями, и ведут дискуссии. Изо дня в день. Это люди, живущие литературой так, как остальные живут своими собственными мыслями. Это люди, настолько же преданные литературе, насколько Грета Вайтц в свое время была предана марафону. Они перемещаются по столице, обожаемые и овеванные слухами, и, когда они входят в кафе или ресторан по окончании заседания редакции, в помещении воцаряется тишина. Они заказывают столик, они

рассаживаются, и вокруг них все замолкают, потому что все знают, что вон там, там сидит кружок посвященных, самые светлые головы нашего времени.

И вот теперь, значит, Ярле получил письмо от Хеннинга Хагерупа — самого именитого из этой аристократичной касты интеллектуалов. Сколько иронии в том, что именно отказное письмо оказалось необходимым звеном, связавшим Ярле со светлейшими головами его собственной эпохи, но это, конечно, имело не такое большое значение. Он получил, если трезво рассудить, выход на них. Он внедрился, если уж начистоту, в их сознание. Не будет большим преувеличением сказать, что Хеннинг Хагеруп неоднократно в эти дни с высокой вероятностью заводил речь о нем на редакционных совещаниях и в кафе норвежской столицы Осло. Возможно, великий столичный критик несколько кривовато усмехался над этим Ярле Клеппом, может быть, он немного снисходительно улыбался, думая о нем, а может быть, он отзывался о нем как о юном и горячем новом литературном даровании из Западной Норвегии, но столь же вероятно было и то, что он говорил о нем следующее: «Ярле Клепп дышит нам в затылок. Ярле Клепп. Да уж, запомните-ка это имя, да хорошенько, потому что я вам говорю: новые мысли придут с запада. Дайте ему несколько лет, а то, может, и месяцев, и он займет подобающее ему место. Ярле Клепп, запомните, вы еще услышите о нем. Он несколько ослеплен теоретизированием, но, несомненно, владеет стилистическими средствами языка и обладает способностями к аналитическому мышлению».

Если Хеннинг Хагеруп вдруг выступал по радио, например в любимой программе Ярле «Агора критиков», то Ярле тихохонько сидел на стуле и внимал рассудительному, интеллигентному, дружелюбному и — представлялось ему — харизматичному голосу, который время от времени нервно запинаясь, наверняка потому, что он, как все выдающиеся мыслители, столь же сильно недолюбливал средства массовой информации, сколь был предан искусству как таковому. Как он выглядел и что он был за человек, Ярле понятия не имел. Он представлял себе элегантно одетого мужчину лет сорока с небольшим, возможно, с такой же гладко — выбритой головой, как у него самого, и по неведомой причине — с пышной растительностью на подбородке. Холеный мужчина с большой домашней библиотекой, читающий Гёльдерлина за завтраком, Пауля Целана за вторым завтраком, может быть, Данте за обедом и почти наверняка Гёте за ужином. Ведь Ярле хотел стать как раз таким человеком, как Хеннинг Хагеруп. Именно такого человека он стремился сделать из себя. Человека, обладающего неисчислимым объемом знаний, человека, который

понимает, что такое образованность, и который берет на себя задачу транслировать ее грядущим поколениям. Который пожертвовал стабильной зарплатой и урегулированными условиями труда ради того, чтобы прожить свою жизнь как вольный интеллектуал на службе у своего народа.

Хеннинг Хагеруп.

Смог бы Ярле Клепп стать таким, как Хеннинг Хагеруп?

Он вновь взял письмо в руки.

«В завершение следует указать, что книга Арнольда Роджерса о Марселе Прусте по выходе из печати вызвала целый шквал критических замечаний, и может создаться впечатление, что автор рецензии либо не вполне отдавал себе в этом отчет, либо предпочел оставить это без внимания, будучи временами до смешного исполненным энтузиазма ко всему, что имеет отношение к автору цикла «В поисках утраченного времени».

Гм. Ну что же, ладно уж, Хеннинг Хагеруп.

— Но представим на минутку, что вы ошибаетесь.

А что?

Представим, что дело обстоит таким образом: некий юнец из Ставангера, свежая голова, иное поколение, парвеню, сумел разглядеть то, что ускользнуло от вашего глаза.

Разве невозможно предположить, что время от времени и Хеннинг Хагеруп может ошибаться? Редакция «Моргенбладет» в своем высокомерии столь ослеплена репутацией прославленного критика, что позволяет ему решать, что печатать в их занюханном еженедельнике, а что нет? Нельзя ли предположить, что Хеннинг Хагеруп настолько уже погряз в болоте критиканствующей, чванливой и близорукой столичной тусовки, так называемой элиты, что он уже не в состоянии разглядеть талант, свежее движение мысли, даже когда таковые оказываются прямо у него перед, по всей видимости замысленным, взором?

Сбитый с толку Ярле сидел на кухонном стуле.

Как же ему относиться ко всему этому? Может, позвонить в справочное и узнать номер телефона Хеннинга Хагерупа в Осло? Нет, это уж будет слишком. Следует ли ему обсудить это с Робертом Гётеборгом, видным европейским ученым, которого, по всей видимости, он мог бы теперь называть своим *другом*, и, может быть, составить что-то вроде рекламации на «Моргенбладет»?

«Ну вот, значит, «Моргенбладет» отказывается меня печатать, — подумал он со всем спокойствием, на какое был способен. — Но зато я, тем не менее, получил письмо от Хеннинга Хагерупа. И в любом случае я занят написанием блестящего исследования творчества Пруста».

Он потряс головой, как делают, когда в лоб залепит футбольный мяч.

— Ладно, — вслух сказал он самому себе и посмотрел на часы. — Ладно, ладно, ладно, плевать на эту жалкую газетенку «Моргенбладет».

«Мне, вообще-то, есть чем заняться, есть дела и поважнее», — подумал Ярле. Он решительно встал со стула и каким-то удивительным образом, что, впрочем, было вполне в его духе, почувствовал, будто он срезал и «Моргенбладет», и Хеннинга Хагерупа и что его звезда сияет выше, чем у них у всех. И с этим ощущением он снова надел куртку, порылся в карманах, проверяя, не забыл ли ключи или деньги, сунул ноги в туфли и покинул квартирку на Мёленприс, чтобы идти осуществлять те идеи, те великие планы, которые набросал перед ним пару часов тому назад Роберт Гётеборг.

Во второй половине этого дня в Бергене шел сильный дождь, но, исполненный мощной уверенности в себе и своих силах, Ярле шагал по асфальту размашистой, какой-то даже горделивой походкой, убежденный в том, что его дочь прекрасно проводит время со своей бабушкой и что завтрашний день обещает быть осененным и достоинством, и детской радостью.

— Она родилась в 1975 году, она светлая блондинка — ростом 1 метр 62 сантиметра, она плохо слышит на правое ухо, в совсем юном возрасте она родила ребеночка, девочку, весом 3,4 килограмма и ростом 49 сантиметров, и зовут ее Анетта Хансен. Когда она зимой 1990 года забеременела, ее родители приняли эту новость безрадостно, и они решили всей семьей перебраться в Восточную Норвегию, благо отец сумел устроиться там на работу — у руководства компании, в которой он трудился, имелись там связи. Вместе они приняли решение, что дочь Анетты, появившаяся на свет на три недели раньше срока и по желанию юной матери нареченная Шарлоттой Исабель, будет расти без отца, у матери и бабушки с дедушкой: позор прочнее кровных уз. Закончив гимназию в Шеене с хорошими оценками, и это притом что на руках у нее был маленький ребенок, которого она на переменках кормила грудью, мать-одиночка отправилась в Осло, где она жила в маленькой квартирке почти в самом центре, на Санкт-Ханс-хауген, и училась на медсестру.

Анетта Хансен была одной из тех девушек, на которых, по мнению парней, было приятно смотреть, — благодаря ее неотразимой улыбке, плясавшей даже в уголках глаз, и двум приветливым грудкам, в столице ее быстро примечили. По истечении нескольких коротких месяцев, за которые Анетта произвела оценку немалого числа кандидатов, ее выбор пал на торгового агента Трунна Ашима, здоровенного парня с мощными ручищами, который сказал, что вполне способен любить и ее саму, и ее трехлетнюю дочь и не имеет ничего против того, чтобы миновать возраст возни с пеленками и перескочить прямо в тот период, когда девочка вот-вот уже станет настолько шустрой, чтобы носиться наперегонки с мальчишками на улице, Трунн сказал также, что сумеет прокормить всех троих, так что если ей кажется тяжелым совмещать материнские обязанности с учебой на медсестру, то он не будет возражать, если ей захочется просто сидеть дома с малышкой. И когда осенью 1993 года открылась вакансия торгового менеджера в автосалоне города Шеена, то есть подвернулась работа, которая, по мнению Трунна Ашима, идеально подходила для такого общительного и рукастого парня, как он, для такого человека, который разбирался в массе вещей и к тому же с легкостью умел поддерживать разговор с самыми разными людьми, они оба подумали, что будет совсем неплохо обосноваться там, поближе к бабушке с дедушкой, и вообще.

Шли годы, и Анетта Хансен, которая слыла одной из тех

женщин, что умеют справиться с любой ситуацией, становилась все шире в бедрах, а тело ее — все более дряблым. Она больше не плавала так много в море, ведь она теперь могла делать это только летом, и она больше не ходила так много на лыжах, ведь она теперь могла делать это только зимой. Она больше не улыбалась своей милой улыбкой, стоило только заняться новому дню. Она разгадывала кроссворды, она приносила из подвала выстиранное белье и развешивала его на шнуре, натянутом между яблоней и крюком, вбитым в стену дровяного сарайчика, несколько раз в неделю она пылесосила весь дом, она сидела у окошка дома в Шеене и смотрела на улицу, она беседовала с отцом о его ревматизме и о том, как он скучает по Западной Норвегии, и по дороге в магазин она встречала соседок — и все это время она размышляла о том, что же в ее жизни не так. Она купила годовой абонемент на фитнес, но не могла себя заставить воспользоваться им; вместо этого еще гуще мазала лицо косметикой и следила не за тем, что происходит в Косове, но за тем, что происходит в телевизионных сериалах, которыми были заполнены все каналы в девяностые годы. Она проживала свою жизнь вместе со всеми этими героями, она смотрела сериал «Веселая компания», и передача казалась ей классной, она смотрела «Сейнфелд», и ей казалось, что это очень забавно, она смотрела фильм «Друзья», и у нее становилось теплее на сердце, и в 1995 году она начала курить, ведь она не курила тогда, когда все остальные были недорослями, а она — молодой матерью.

А что же Шарлотта Исабель?

Она никогда не испытывала недостатка ни в чем.

Дочь просто-таки выскочила из материнского лона в 1990 году, чтобы оповестить о своем появлении в этом прекрасном мире залиvistым смехом, и обе они всегда чувствовали себя в полной безопасности рядом друг с другом.

Анетта привыкла считать, что молодость она загубила, но зато к ней в гости заглянула еще одна, дополнительная жизнь, и это помогало ей всегда быть в форме. Она отводила малышку к няне, она вообще каждое утро поднималась рано, а в первые годы жизни Шарлотты Исабель, пока ее головка не научилась крепко спать, в несусветную рань — в пять часов утра. Она провожала девочку в детский сад и забирала к ужину каждый день все эти годы, и ей даже в голову не приходило жаловаться. И так до середины девяностых годов, когда Анетте перевалило за двадцать и ей, когда она смотрелась в зеркало, стало казаться, что она выглядит как женщина лет сорока, так что она плакала каждый день, когда никто не видел. Отношения с Трунном Ашимом развивались в основном абсолютно нормально, говорила она

обычно и сама себе, и если кто-нибудь ее спрашивал об этом. Трунн, ну, он в общем хороший человек, говорила она, немногим достаются такие. И с ребенком он ладит, и вообще он на все руки мастер, он разбирается и в том и в сём, так что может и машину починить, и электропроводку, если надо, и сантехнику — да в общем почти все, что может дома понадобиться; и с его работой в автосалоне денег им хватает с лихвой, и к тому же он мужик компанейский, умеет и на гитаре играть, нет-нет да и сядет и сыграет, и споет вместе с дочкой, и, кроме того, легко умеет поддержать разговор с кем угодно о чем угодно, вот такой он, Трунн. Она принимала его как должное до того самого дня, когда нашла на полу в кухне три заколки-невидимки, и до нее стало доходить, почему он так много говорит о том, чтобы уехать, все бросить, и почему его так часто не бывает дома по вечерам. Тогда-то она и обнаружила, что он стал замкнутым и озлобленным, а Трунн утверждал, что он уже давно такой, просто она не видела ни этого, ни его самого, сказал он в сердцах, потому что смотрела она только на экран телевизора и на своего ребенка, так что ничего удивительного в том, что его очаровала, как он выразился, Лиза, диспетчер на телефоне у них в автосалоне; она была моложе его на три года и умела разглядеть в человеке достойного мужчину, так странно ли, что у него к ней возникло чувство, как он выразился? Нет, ядовито ответствовала Анетта, что ж тут, в общем-то, странного, она прекрасно знает, кто такая Лиза, и далеко не она одна. Ах вот как, отвечал Трунн, заводясь, и на что она намекает?

А то, ответила Анетта и хлопнула дверью, на что намекает, на то и намекает, а остальное он может и сам додумать, и если он хочет подразузнать о том, какова репутация у Лизы, то ему стоит только порасспросить народ или может попробовать для разнообразия свои собственные глаза открыть пошире.

Но что же с Шарлоттой Исабель?

Шарлотта Исабель любит своего отца, и никто никогда не рассказывал ей, что он ей не родной. Она забиралась к нему на колени с того самого дня, как он вошел к ним в комнату и сказал: «Ага, так вот это и есть Шарлотта Исабель? Ладно», и она уже не помнила жизни без Трунна Ашима и его огромных ручищ, которые подбрасывали ее в воздух и ловили с тех самых пор, как она была совсем маленькой.

Анетта чувствовала, как внутри закипает гнев, и Трунн Ашим показался ей отвратительным человеком. Но додуматься до того, чтобы лишить Лотту отца, особенно теперь, когда ее родители вновь вернулись под Ставангер, по которому так тосковал дедушка, она не могла и потому осталась в доме и никуда не

ушла; она осталась и чувствовала, как с каждым днем все сгущается тьма между нею и Трунном.

Но человек может долго жить во тьме. Разве не так? Пока есть ребенок, который освещает эту тьму, как маленькие веселые лампочки?

В 1997 году ситуация усугубилась. Хотя Анетта и купила годовой абонемент на занятия фитнесом, остановив тем самым тенденцию, из-за которой ее талия, строго говоря, становилась шире, чем необходимо; хотя Анетта и начала подумывать о том, не поискать ли ей другую работу; хотя Анетта стала уже поговаривать о том, не попробовать ли ей восстановить навыки ухода за больными; и хотя Анетта уже не могла посмотреть эпизод сериала «Друзья» вечером, не чувствуя, как жизнь утекает между пальцами, — Трунн больше не желал так жить. Все, хватит. Он просто в кактус какой-то превращается, говорил он, и если уж что было абсолютно не в его духе — не в духе общительного парня, который мог разговориться с кем угодно о чем угодно, который играет на гитаре и горазд на всякие выдумки, — так это стать кактусом. Он хотел радоваться жизни, говорил он, он хотел иметь свою собственную семью, говорил он, он хотел жить своей собственной жизнью, говорил он, он хотел завести своих собственных детей, говорил он. Собственных детей она и сама могла бы ему обеспечить, сказала Анетта ядовито, но он ведь, наверное, не совсем этого хотел, он ведь, наверное, думал о том месте, откуда дети появляются на свет, так ведь? Пусть только не думает, что она не понимает, что происходит, и пожалуйста, он может катиться, скатертью дорожка, и трахать эту шлюшку Лизу сколько хватит сил, и пусть тогда посмотрит, настолько ли это, к черту, лучше и не сбежит ли он через какие-нибудь полгода и от этой девятнадцатилетней сучки. Трунн Ашим вскипел и сказал, что вот уж теперь, черт возьми, с него хватит; Анетта что, в самом деле не догадывается, какие ему приходится преодолевать душевные терзания? Да она, вообще-то, имеет ли хоть малейшее представление о том, что он собой, собственно говоря, представляет как человек и чего он, собственно говоря, хочет от жизни? И вообще, она разве при любом раскладе не использовала его годами, его, и привносимые им радости, и его деньги? И кто, собственно говоря, настоящий отец ее ребенка?

Шарлотты Исабель?

Да, Шарлотты Исабель. Это, блин, несправедливо, сказал Трунн, что ему приходится оплачивать все расходы на нее, и это, блин, несправедливо, как ни поверни, что девчонка не знает, кто ее отец, так что пора уже, Анетта, навести порядок в собственном доме.

«Ах так? — сказала Анетта и заплакала. — Ах так?

Ты меня к этому принуждаешь?» — «Да, принуждаю, к чертовой матери, — сказал Трунн Ашим и шваркнул тарелку о кухонный пол; тарелка разлетелась на мелкие осколки. — Да, принуждаю, к чертовой матери».

Кончилось тем, что Анетта решила извлечь Ярле Клеппа из забвения. Она была не в состоянии вступать в какие бы то ни было конфронтации, не в состоянии вести какие бы то ни было разговоры по телефону, но раз уж Трунн оказался таким бездушным, то пусть будет так, как он хочет, и она дала ход недостойному процессу выяснения того, кто же является биологическим отцом Шарлотты Исабель, процессу, который завершился тем, что в августе 1997 года Ярле Клепп получил по почте письмо из полиции.

Но как же поступить с Шарлоттой Исабель?

Нет. Это они не вполне себе представляли.

Он же уже так привязался к малышке.

Дело-то, черт возьми, было не в ней.

Лето 1997 года приключилось гадким и одиноким. Они избегали друг друга, они спали в разных комнатах, они ни разу не разделили трапезы, они проходили один мимо другого так, будто другого не существовало. Трунн крепился и злился, Анетта же втихомолку плакала. Ей пришлось задуматься о том, что же она сама может предпринять. Конечно, на ней был ребенок, и вообще... но что-то ведь надо было, наверное, сделать? Уехать куда-нибудь? Так, может быть?

Ярле Клепп все чаще и чаще приходил ей на ум, когда она вот так сидела в комнате одна, а Трунн уходил куда-то или когда он уже ложился спать в своей мастерской в подвале.

Ярле Клепп все чаще и чаще приходил ей на ум, и она пыталась вспомнить, как же он тогда выглядел.

Вроде бы он учился в Бергене, вспоминалось ей.

К середине августа между Анеттой и Трунном разгорелась настоящая война. Они так и сыпали едкими замечаниями в адрес друг друга, все было замарано, все изгажено. Трунн начал выпивать, он не ночевал дома, он шлялся где-то, и Анетта не могла спать, теряла килограммы и не была способна ясно мыслить. Как-то утром он предстал перед ней — глаза красные — и помахал у нее перед носом двумя билетами. «Вот до чего дошло, сказал он, вот до чего дошло, вот смотри, что я наделал, сказал он, вот они, билеты, — сказал он, — я лечу на юг с Лизой. Ну, довольна ты теперь? А? Не могу я, к едрене фене, здесь находиться, понимаешь или нет?» Он уедет на недельку в сентябре, а в выходные перед отъездом он упакует все свои вещи,

сказал он. «Когда я вернусь с югов, — сказал он, — то уж, к чертовой матери, ночевать буду не здесь, а в другом, к чертовой бабушке, доме. Заруби себе на носу эту дату, — сказал он, — шестое сентября, в этот день я отсюда все свои манатки заберу». Анетта спросила: он что, совсем, что ли, спятил? Да, может, и спятил, сказал он и резко развел руками, да, может, и спятил, ну и насрать, так что она может думать об этом все, что пожелает, но шестого сентября он отсюда все свои манатки заберет. А как же Лотта? Шарлотта Исабель? Ей что, стоять и смотреть, как он собирает свои шмотки? «Ты что думаешь, я позволю, — сказала Анетта, — чтобы она стояла и смотрела, как ты будешь тут колбаситься, как придурок, по всему дому и не знаю что и разорять дом?

Как ты, к чертовой матери, это себе представляешь, на что это будет похоже? Как, по-твоему, ребенок может отреагировать на такое? Хочешь, чтобы она в психушку загремела? Ты этого добиваешься?»

«А уж с этим ты сама разбирайся, — сказал Трунн, — это ведь ты наливаешься так, что лыка не вяжешь, и трахаешься с мужиками, которых ты, блин, до этого в глаза не видела, а потом плодишь детей».

Вот в такой обстановке Анетта и решила, что Шарлотте Исабель нужно уехать на неделю, пока Трунн будет собирать свои вещи. Нельзя ребенку находиться здесь, пока тут такое будет твориться.

Но куда же ее отправить? Своих родителей Анетте очень не хотелось посвящать в эти дела. А подруг, к которым она могла бы обратиться, у нее не было; у нее никогда не хватало времени на то, чтобы обзавестись хорошими подругами, ведь она так давно была в первую очередь матерью, что уж и не помнила, как бывает по-другому. Так что же ей было делать?

Ярле Клепп?

Могла она отправить ребенка к Ярле?

Может быть, и хорошо, думала она, пытаясь усмотреть во всем этом хоть что-нибудь позитивное: что у *Лотты* наладится контакт с родным отцом, несмотря на то что они со своей семьей давным-давно приняли решение, что эта история должна быть похоронена раз и навсегда?

Может быть, и хорошо? Все-таки?

Кроме того, понадобятся еще и деньги. Ей нужно будет, чтобы кто-нибудь помог с деньгами. А Ярле, если уж говорить начистоту, легко отделался, он уже сколько лет ничего не тратит на ребенка, думала Анетта, усталая, и измотанная, и нервная, и исхудавшая. и потерявшая сон, ведь он же отец, а она-то все-таки

брать на себя всю ответственность все эти годы, так?

Так, думала она.

И так-то и получилось, что она одним прекрасным днем написала письмо, которое отправила в Берген, и в этом письме она рассказывала, что собирается на недельку уехать на юг и просила Ярле проявить свои лучшие качества и показать себя мужчиной.

Она слегка улыбалась, когда писала это, потому что ей казалось, что это звучит немножко прямолинейно и немножко подрацки, но вот чтобы это было неправдой, нет, так ей не казалось.

«PSSS, — добавила она в самом конце письма. — Нам ведь хорошо было тогда».

Потому что в общем-то этим исчерпывалось то, что у нее сохранилось в памяти о Ярле Клеппе. Его голодный взгляд, его глаза, шарившее по ее телу, вздохи и причмокивания парнишки той январской ночью 1990 года, выговорившего: «Черт, вот черт, шас кончу».

Разумеется, Анетта нервничала из-за того, что сделала. Сплавить ребенка в чужой город, к чужим людям и к отцу, который тоже во многих отношениях был чужим. «Но что же я могла поделать, — говорила она себе снова и снова, — что же я могла поделать?»

Телефонный разговор воскресным утром ее успокоил. Какой радостный был голос у Лотты, когда она рассказывала обо всем, что они успели сделать, и как рассудительно звучал голос Ярле, когда он сказал, что Анетта может расслабиться и ни о чем не беспокоиться. Голос звучал как у мужчины, который готов справиться со своими обязанностями. Он звучал как голос порядочного человека, думала она. Доброго и внимательного, приличного и надежного. Не как у какого-нибудь там импульсивного или несобранного студента. «Не беспокойся, — сказал он тогда. — Подумай и о себе», — сказал он тогда. И когда ей в последний раз такое говорили?

«Ты просто позвони Шарлотте Исабель в четверг и поздравь ее с днем рождения» — вот что он тогда сказал, и на этом она позволила себе немножечко успокоиться. Пора уже ей научиться чуточку отпускать узду. Девочка должна привыкнуть к большей самостоятельности, да и она тоже.

Когда наступил четверг той недели, что Шарлотта Исабель проводила в Бергене, Анетта проснулась рано, как если бы дома предстояло готовиться к празднованию дня рождения.

Но готовиться было не надо. Не надо было печь торт, как она

обычно делала, когда Лотта была именинницей. Не было необходимости прибегать в доме, поставить на плиту большую кастрюлю для варки сосисок или украсить гостиную воздушными шариками и гирляндами в ожидании того, что на праздник придут в гости тринадцать ребятишек. Это было грустно, и Анетта подумала, что вот так теперь всегда и будет: ее ребенок теперь не всегда будет при ней, придется ей ездить гостить то в одно место, то в другое.

Она разглядывала окружающую пустоту. Как теперь просторно стало в кухонных шкафчиках. Слава богу, что страшные тарелки с аляповатым узором, которые Трунн приволок от своей матери, теперь там не стоят. И как теперь прибрано в чуланчике, хорошо, что он не забит теперь всем тем хламом, что в беспорядке сваливал там Трунн. И как много свободного места образовалось в гостиной, когда половину мебели оттуда вынесли. Ей понравилось, как получилось. Много воздуха. DVD, книг и компакт-дисков больше там не было. Остались только ее собственные вещи, а у нее их никогда много не было. Анетта никогда не была барахольщицей и гордилась этим, потому что так ее учили дома, что копить богатство на земле — это плохо.

Но кое-какие свои пластинки у нее были. Анетта села поудобнее на полу в гостиной и достала старый диск 1989 года, Ленни Кравиц: этот диск ей тогда подарил ее дядя. Она поставила запись и, слушая «Пусть правит любовь», открыла дверцы стеллажа и достала старые папки с учебными пособиями по уходу за больными.

А может? Может, стоит взяться за это снова?

Госсподи! Ленни Кравиц.

Анетта подняла глаза, и у нее возникло странное чувство, будто она в одно и то же время была и старой, и очень юной. На телевизоре — который, сказал Трунн, она может себе оставить, ради бога, у Лизы телевизор есть, так что пожалуйста, — стояла фотография Шарлотты Исабель. Ее веселые глаза прошлым летом, когда они ездили отдыхать в Данию. Обязательно надо ей сегодня позвонить. Уже скоро, подумала она, скоро она ей позвонит и поздравит с днем рождения.

Анетта улыбнулась фотографии, будто дочь была здесь, в комнате, наряженная к празднику, полная ожидания и веселая, и попробовала почитать медицинские брошюры, собранные в папках. Но ей никак не удавалось сосредоточиться на этом, и она снова подняла глаза на фотографию.

И тут в голове вновь, откуда ни возьмись, всплыло это имя.

Ярле Клепп.

Анетта выпрямилась, сидя на полу.

Она кивнула себе.

Поздравляю с днем рождения, Шарлотта Исабель. Она потрясла головой.

«Что же я наделала?!»

Ярле Клепп.

Она снова потрясла головой.

Ярле Клепп?

«Что же я такое наделала, — подумала Анетта и поднялась с пола. Паника волной прокатилась по телу. — Господи боже мой, что же я наделала?!»

Ярле Клепп?

Ярле Клепп!

«Госсподи! — подумала Анетта и схватилась за голову. — Как же это я своего детеныша спроварила одного за тридевять земель к абсолютно чужому человеку?»

Часть третья

Иногда я смеюсь, потому что боюсь бояться, говорит Лотта, а вскоре после этого Ярле приходится выслушать мнение Сары о том, что она увидела и слышала

Господи ты боже ж мой, думал Ярле. Это сенсационно. Это просто даже поразительно, думал он за перекусом посреди великого сегодняшнего дня, когда Лотте исполнялось семь лет. Вот она тут носится с самого утра взад-вперед, как пропеллер, причем проснулась она ранехонько, засветло, и так до сих пор и носится; да, не говоря уже о вечере накануне, когда предденьрожденный мандраж всерьез заявил о себе. Сам он тоже чувствовал напряжение: получится ли то великое, что он задумал? Идея устроить это возникла у него после визита к Роберту Гётеборгу, но сейчас ему вполне удавалось сидеть спокойно, хотя он и чувствовал определенный зуд за ушами и по низу затылка, и кожу на голове то и дело, казалось, ни с того ни с сего, начинало стягивать. А как Шарлотта Исабель? А Шарлотта Исабель сидеть спокойно не могла. Шарлотта Исабель была сразу повсюду в квартире, потом она бежала на детскую площадку, но тут же возвращалась домой, она нарисовала двенадцать карандашных картинок и шесть картинок красками, она спела все песни, которые знала, она задала все вопросы, которые могут прийти в голову ребенку: «А как на самом деле далеко до Луны, а, папа? Бабушка! Если бы мне нужно было дойти до Луны, сколько времени это заняло бы, а? А как ты думаешь, кто больше нравился принцессе Диане — «Аква» или «Спайс-Гёрлз»? А гости придут в четыре часа? А будем ты, и я, и папа? И вот когда все гости придут, мы откроем все подарки?» И она рассказала все, что ребенок может рассказать: «А ты знаешь, папа, Сюзанна говорит, что она будет жить в Индии! Бабушка! А ты знаешь, один раз, нет, правда, когда мы были на одном маленьком острове рядом с Осло, знаешь, что мы там видели? Дохлых собак! Да! Дохлых собак! Двух дохлых собак! Ой! Их так жалко было — да, да, да, да, да». И еще они играли в поп-группу, и они играли в ветеринара, и они играли в деньрождение с сосисками понарошку, и игрушечными тарелочками, и лимонадом понарошку — чего только не делала Шарлотта Исабель! И то, что больше всего изумляло Ярле, это не темп, нет, темп и напор Шарлотта Исабель демонстрировала с тех самых пор, как появилась здесь почти неделю назад. Нет, то, что так поражало его, была эта

непостижимая *радость*. «Господи ты боже ж мой, — думал он. — Границ у нее, по всей видимости, нет, она, по всей видимости, неисчерпаема, эта радость Шарлотты Исабель. Как это только возможно — *так радоваться*? Так *долго* радоваться? Неужели и я сам когда-то *так же* радовался? Неужели и я сам вот так же был исполнен ожидания, как Шарлотта Исабель, и весь исходил счастьем? И куда в таком случае девалось все это счастье? Неужели в самом деле, — думал он, — все мы приходим в этот мир светлячками ожидания и радости, всем нам выпадает счастье почувствовать ее, эту нерассуждающую и несдерживаемую радость — радость, которая только нарастает и нарастает и которой, кажется, нет конца и края? Не может же быть, чтобы только у моей дочери так было, — думал Ярле, глядя, как она сидит и покачивает головкой в такт песне, которую поет, — и если он не ошибся, то ее слова звучат вроде бы как «If you wanna be my lover^[24]. — Неужели действительно жизнь состоит в том, что ты утрачиваешь способность радоваться, что это путь, который начинается с безудержного и пронзительного счастья, и с каждым событием в жизни, с обретаемым опытом оно сменяется размышлениями и тем самым съживается до тех пор, пока человек вдруг не оказывается лишенным вообще всех радостей и сохранившим только... *мысли*? О, эти мысли! — думал Ярле. — Господи, как же меня влекли эти мысли! На протяжении нескольких лет это было, можно сказать, единственным, к чему я тянулся, — докопаться до них, до этих заветных мыслей, докопаться до них и пересадить их в иную почву, ухаживать за ними и держать их на свету в надежде, что они вырастут большими, гордыми и сияющими! Мысли! Великие мысли! Которыми, должно быть, населен *благородный мир мыслительной деятельности*! Господи ты боже ж мой! — подумал он и покосился на Лотту, которая смеялась над чем-то, что рассказывала Сара. — В мире Лотты, можно сказать, и вообще-то мыслей нет. Она просто-напросто вообще *не думает*. Она только... что же она делает... чем же она, собственно говоря, занимается... она только... да-а... *живет*? Неужели это такая... подлянка? Неужели это такая... невероятная подлянка? Неужели мне нужно было дожить до двадцати пяти лет, неужели мне необходимо было добраться примерно до половины блестящего диплома об ономастике Пруста, чтобы прийти к выводу, что я сам только думаю, в то время как моя дочь живет? Неужели я не в состоянии сформулировать какую-нибудь более тонкую мысль — да! *мысль*! — чем эта? Неужели все мои шаги на этой земле, все мои двадцать пять лет вели к *этому*? Господи боже ж ты мой!» — подумал он снова и тихонько покачал головой, когда Шарлотта

Исабель в четвертый по меньшей мере раз за время обеда неожиданно вскочила на стул и принялась, хлопая в ладоши, сама себе петь поздравительную песенку с днем рождения. Сара тоже подхватила эту песенку, и тоже по меньшей мере в четвертый раз, и Ярле, слегка смущаясь, замурлыкал припев, и никак ему при этом не удавалось с головой и беззаботно отдаться этому занятию.

С тех пор как Сара приехала из Ставангера, он не раз поражался тому, насколько легко и безболезненно мать включалась в детские проказы Шарлотты Исабель. Да, он много раздумывал над тем, как Саре удавалось, так сказать, *стать ребенком* вместе с Лоттой, о чем сам он даже и помыслить не мог.

Он был вынужден признать, что то, как они подружились, прямо-таки стали *подружками*, впечатляло, и это было совсем не то, что получалось у него на протяжении гораздо большего числа дней, чем те, что провела здесь Сара. Это навело его на мысль об эссе старины Шиллера о наивной и сентиментальной поэзии, и он сразу же задумался о том, что сказал бы старина Шиллер о Саре Клепп. Может быть, старина Шиллер, который, как известно, считал, что мы никогда не сможем достигнуть наивности самых ранних эпох, что мы все приговорены быть сентиментальными, счел бы его мать глупой и незадачливой бабенкой? Или же старина Шиллер как раз восхитился бы той наивностью, которую она сумела обнаружить у себя? Вызвала ли бы Сара Клепп порыв вдохновения у старины Шиллера? Могла ли бы встреча Сары Клепп с Фридрихом Шиллером изменить историю литературы? Сам Ярле вряд ли мог бы чем-нибудь удивить старину Шиллера. Ярле затерялся бы в шиллеровском ходе мыслей так же легко, как волосинка теряется в шевелюре, потому что уж что-что, а наивным он не был, его мир не был детским миром божьих коровок. Даже когда они пели детские песенки, то он был не в состоянии не *думать* о том, что они поют детские песенки; когда они играли с детскими — игрушками, то он был не способен освободиться от *мысли* о том, что они играют с детскими игрушками.

Он просто-напросто не был *погружен в это* так, как была погружена Сара, — в это наивное и смешливое существование. Это поразительно, пришлось ему признать. И печально. Он вынужден был признать и это тоже. Не то чтобы он когда-нибудь желал себе дочери, на этом он стоял, во всяком случае с самим собой, это у него чуть ли не принцип такой стал, но тем не менее: раз уж теперь у него объявилась дочь, которая обладала таким светлым, по-кроличьи славным нравом, которая была такоймышленой — это он уже не раз отмечал, — которая к тому же

сумела его растрогать, так что уж раз теперь ему скинули эту дочь на руки, то он был бы рад разок или два опуститься до уровня *детского существования*, на котором находилась Сара. Может, это такой женский феномен? Может, дело в том, что он, поскольку он мужчина, никогда не сможет пробраться на эти детские земляничные поляны? Разумеется, Хердис Снартему раздраженно покачала бы головой, может статься, злорадно покачала бы головой, выскажи он подобную мысль, то есть что это имеет какое-то отношение к полу, осмелся он выдвинуть предположение, что вот такое, детское и нерефлексирующее, проникновение в мир ребенка легче дается женщинам, чем мужчинам: «Эх ты, Ярле, Ярле, неужели ты еще не понял, что отличия в поведении мужчин и женщин обусловлены социокультурно и никоим образом не заложены природой?»

В любом случае это поразительно и все равно печально, думал он и пытался отмахнуться от порнографических сцен, объявившихся в голове, причем обе вполне отражали естественные начала и в обеих была задействована Хердис Снартему: одна из них представляла ее склонившейся вперед в сидячем положении, вторая же демонстрировала ее в положении лежа, при этом она поглаживала руками свое тело, начиная сверху, с шеи, и спускаясь все дальше вниз. Эти сцены ему лишь огромным усилием воли удалось задвинуть в глубь сознания, и то сопротивление, которое они оказали, заставило его подумать о том, что, напротив, когда он только лишь пару недель назад нанес визит Хердис Снартему и она сначала плавно опустилась на его дар спиной к нему — восхитительная позитурa, которая подчеркивала виолончельные очертания ее талии, — а чуть позже устроилась лежа и ошарашила его, проведя руками по всему своему телу, — что вот там-то он пребывал в естественном состоянии незамутненного самозабвения. Никаких мыслей. Никакой рефлексии. «Удручающе, — подумал он, — это просто-напросто удручающе. Я, значит, могу переспать с человеком, который, вообще-то, глубоко меня ранил, и достичь при этом состояния безмятежного существования, но я не могу спеть детской песенки, не чувствуя себя глупо. А вот мама может. Да еще поразительно, насколько искренне. И все же... — размышлял он дальше, — все же это еще и недостойно. Потому что что же есть такое взрослый человек, если он постоянно должен опускаться в безграничный и бестолковый мирок ребенка, занятого только самим собой?» Потому что, как бы то ни было, мысль вела его к тому, что, как ни крути, ребенок прост. Поэтому-то мы их и любим, мы любим их по той же причине, по какой мы любим оленят и колокольчики. Они ошеломляют нас своей

трогательной невинностью — вот почему мы не перестаем пленяться детьми, потому что сами мы, став несчастными взрослыми, выпестовали в себе эту удручающую сложность, *потому что сами мы осознаем, что мы больше не дети и никогда не сможем снова стать детьми.* Потому нас и влечет простота ребенка, та, которой мы когда-то и сами обладали, когда нам самим вот-вот должно было исполниться семь лет, вот как Лотте сегодня, и когда мы думали, что мир — прекрасное, и доброе, и праздничное место, когда никакая тень и никакое горе никогда-никогда не длились дольше того времени, сколько требуется, чтобы слезинка докатилась от глаза до подбородка.

— Правда хочешь, папа?

Ярле вздрогнул, когда сквозь густой туман мысли, которым он себя окружил, пробился голос Лотты.

— А, что?

Лотта улыбалась в счастливом ожидании:

— Правда хочешь?

— Ну да, — сказал он, не представляя себе, о чем она говорит, — хочу, пожалуй.

Лотта в восторге захлопала в ладоши.

— Ура-а! А я так и думала, бабушка, — крикнула она, — что папа захочет!

Она соскочила со стула, вскарабкалась ему на спину, повисла на нем, крепко держась за его шею, и громко скомандовала:

— Тпру-у-у! Тпру-у-у! Папа — лошадь! Тпру-у-у!

Ярле было приказано встать на четвереньки, и он наконец понял, чего же он такого хотел и на что ответил «да», а Сара от души хохотала над сыном, который пытался галопом пройти по комнате с дочерью на спине:

— Ах, Ярле, ты бы видел себя сейчас!

— Лучше не надо, — пробурчал он и с неохотой выполнил приказание Лотты поржать.

Пока он старательно нарезал круги по комнате с Лоттой «в седле», как она сама выразилась, произошло нечто, что Ярле еще долгое время после этого будет рассматривать как поворотный пункт в собственном развитии: он забылся. В какое-то мгновение во время «прогулки верхом», говоря словами Лотты, это занятие показалось ему забавным. Голова у него пошла кругом, а ладони устали и заныли от скачков по полу то галопом, то рысью с дочерью на спине, но он чувствовал, что его тело поймало ритм, и он чувствовал, что в животе щекотно, в голове стучит и что звуки заливистого смеха Шарлотты Исабель воздушными пузырьками распространяются по его телу, и на какое-то мгновение, и совершенно непонятно с чего, он забылся. Он не сказал бы,

конечно, что превратился в лошадь, но он по крайней мере забыл, что он — взрослый человек, изображающий лошадь. Это он мог с уверенностью утверждать, когда позднее с восторгом рассказывал об этом всем, кто изъявлял готовность его слушать. «Я забыл там и тогда, — говорил он, — кто я такой, или, скорее, я прекратил мыслить, понимаете? Я прекратил мыслить! Я просто был! Лошадью? Человеком? Кто знает?! Я просто был! Понимаете? Я просто скакал галопом, скакал рысью с Лоттой в седле, и это было восхитительно, это было колоссальной радостью для меня, для — да, почему бы не признаться? — для лошади по имени Ярле Клепп!»

Пока Ярле ржал и фыркал, позвонили в дверь. Лотта крепко сжала руками затылок своей лошади и направила ее в коридор, чтобы открыть. «Там за дверью корыто с водой, — сказала она, — так что там лошадка сможет попить». Она уперлась пятками ему в бока и притормозила у двери. «Или, может быть, ты будешь моей маленькой понькой, папа?» — спросила она и зашлась смехом, протягивая ручонки к ручке двери. К Ярле вернулось представление о том, что это он сам, а не лошадь или пони, и он уже приготовился встретить тот унижительный миг, когда Шарлотта Исабель откроет дверь Хассе, Ариллю или еще кому-нибудь из его знакомых.

Но тот, кто звонил, не относился к кругу его знакомых, во всяком случае был не из тех знакомых. Это была девушка в возрасте лет двадцати с небольшим, очень светлая блондинка с волосами до плеч. Голубая летняя куртка, узкие джинсы, белые туфли, и в руках чемодан. У нее были большие и широко открытые глаза и красивый рот с пухловатыми губами. Ярле смотрел на нее из своего лошадиного положения на полу, пока ему вдруг не стукнуло в голову.

Анетта Хансен. Это была Анетта Хансен, которую он не видел с зимы 1990 года.

Смех Шарлотты Исабель оборвался, девочка соскользнула со спины Ярле, и маленькие ножки осторожно опустились на пол.

Он поскорее поднялся, кивнул и кашлянул, как бы извиняясь, а параллельно все пытался осознать случившееся: она — здесь? Девушка, с которой он переспал, та девушка, которая теперь мать Лотты? Она здесь? Почему она здесь? Разве она не собиралась позвонить и поздравить дочь с днем рождения по телефону? А? Что она здесь делает? Разве она не за границей, и вообще, что происходит?

Он снова окинул ее взглядом: милая девушка, обычная, приличная, по виду и не подумаешь, собственно, что она работает в универсаме «Рема-1000», гордые груди, увидел он, густые

волосы, маленькие, суховатые руки».

Анетта застенчиво кивнула в ответ, и взгляд у нее был поразительно похож на взгляд Шарлотты Исабель.

— Привет, Ярле, — сказала она, и голос у нее сорвался. — Давно не виделись.

— Мда. — Ярле нервно почесал затылок и оглядел коридор, как будто что-то искал. — Так... ты здесь?

Или... я что хочу сказать...

— Да. Я... — Анетта покраснела.

— А-а-а, ну ладно, — сказал он, чувствуя, что никак не получается найти ту ноту, на которой можно было бы оказаться на равных. — Мы тут в лошадки играли, понимаешь... вот так. Неожиданно как-то все...

Господи!

Она действительно здесь.

У него. Она мать его ребенка.

С этого момента им придется иметь дело друг с другом всю оставшуюся жизнь.

Между ними встала Лотта. Она посматривала то на одного, то на другую, и на лице ее складывалась какая-то неуверенность.

У Анетты глаза бегали, так же как и у Ярле, и в течение нескольких секунд они стояли друг перед другом, оба испытывая какое-то странное чувство, совершенно не представляя себе, что нужно в такой ситуации сказать, задаваясь тысячей вопросов, пока Анетта вдруг не заметила, что с ними там Шарлотта Исабель. Она выдохнула, кровь отхлынула от ее лица, и она опустилась на колени, с повлажневшими глазами, как заметил Ярле.

— Девочка моя! — Анетта протянула руки к дочери. — Как ты, у тебя все хорошо? А? Ой боженьки, мама так волновалась.

Лотта осталась стоять возле Ярле.

— Ну, Лоттинька, миленькая моя. Что ты? Как тебе тут показалось? Бедненькая моя. Ох, извини. Ох. Я не смогла без тебя, понимаешь? Маме захотелось скорей вернуться домой с... с юга. Поздравляю с днем рожденья, девочка моя!

Ярле почувствовал, что ему хочется забрать дочь к себе, что как бы нельзя отпустить ее и дать ей обняться с матерью, но додумать эту мысль до конца ему не удалось.

Потому что Лотта не двинулась с места. Он опешил. Лотта стояла рядом с ним, а перед ней стояла на коленях ее мать со слезами на глазах и с простертыми руками. Но Ярле почувствовал, как, вместо того чтобы сделать пару шажков вперед и пасть в объятия матери, Лотта отодвинулась поближе к нему, прижалась к нему, как она не глядя протянула свою ручку и

нащупала его руку. Лотта крепко вцепилась в нее, и он не мог не принять в свою руку детскую ручонку, хотя он и видел, как Анетта сглотнула и всхлипнула, поднимаясь с колен.

И тут Лотта взвыла. Она заорала и завопила, будто на нее кто-то набросился, и Ярле застыл на месте не в силах отвести взгляд от ребенка, который разрывался от горя. Из комнаты в коридор выскочила Сара, и она сразу поняла, что случилось, но и она тоже ничего не могла поделать с ребенком, который с кулаками накинута на свою мать и, молотя по ней, вопил и завывал:

— Уезжай к себе домой, мама! Ты мне тут не нужна! Ты не нужна тут Лотте!

Потом она пронеслась мимо Сары в комнату, а через комнату прямо в ванную, где и заперлась.

Анетта быстро отставила в сторону чемодан, бросила извиняющийся взгляд на Сару, пробормотала «простите» и поспешила за дочерью. Ярле и Сара обменялись взглядами и тихонько пошли вслед за ней.

— Лотта! Доченька! Мама здесь. Эй!

Ярле видел спину Анетты Хансен, с которой он когда-то переспал, перед дверью в ванную. Так странно было снова ее видеть. Взрослую женщину, мать, и все еще такую юную. Незнакомую девушку, которая при этом была матерью его ребенка.

— Лотта! Может, выйдешь, а?

Анетта повернулась к Ярле:

— А ты можешь найти ключ?

— Какой ключ?

— Ну, запасной ключ. — Она снова повернулась к двери. — Лотта! Выходи, а! Пожалуйста!

— Э-э-э... да нет у меня вроде никакого запасного ключа, — сказал Ярле.

В глазах Анетты, когда она обернулась, сверкнула молния.

— Вообще-то, — сказал Ярле, — у меня только один ключ. И он вставлен в дверь изнутри.

Анетта тяжело вздохнула и приникла еще ближе к двери:

— Лотта. Ну послушай. Девочка моя. Это мама. Выйди, пожалуйста, а!

В ванной стояла тишина. Ни Ярле, ни Сара ничего не говорили.

— Девочка моя. Ну я прошу тебя!

Ни звука.

— Ну прости меня, пожалуйста, Лотта!

— Уходи!

Анетта прикрыла рот руками и всхлипнула.

— Уходи! Уезжай домой!

— Ну Лотта же, ну...

— Уезжай домой! Я хочу быть с папой!

Ярле вздрогнул. Обе, и Анетта, и Сара, посмотрели на него.

— Папа! — прорыдал ребенок из ванной. — Я хочу быть с папой! Уйди!

Сара кивнула Ярле.

Гм?

Она снова кивнула ему.

Что она хочет сказать?

Теперь и Анетта тоже кивнула.

Да что они от него хотят?

— Поговори с ней, — шепнула Сара.

«Поговорить с ней? Мне?»

Ярле сжал челюсти и заскрипел зубами.

«Я?»

Он подошел поближе и встал рядом с Анеттой.

— Э-э-э... Лотта!

«Что я ей скажу? — думал он. — Что они хотят, чтобы я сказал?»

Анетта сделала шаг назад и оставила его одного перед дверью.

«Хорошенькое дельце, — думал Ярле. — И теперь, значит, я должен — что?»

— Лотта, слышишь меня? — пробормотал он нерешительно.

«Да что же такого я могу ей сказать?»

Он тихонько кашлянул:

— Лотта. Послушай... Это папа... Да... А вот бы мама и бабушка взяли да и вышли прогуляться. — Он обернулся и увидел, что обе легонечко кивают ему. — Да, вот если бы они вышли прогуляться, то, может, мы с тобой поговорим чуть-чуть, а?

Из ванной не доносилось ни звука. Но Анетта и Сара ушли. Ярле приподнял плечи и снова опустил их, тихо-тихо. Он сел на пол перед дверью. Он не вполне представлял себе, что он должен сказать, и он не вполне представлял себе, что случилось, он не вполне представлял себе, как это связано с появлением Анетты; ну и ладно, потом разберется. Они ушли, ребенок позвал его, и было ясно, что теперь улаживать все это предстоит ему. Теперь он снова должен проявить себя как мужчина. Но каким образом? Чем же на свете он может ей помочь?

— Эй! — произнес он спокойно.

Тишина.

— Ты слышишь меня?

Все та же тишина.

— Я сижу здесь, снаружи.

Ему послышался какой-то звук, будто она подошла поближе к двери там, внутри.

— Нехорошо как-то получилось, правда ведь?

В дверь стукнули разок.

— Может, ты хотела бы побыть одна?

В дверь стукнули два раза. Он кивнул:

— Два раза значит «да»?

В дверь опять стукнули два раза.

— А один раз значит «нет»?

В дверь стукнули два раза. Он снова кивнул.

— Ничего, если я тут посижу немножко? — спросил он осторожно.

Лотта изнутри постучала два раза.

— Хорошо, — сказал он. — А ты как? Можно, я скажу кое-что?

Она опять постучала два раза.

— Ты знаешь, — заговорил он, — когда я был маленький, мне часто бывало страшно. Я спал один в комнате, потому что у меня не было ни братьев, ни сестер. И мне было страшно. Мне почти все время было страшно. Я в последнее время не думал об этом, но когда я тебя увидел, то я подумал, что вот Лотта, она-то большая и умная девочка и она ничего не боится. Но тебе ведь тоже немножечко страшно, правда?

Лотта стукнула два раза.

— Ну и ничего особенного. Даже если тебе страшно, это нормально. И если ты немножко сердисься, это тоже нормально. Ну и что такого? Со всеми бывает. Только знаешь что?

Он прислушался. Через некоторое время раздались два удара в дверь.

— Сегодня-то, ты не забыла? Сегодня же твой день рождения. А ты знаешь, что папа приготовил тебе большой сюрприз?

Он услышал, как Лотта возится там внутри. Раздался смешок, и в дверь забарабанили.

— Кажется, получилось десять стуков, не меньше, а, Лотта? — сказал он и улыбнулся. — Что тогда это значит? Десять стуков?

Она снова забарабанила в дверь, часто-часто.

— Ну ладно, ладно, — сказал он и сам забарабанил в ответ. — Большой-большой сюрприз. — Он кивнул, — как если бы он в то же время вел разговор и с самим собой. — Даже очень большой сюрприз, и я вообще-то не собирался тебе про него

рассказывать.

Раздался звук поворачиваемого в замке ключа. Он поднялся с пола.

— Очень-очень большой сюрприз, вообще-то, — повторил он, — и я надеюсь, тебе понравится.

Дверь приоткрылась, и из-за нее смущенно выскользнула Лотта. Не поднимая на Ярле глаз, она подошла к нему вплотную. Он поднял ее на руки и почувствовал, как она плачет, без единого звука.

— О-хо-хо, — шепнул он, — как все это нелегко тебе далось, да уж! И это тебе-то, такой хохотунье, а?

— Иногда, — шепнула Лотта, обвив руками шею своего папы и так и повиснув на нем, — я смеюсь, потому что боюсь бояться. А что за сюрприз, папа?

— А вот через пару часиков узнаем, — сказал он и погладил ее по волосам. — Как ты думаешь, может, позовем теперь маму с бабушкой?

Шарлотта Исабель всхлипнула.

— Да-а, — шепнула она, — теперь позовем.

Они нашли Сару и Анетту на скамеечке у дома. Когда они подходили к скамейке, Ярле заметил, как напряглось все тело Шарлотты Исабель, как ей не хотелось идти. Несколько секунд она, застыв, оставалась на расстоянии, глядя в землю. Постояв так немножко, она медленно двинулась к матери. Анетта взяла ее за руку, и Ярле видно было, что они держались за руки много раз до этого; потом они вместе потихоньку пошли домой. Анетта пыталась заговаривать с девочкой, но Лотта шла опустив голову и отвечала коротко и односложно.

И когда они пришли, Лотта тоже не шла на контакт. На лице у девочки была написана неуверенность, она отводила взгляд, когда взрослые пытались посмотреть ей в глаза. Все трое пробовали пробиться через эту стену: Сара спросила, не сделать ли ей бутерброд, Ярле предложил ей порисовать — может быть, сделать рисунок для мамы, а Анетта сказала, что теперь Лотта должна рассказать обо всем, что они делали тут, в Бергене.

Но девочка была не в настроении. Она мельком поглядывала то на одного, то на другого и не могла понять, с кем же в семье ее место. Она взяла свою маленькую пони, отыскала золотой гребень и, присев в уголке дивана, стала расчесывать ей гриву, раз за разом, и долго еще этим занималась, когда серебристая грива давно уже стала гладкой и блестящей.

Анетте было горько видеть, в какое замешательство она повергла своего ребенка. Она не была готова к такому, и она никак не могла удержаться от того, чтобы не задавать ей всяких

незначительных вопросов: часто ли в Бергене шел дождь? И познакомилась ли Лотта с кем-нибудь, а? Но чем больше она спрашивала, тем неохотнее Лотта отвечала, и в конце концов Сара шепнула:

— Подожди немножко, дай ей время, чтобы прийти в себя. Только когда прошло полчаса и трое взрослых уже стояли на кухне и мыли посуду, из гостиной послышался голос:

— Вот теперь ей больше никогда не придется причесываться, потому что я сейчас так ее расчесала, что у нее волосы никогда не будут некрасивыми.

Ярле не торопясь прошел в гостиную.

— Можно посмотреть? — спросил он и протянул руку.

Лотта подала ему пони. Он провел пальцами по гриве и кивнул:

— Я думаю, и правда не придется.

— Я просто немножко обиделась, — объяснила Лотта, — а теперь все прошло. — Потом добавила погромче, чтобы услышали оставшиеся на кухне: — Папа приготовил сюрприз!

Анетта и Сара пришли с кухни.

— Да, — сказал Ярле, — это правда, правда. Я действительно приготовил сюрприз. — Он посмотрел на Лотту. — А теперь я и сам получил сюрприз, раз Анетта — или мама — тоже здесь. Но это просто здорово, — добавил он, — потому что ведь тогда она тоже сможет поучаствовать в моем сюрпризе.

— Правда? — спросила Лотта и посмотрела на двух человек, которые были ее родителями.

— Да, — сказал Ярле и бросил взгляд на Анетту. — Ты ведь сможешь?

Анетта пожала плечами, улыбнулась безыскусной улыбкой, от которой из уголков глаз поползли по три тоненьких морщинки, а в глазах вспыхнули мелкие искорки, — и эта улыбка смутно вспомнилась Ярле из давно прошедших времен.

— Да, смогу, наверное...

Позади них показалась Сара. Она прислонилась к косяку двери и стояла, грея руки о чашку с кофе; она разглядывала сына и Анетту, пытавшихся вести себя как родители.

Ярле кивнул:

— Тогда мы поступим следующим образом: Лотта и Анетта — или мама — останутся здесь. Их задачей будет украсить комнаты, прибраться в доме и вообще навести такую красоту, какую только возможно. Все здесь должно сиять и блеснуть и выглядеть как во дворце. И вот когда вы сделаете так, чтобы все выглядело как во дворце, то вам надо будет переодеться для приема гостей. О'кей?

Лотта снова схватила гребень своей пони и принялась

расчесывать ей гриву.

Она причмокнула и задумчиво склонила голову набок.

— О'кей, — сказала Лотта.

— О'кей, — повторила Анетта.

Они вышли в коридор, где Ярле встал на цыпочки и потянулся к шляпной полке.

— Лотта, — сказал он, достав оттуда пакет, — это тебе.

Все ее лицо выражало нетерпение, когда она потянулась за пакетом.

— Подарок! Уже?

— Нет, — сказал Ярле, наблюдая, как торопливые детские ручонки разворачивают пакет. — Нет, это еще не сам подарок, подарок ты получишь попозже.

Лотта достала из пакета красное платье с короткими рукавами, белым пояском и белой отделкой по вырезу и рукавчикам, пару черных туфелек и рыжий парик.

Она держала все это в охапке и все крутила в руках парик, как будто не могла поверить, что он настоящий.

— Папа, — шепнула она, — это Энни?^[25]

— Угу, — он кивнул, — это Энни.

— Но... — Она посмотрела на него. — Большое спасибо, папа.

Он гордо улыбнулся:

— Мы устроим карнавал, Лотта, и ты нарядишься Энни.

Лотта бросилась к Ярле на шею и крепко его обняла:

— Мама мне никогда не дарила костюма Энни, сколько я ее ни просила!

— Да-да. — Он кашлянул. — Теперь ты, стало быть, знаешь, что у нас будет карнавал. А сейчас мы с бабушкой пойдем уладим кое-какие дела, и потом, когда кто-нибудь через часик или чуть позже позвонит в дверь, вы должны пойти в гостиную, встать посредине комнаты и закрыть глаза.

В подъезде Ярле и Саре попалась озабоченная Грета Страннебарм, которая с руками, полными пакетов, и рюкзаком за плечами торопливо поднималась по лестнице. Волосы прилипли к овальной голове, она оставляла за собой капли воды, дождем пролившейся на нее на улице, а по обеим сторонам носа расположились ее нежные черепашьи глаза. Сара, увидев ее, широко улыбнулась, будто встретила старого друга, как показалось Ярле; он отметил про себя, как мама инстинктивно отнесла Грету к тем женщинам, которых она бы одобрила. Он и раньше замечал с некоторым неудовольствием, что мама почти незаметными жестами, незаметными взглядами и всякими мелкими замечаниями, которые ей удавалось ввернуть к месту и не к месту, выбирала для него девушек; как она, без какого бы то

ни было нажима, ухитрялась дать понять, что «вот эта девушка, Ярле, эта мне нравится, на ней можешь жениться, если захочешь, с ней можешь спокойно и ребенка завести». Те девушки, которых мама таким бессловесным, но настоящим образом отбирала для Ярле, чаще всего оказывались такими, каких можно назвать статными, приличными и воспитанными. Чаще всего в них проступало здоровье, присущее, скажем так, дояркам, и вполне можно было подумать, что вот она, она-то с детства сбивала масло и доила коров. В Грете Станнебарм отсутствовала эта розовая свежесть доярок, но она тем не менее произвела на Сару в последний раз, когда они встретились — когда мама одолжила у нее гладильную доску, — впечатление, будто она была и статной, и приличной, и воспитанной; и не прошло теперь и какой-нибудь парочки секунд, как две женщины прямо на лестнице зацепились языками и никак не могли расцепиться. Грета, смеясь, показала свои пакеты и рассказала, что она пораньше ушла с работы, чтобы успеть на карнавал, и что, разумеется, с удовольствием поможет им, как она сегодня уже обещала утром, когда Ярле заглянул к ней и изложил свою идею. «Да, конечно, — сказала Грета, — это же так здорово, Даниэль уже всюду размышлялся». Она повернулась к Ярле, которому бросилось в глаза, какие у нее необыкновенно тяжелые веки (там и тогда он воспринял это как нечто колоссально притягательное), и сказала, что она сожалеет, что так жестко отказывалась от общения с ним после той ночи, когда он не явился домой. Он надеялся, что мама не расслышала этого. Но, продолжала Грета, она надеется, что он понимает, почему она так поступала. Ярле перехватил тяжелый взгляд Сары, надеясь только, что Грета больше не скажет об этом ничего, поскольку он пытался сохранить всю эту историю в тайне, но тут Грета сказала, что, как она полагает, он понимает, что оставлять своего ребенка у чужих людей всего на второй день после того, как девочка впервые попала в незнакомый город, а самому отправиться в кабаки и пьянствовать чуть не всю ночь напролет, а потом устроить сцену ревности бывшей подруге и появиться перед своим ребенком в ужасающем состоянии, — вряд ли это можно назвать подобающим поведением. Он кивнул и, пробормотав: «Разумеется, разумеется», услышал как отдается эхом в подъезде молчание Сары.

Так мы тогда на сколько договариваемся, где-нибудь около четырех, да? — Грега открыла дверь в свою квартиру. — Вы ведь хотите зайти к нам и переодеться здесь, так?

Ярле кивнул:

— Да, если это удобно, конечно.

— Да, конечно. Торт я испеку до того, как идти за Даниэлем, а наряжусь потом.

— Тут вот еще что... — сказал Ярле и закусил губу. — Тут вот какое дело. Э-э-э... Да. Приехала мать.

— Какая мать?

— Да мать, мать Лотты.

— А, но это же замечательно, — удивленно сказала Грета.

— Да нет, это я просто чтобы ты знала, — пробормотал Ярле. — Ее зовут Анетта Хансен.

Сара и Ярле распрощались с Гретой и вышли под дождь. Зонтик у них был один на двоих, и у Ярле возникло чувство, которое он испытывал раньше много раз, это было одно из самых неприятных чувств, какие ему доводилось испытать, а именно что мама им недовольна. Ему не требовалось ни смотреть на нее, ни слышать ее, чтобы ощутить это. И это его раздражало, сколько бы она ни была права, когда она вот так шла рядом и думала то, что думала. Вот это-то его и раздражало — что она подсовывала ему девушек, которые, по ее мнению, ему подходили, точно так же как его иногда раздражало, когда он чувствовал, что она считает, что ему следовало бы ложиться — спать пораньше, пива пить поменьше или утром вставать до восьми. «Ну, скоро мне достанется, — думал он. — Ох достанется. Ну давай же, мама, выкладывай, что ты там ждешь и мучаешься. Ну что ты хочешь мне сказать, мама? Если бы ты вывалила сейчас все, что ты, собственно, хотела бы мне сказать, как бы это звучало? Ты сказала бы, что я жалкий трус? Ну давай же, мама, приступай, — думал он, вдвойне раздраженный тем, что она так кротко помалкивала, — вываливай свои морализаторские сентенции, которые, я знаю, тебе так и разбирает излить на мою голову».

Они купили все необходимое для приема гостей по части угощения к кофе, другой еды и всяких день-рожденных прибабасов. Раз уж у них будет карнавал, то бумажные колпаки на голову им были не нужны, но они нашли яркие соломинки для лимонада и салфетки с забавными узорами. Ярле попробовал разрядить напряженную атмосферу, рассказав о том, как ему в голову пришла идея с карнавалом, когда он возвращался от Роберта Гётеборга, но по ее рубленным ответам он слышал, что она всерьез рассердилась.

— Бахтин... — сказал он высоким юношеским голосом, который, как он надеялся, порадует маму, — Бахтин, мама, ты о нем слышала? Ну, знаешь, он еще про полифонию писал! Нет? О полифоническом романе? Нет? Ты не знаешь, что это такое? Многоголосый — вот что это значит, мама, многоголосый, как в музыке, «поли» значит много, «моно» значит один, понятно, да?

Так вот, Бахтин, понимаешь, он был изобретательный такой мужик, это он придумал про полифонический роман — и представь себе, — сказал он так живо, как только мог, — представь себе, когда я в тот день зашел к своему научному руководителю, чтобы, ну да, чтобы обсудить кое-что в моем дипломе, то у него на столе лежала книга Бахтина! Но это была не книга о полифонии, представляешь, нет, это была работа Бахтина о Рабле! Ты меня слушаешь, мама? Дело в том, что когда Бахтин писал эту свою действительно первопроходческую работу о Франсуа Рабле, где он анализирует народный карнавал в Средние века и в эпоху Возрождения и где он, этот великий русский ученый, четко и ясно показывает, как карнавал отменяет иерархию, сословия и чины, — слышишь, мама? — где он показывает, что карнавал действует на человека высвобождающе, что он сметает межличностные барьеры, низвергает высокое, возносит низкое и, так сказать, расчищает сцену для свежего и, да, движимого смехом... мама? Да ты слушаешь меня? Мама!

Сара остановилась и посмотрела на него.

— Мама! Ты понимаешь? Карнавал! Разве не классная идея?

Она склонила голову набок и выдохнула, пока Ярле, распахнутый своим собственным открытием, продолжал:

— Я подумал: эх, вот было бы здорово для Лотты собрать всех, с кем она познакомилась в Бергене, нарядить их в странные и необычные костюмы, устроить для нее шикарный праздник с массой народу! И вот я этим и занялся, понимаешь? Ага, я всех обзвонил, договорился с теми и с другими — ну, ты ведь понимаешь, — так вот, я позвонил даже той, что всего несколько дней тому назад так меня обидела, мало того, я даже пригласил не только ее, но и ее нового друга, несмотря на свои собственные переживания... и... мама! Правда же? Это же была хорошая идея? Бахтин? Лотта? Карнавал?

Сара продолжала мерить его взглядом.

— Ярле, — сказала она, — пока я нахожусь здесь, у меня было не особенно много времени, чтобы думать, потому что все развивалось как-то очень быстро, но я все же успела подумать.

— А, ну хорошо, конечно, — пробормотал он неуверенно, — думать — это хорошо.

— И когда я слышу, что ты оставляешь Лотту у соседки, Ярле, как если бы она была сумкой с вещами, и отправляешься шляться по кабакам на следующий день после того, как твоя дочь приехала в Берген, то я не уверена, что в состоянии удержаться на ногах.

Не в состоянии удержаться на ногах?

Он нахмурил брови.

— Во мне просто все переворачивается, понимаешь ты?

Он опустил глаза.

— Меня это все только возмущает, ты понимаешь это?

Он кивнул.

— Карнавал? Да, это, конечно, хорошо. Разумеется, устроить карнавал — это здорово. Но... — Она вздохнула и переступила с ноги на ногу. — Я вот о чем задумалась: как же далеко ты зашел, Ярле, и что же это за жизнь у тебя такая, как ты ее себе представляешь, если тебе необходим русский теоретик литературы, чтобы тебе пришлось в голову устроить карнавал для родной дочери?

Он сглотнул.

— Что скажешь?

— Но, — прошептал он, — мне бы эта идея не пришла в голову... да... если бы не Бахтин.

— Нет, — сказал Сара удрученно, — вот именно. Обычные люди, Ярле... — Она тяжело вздохнула и собралась с духом. — Карнавал, Ярле, — это такая нехитрая штука, которая обычным людям приходит на ум сама по себе. Как ты этого не поймешь?

«Обычные люди! — подумал Ярле с раздражением. — Обычные люди понятия не имеют о том, кто такой Бахтин!»

Сара покачала головой:

— Может, я ошибаюсь, но ты ведь затеял всю эту историю с карнавалом, потому что тебя совесть заела из-за девочки?

Он промолчал. Он пожал плечами.

— Ошибаюсь я, Ярле?

— Не знаю.

Они пошли дальше, через площадь Торг-алменнинген, к игрушечному магазину, где Ярле побывал несколько дней тому назад.

— Ты вот, сынок... — сказала Сара, когда они дошли до магазина. Она сложила зонтик, стряхнула с него капли воды. — Как ты думаешь, могла ли я оставить тебя у соседей, когда тебе было семь лет, а сама отправиться шляться по кафе?

— Нет, но, мама, я...

— Нет. Конечно нет. А теперь у тебя самого есть ребенок. Это для тебя оказалось неожиданным, я это понимаю. Но теперь она у тебя есть. Понимаешь ты это?

— Разумеется, я это понимаю, дурак я что ли? Вот только...

— И пора уже повзрослеть, Ярле, — прервала она его и открыла дверь.

— Но... — Он направился вслед за ней к прилавку. — Но подумай, а если я не... представь себе, а если я не умею или не хочу быть отцом и становиться совсем взрослым?

Сара вонзила в него два строгих глаза и ничего не сказала.

Та же молоденькая девушка, что обслуживала его несколько дней тому назад, вышла из-за стеллажей с «Лего». Сегодня у нее тоже был завязан хвостик, как заметил Ярле, и сегодня она тоже была сильно накрашена: розовая помада, серебристо-зеленоватые тени, лицо полностью покрыто темным тональным кремом, и ресницы, которые никак не могли быть натуральными.

— Ну что же, — сказала Сара вежливо, — что вы можете посоветовать вполне зрелой женщине, которая собирается на карнавал к собственной внучке, которой исполняется семь лет?

Через несколько минут они снова вышли под дождь. Сара несла пакет с карнавальным костюмом, и теперь время уже поджимало.

Она повернулась к нему:

— Все будет хорошо, поверь мне, Ярле. Я на тебя полагаюсь, ты это знаешь. Ты должен только понять, что в жизни не все вращается вокруг тебя одного. Так ведь? Шарлотта Исабель — это подарок, неужели не понимаешь? Ты получил этот подарок, и ты должен просто летать от счастья, ты должен гордиться, и ты должен его принять как величайшую драгоценность, потому что это так и есть. Понимаешь ты?

— Мало ли чего я должен, — пробубнил Ярле, кивнув маме, и подумал: «Она права. Но я тоже прав».

И они заторопились домой — Ярле с ощущением, что его поставили на место, Сара с ощущением, что она низведена до роли сварливой мамы, и это ей совсем не нравилось, но оба чувствовали, что начинают мандражировать, потому что теперь они идут на карнавал к Шарлотте Исабель Хансен, семи лет от роду.

С днем рождения, Шарлотта Исабель!

— Готовы?

У Сары на обеих щеках расцвели алые розы, не заметить которые было невозможно, парик с крупными золотистыми локонами, нарисованные вокруг глаз звезды, красный нос, рот же застыл в гримасе смеха.

Вокруг шеи был повязан огромный белый бант, одета она была в черно-белую клетчатую рубашку и широкие зеленые штаны, которые держались на красных помочах.

— Это что такое? — Сара ткнула в него пальцем. — Ты что, думаешь, что стал в таком виде неотразимым?

Ярле ухмыльнулся:

— А ты зато всю жизнь была клоуном, мама.

Он помахал черной полицейской дубинкой у нее перед носом. Черные усищи, топорщившиеся до самых скул, когда он говорил, пританцовывали в такт кустистым бровям, и Саре он показался гораздо привлекательнее в фуражке полицейского на голове, чем с по-студенчески гладким черепом. Форма — черные туфли, черные брюки, широкий ремень и строгий синий китель с золотыми пуговицами — сидела на нем как влитая.

— Ну, как я тебе нравлюсь, а? — спросил он и крутнулся на месте. — Я, участковый Клепп?

— Шикарно выглядишь, — сказал Сара и фыркнула. Она взяла в руку коробочку театрального грима. — Иди-ка сюда, дай я нарисую тебе красные щеки.

Грета сидела позади них на корточках и держала маленькое зеркало перед Даниэлем, чтобы ему было себя видно, пока она старалась сделать его как можно более похожим на Бэтмена. Мальчуган, сказавший, что он никогда раньше так не радовался карнавалу, был наряжен в парадные черные туфли, темно-синие колготки, которые они обычно надевали зимой, когда ездили в горы, сказала Грета, а вокруг талии у него был широкий ремень с логотипом Бэтмена, которым он очень гордился. Сверху на нем была надета рубашка поло с длинными рукавами, а на голове шлем

Бэтмена — остроконечные уши и скрывающая пол-лица маска.

После того как Ярле попала на глаза на письменном столе Роберта Гётеборга книга Бахтина, ему пришла в голову грандиозная, по его собственному мнению, мысль устроить карнавал, и он начал размышлять о том, как бы он мог, так сказать, творчески переработать дух мысли Бахтина о высоком и

низком, о детронизации власти и стирании граней между сословиями и применить это мышление в своей обычной каждодневной деятельности, и да, почти как *политическое действие*. И тут его вдруг озарило: вот это идея! Просто грандиозная идея! И вот когда Ярле пришла в голову эта «полифоническая идея», как он сам называл ее, то он всецело отдался размышлениям о том, кем же должны переодеться разные приглашенные.

Все они узнали об этом буквально в последнюю минуту, но все приняли приглашение с радостью — Роберт Гётеборг, перейдя на родной шведский, восторженно приветствовал «эту оригинальную идею, этот бахтинский праздник», а Хассе прищелкнул пальцами на обеих руках: «Блестяще: высокое, низкое, кто есть кто, становление неожиданных дискурсов — блестяще, Ярле, блистательно!» — все, кроме Арилля, которому все это показалось грубым травестированием всего Бахтина и который и вообще-то никогда и не видел в идеях или приглашениях ничего иного, как необходимость напрягаться. Какие же костюмы выбрать для всех этих, таких разных людей? Ярле полагал, что маскарадный костюм должен отражать личность переодетого. Или переодетой. И в том смысле, как человек сам себя видит и кем он хотел бы быть, и одновременно в том смысле, что таким образом будут складываться совершенно новые, как хорошо сказал Хассе, прямо в точку — *дискурсы*. А что карнавал — это всего лишь карнавал, как, похоже, представлялось маме в ее незамысловатом мирке, так это можно списать на счет ее собственной простоты. Интересно, что придумает Грета? Если переодевание к карнавалу связано также и с самопознанием, думал он, своего рода театрализованным представлением собственной личности, то он вполне мог бы сказать, что и его собственный выбор роли полицейского несет символическую нагрузку. Он стал отцом. Он предпринял выбор, который должен был сигнализировать порядок и надежность, ведь что может служить лучшей и во всем мире понятной метафорой роли отца, чем фигура полицейского? Что мама захотела одеться клоуном, отражало все ее мировоззрение, и ему ее выбор показался и точным, и забавным. Клоун, думал он, это и трагическая, и комическая фигура, поставившая себе целью в жизни заставить людей улыбнуться. В этом вся мама. Это квинтэссенция — если он мог отважиться на использование столь редуccionистского понятия — того, в чем заключалась мамина жизнь. И именно это она и хочет донести до Лотты: мы должны улыбаться. А что маленький Даниэль захотел быть Бэтменом, так это вполне естественно — все маленькие мальчики хотят быть

супергероями. Сам он выбрал для Лотты костюм Энни не только потому, что ей так уж нравилась эта везучая сиротка, но еще и потому, что, ему казалось, можно было провести тонкую параллель между ним самим и Лоттой, с одной стороны, и папашей Ворбаксом^[26] и Энни — с другой; в одно и то же время и реальную, и глубоко функциональную параллель. Но вот Грета? Что захочет выбрать для презентации своей личности столь нескладно сложенная женщина? Захочет ли она приукрасить себя? Предпримет ли она безнадежно обреченную на провал попытку преобразиться в принцессу или в эльфа? Или она сумеет найти нечто гармонирующее с ее собственной необычной внешностью, оденется ли она колдуньей, ящерицей, какой-нибудь еще рептилией?

— Нам уже пора, наверное? — Сара стерла излишки грима с его щеки.

Он кивнул и посмотрел на Грету, которая раскрашивала лицо сыну:

— Вы как, скоро будете готовы?

— Еще чуть-чуть, — ответила она, — осталось самую капельку.

Неплохо, решил Ярле, разглядывая ее, когда Сара вышла в коридор. Совсем неплохо она оделась. Ей идет этот костюм — белый мех, длинные уши, короткий хвостик. Грета Страннебарм поднялась и вставила в рот большие накладные зубы, Ярле подумал, что ни один кролик никогда так раньше не выглядел.

— Ну что, идем?

Он кивнул.

И Ярле не мог не подумать о том, что как бы неуклюже да и в общем-то прямо-таки уродливо ни была сложена эта барышня, каким бы странным ни могло показаться, что она представляла историю своей жизни как жизнь кролика, и невзирая на то что просто очень смешно было, как она стояла перед ним и разговаривала, слегка шепелявя из-за больших кроличьих зубов во рту, а тело ее формой напоминало огромную, раскачивающуюся на ветке белую грушу, — тем не менее всё в ней оказывало прямо-таки возбуждающее действие.

Большинство из нас приходят в дурашливое настроение, оказавшись в дурацком костюме, и на несколько часов пускаются во все тяжкие, но бывают зануды, у которых такая зависимость не проявляется. Некоторые из нас созданы из слишком сырого материала, в котором легко заводятся плесень и гниль, и тогда нам не хватает смелости. Нам это кажется неловким. Нам это кажется унижительным. Нам и в своем-то собственном обличье

всегда весьма неприятно передвигаться по улицам, так что если нам в дополнение грозит кривляться в виде клоуна, кролика, полицейского или Бэтмена, то это уж слишком. Нам кажется, что это сильно ударит по нашему достоинству.

Сара не принадлежала к этой категории людей, как и Грета или Даниэль, — они-то обожали все это. Им-то это все представлялось страшно *веселым*. А вот как Ярле? Не принадлежал ли и он к числу всех этих упертых человек, которым казалось стыдным и безвкусным переодеваться на праздник? Увы. Так почему же он, одетый полицейским, ощущал такой восторг, пересекая в несколько шагов коридорчик от Гретиной квартиры к своей собственной в компании клоуна, кролика и Бэтмена?

Потому что все это он сам придумал?

Может быть, это эгоистично, может быть, абсурдно, однако недалеко от истины. Раз уж такая идея пришла в его голову, раз уж это он задумал и раз уж это составляло часть более крупного замысла, который к тому же имел бахтинский теоретический фундамент, то эта затея его не тяготила. Совсем наоборот. Он пребывал в радостном предвкушении. Он пребывал в чрезвычайно радостном предвкушении!

Он пережил те прошлые дни, пока здесь была Лотта, с переменным успехом. Многое пришлось импровизировать, случилось много неожиданного, была совершена по меньшей мере одна фатальная и постыдная оплошность, но вот именно этот замысел целиком и полностью принадлежал ему, и тут было чем гордиться!

Ярле приложил палец ко рту. Тсс!

Все четверо выжидательно посмотрели друг на друга, и он нажал на кнопку звонка.

За дверью стояла полная тишина, как и должно было быть.

Они подождали несколько секунд, а потом открыли дверь. Вошли в гостиную. Повсюду висели шарики — свисали с каждой полки и каждой картинки, с каждого крючка и каждой лампы. От окна, выходявшего на улицу, были протянуты гирлянды, они разбегались по всей комнате и уходили дальше, на кухню, а оттуда шли снова назад, в жилые комнаты. У Ярле комок подступил к горлу, когда он увидел свою квартиру столь преобразившейся, и он подумал, что вот так у него никогда раньше не бывало.

Посреди комнаты стояли, закрыв глаза, Анетта и Лотта. Лотта в рыжем парике, как у Энни, в красном с белой отделкой платье, черных нарядных туфельках и белых колготках и с веснушками по всей переносице. Анетта начесала волосы со всех

сторон и нарисовала себе лицо колдуньи с расплывшейся готической помадой а-ля «Кью»^[27] и она достала одну из черных простынь Ярле и обмотала ее вокруг тела.

Ярле беззвучно подал троим сообщникам знак; сосчитав до трех, они сказали хором:

— С днем рождения, Шарлотта Исабель!

Лотта распахнула глаза. Она захлопала в ладоши, как обычно делала, когда что-то приводило ее в восторг. Она всех их обняла и сказала, что вот теперь они уже так долго ждали, «ужасно долго, правда, мама, мы ужасно долго ждали?» — и всё украшали да украшали, и это она придумала, чтобы мама была колдуньей, и папа ей кажется ужасно стильным как полицейский, а бабушка — самый смешной клоун из тех, что она видела, во всяком случае, а Даниэль крутой такой Бэтмен, и Грета ужасно хорошенький кролик, но можно теперь она распакует подарки?

В дверь позвонили, и Лотта раскрыла глаза еще шире:

— Еще кто-то идет?

Ярле пожал плечами, будто он ни о чем понятия не имеет, и Лотта побежала в коридор, где она открыла дверь Питеру Пэну и принцессе Диане.

Хердис, Хердис! Хердис Снартему.

Ярле аж скрипнул зубами, когда она вошла в квартиру. Вот чертовка! Конечно, Грета Страннебарм была совершенно необычным цветком в покрывающей весь мир флоре девушек, конечно, она влекла Ярле к себе с удивительной силой притяжения, и, конечно, она ослепляла планету своей деформированной оригинальностью, но что можно было противопоставить этой женщине-фейерверку, которая умела свернуться в супершар, которая умела выделять со своим телом такие трюки, какие выделяет канатоходец в цирке, которая вступила в квартиру, переодевшись в эту бабочку Англии, мало того, практически преобразившись в леди Ди?

Не вырвался ли из уст всех немногочисленных присутствующих вздох изумления? Не вылетел ли этот вздох изумления из груди Шарлотты Исабель, сорвался с ее уст и отозвался вздохом из уст Анетты,

Сары, Греты, да и самого маленького Бэтмена? Что было, то было. И этот вздох послышался, когда в гостиную вплыла Хердис. Она опустила челку на самые брови; и как она, обычно носившая прическу, совсем не напоминавшую Дианину, сумела скопировать ее до мельчайших подробностей, Ярле не мог бы ответить, равно как и на то, как она при помощи косметики и одежды ухитрилась появиться в его квартире и создать призрачное впечатление того, что умершая принцесса находится в этой комнате, но все это ей

удалось. Лотта не сводила с нее глаз, точно не могла поверить в то, что видит, а потом воскликнула:

— Ах, какая ты красивая!

— А-а-а, ерунда, — засмеялась Хердис, как она, вероятно, посмеялась уже над миллиардами комплиментов с тех пор, как была совсем ребенком, — это ты красивая, Лотта. Энни — ты же вылитая Энни, правда! С днем рожденья тебя!

— Тетя Хердис, я даже не знала, что ты придешь! Я ведь думала...

— Да, да! Здорово! — крикнул Ярле погромче и поотчетливее, чтобы избежать развития явно назревавшей темы. — Как здорово, что вы смогли прийти ко мне... к нам... к Лотте на день рожденья. — Он повернулся к Роберту Гётеборгу, который скромно стоял позади Хердис и позволил ей встретить тот блестящий прием, который, как он знал, выпадет на ее долю. — Роберт, спасибо вам большое!

— Ах, голубчик, да не за что благодарить — посмотрим лучше на эту молодницу! — Он улыбнулся Лотте и поднес руку к своей сережке.

— А ты кто? — спросила она.

— А ты разве не знаешь? — сказал он и крутнулся на триста шестьдесят градусов.

Ярле обратил внимание на то, с какой легкостью распоряжается Роберт Гётеборг своим шведским телом; он сейчас стоял, одетый в светло-зеленое трико с болотного цвета поясом. Грим придавал его чертам четкость и чистоту, и нельзя было не отметить, что он очень хорошо сохранился, как подумал Ярле, глядя, как тот склонился к Лотте и прищурил глаза:

— Я же Питер Пэн.

— Ах да! — воскликнула Лотта и закивала изо всех сил. — Ах да, это тот самый, который летает!

— Совершенно верно, — прошипел Гётеборг, как змея, — тот, который летает, тот, который никогда не станет взрослым, тот, который никогда не берет на себя ответственности, тот, который всегда играет!

Лотта странно посмотрела на Роберта Гётеборга, который картинно втянул воздух через нос и вытарашил глаза, примерно так, как обычно и делают на праздниках дяди, подумал Ярле, вспоминая собственное детство; почему-то практически у всех находились чеканутые дяди, выдумывавшие всякие глупости, — но тут в дверь позвонили снова. Тельце Лотты едва не воспарило над полом, когда она поняла, что это еще не конец, когда она вдруг осознала, что гостей будет гораздо больше, чем она ожидала, и Ярле увидел, как она опять стремглав несется к двери,

в то время как Роберт и Хердис ходят по квартире, чтобы поздороваться с Анеттой, и Сарой, и Гретой. Уголком глаза он успел уловить, что у матери, когда она пожимала руку Хердис, появился хорошо ему знакомый взгляд, взгляд, который Ярле легко расшифровал в том смысле, что мама моментально распознала, кто это такая и что она совершила, и, соответственно, сурово ее осудила; и он услышал, как Роберт Гётеборг говорит: «Ага, так это мама! Вот он в кого — ну конечно, сразу видно маму, налицо все родовые признаки мам, но при этом такая яркая индивидуальность, такую даму ни с кем не спутаешь! Уж позвольте мне, я вам скажу: ваш сын, конечно, путаник, да, но при этом он поразительно талантлив, *поразительно!*»

Ярле чувствовал, что ему нужно бы подойти к ним и предотвратить собственное разоблачение, которое, он видел, вот-вот произойдет, но Лотта кричала ему:

— Папа! Папа! Тут дядя Хассе! Дядя Хассе и... какой-то бородатый дядька!

Бородатый дядька?

Ярле вышел в коридор, где увидел Арилля, вешавшего куртку; на нем была его самая обычная одежда, а также окладистая накладная борода какого-то еврейского толка, а рядом с ним Хассе, убедительно нарядившегося волшебником: развевающаяся черная мантия, бородка клинышком, угольно-черный макияж и высокая остроконечная шляпа.

— Интересно, и кого же ты изображаешь? — сказал Ярле, усмехаясь, Ариллю.

Его приятель хмыкнул и, пожав плечами, неловко поздоровался с Лоттой:

— Нда-а-а-а, я... мы, кажется, и раньше встречались.

— Привет! — сказала Лотта. — Меня зовут Шарлотта Исабель. Я знаю дядю Хассе. А это ты кем нарядился?

— Нну-у... — Арилль кашлянул.

— Ты что, не знаешь?

Арилль снова кашлянул:

— Нет. Вообще-то не знаю.

— А я зато знаю! — гордо выкрикнула Лотта.

— О? — Арилль в первый раз посмотрел на нее с интересом, как показалось Ярле. — Серьезно?

— Да-а! — сказала Шарлотта Исабель и сложила руки крест-накрест на груди. — Ты волшебник, у которого ничего не получается!

Хассе громко захохотал и хлопнул Арилля по спине; девочка же снова усакала в гостиную.

— Вот видишь, Арилль, вот видишь? Устами младенца. Что,

Ярле? Должен тебе сказать, когда я ее опять увидел, твою Шарлотту Исабель, мне даже показалось, что я по ней соскучился. А? Каково? Что ты на это скажешь? — Он схватился за бок и скорчил жуткую рожу. — Да черт же возьми, ой-ой! Все хуже и хуже с этим самым делом. До чего же больно! — Вдруг Хассе обернулся к Ариллю. — Ну-ну, Бахтину бы понравилось, точно. Но что же это к чертовой бабушке, за бороденка, а?

— Может, прекратишь, наконец? — Арилль окинул Хассе суровым взглядом. — Вот честное слово, ты даже прилипчивее, чем мои братья. У меня только эта борода была, ну и что? Я же, черт побери, не шляюсь по карнавалам когда надо и когда не надо? Я карнавалы терпеть не могу, ясно тебе? И Бахтину бы это не понравилось, это я тебе гарантирую!

У меня была только эта борода, повторяю я, вот я ее и нацепил, а если этого мало, то я вам все равно ничего больше предложить не могу, о'кей?

Ярле услышал топот ног и хлопанье двери в подъезде. Он улыбнулся про себя и крикнул Лотте, которая была в гостиной, чтобы она вышла к нему, а сам поставил новые подарки, принесенные Хердис и Робертом, рядом с теми, что были у нее и до этого. Девочка примчалась бегом.

— Слышишь? — спросил он. — Слышишь?

Она присела на корточки и прислушалась.

— Еще кто-то идет, папа, — прошептала она и уставилась на дверь.

Раздался звонок.

Лотта открыла. За дверью стояли Эрнан и Марисабель, а зади них Ингрид и четверо младших детишек. Лотта шагнула к ним и крепко обняла Ингрид:

— Ой-ой-ой, и моя лучшая подруга в Бергене пришла!

Ингрид была наряжена божьей коровкой, две ее сестренки тоже представляли животное царство: перед ними стояли, улыбаясь, лягушка и цыпленок; а оба братика были медведями. Сам Эрнан пришел в стильном ковбойском костюме мексиканского образца — в кричащем сомбреро и с шикарными пистолетами, которые так впечатлили Даниэля, что он весь вечер не мог отвести глаз от венесуэльца. Марисабель скромно и нарядно оделась индианкой.

Ярле сердечно приветствовал их и пригласил в гостиную, где он представил их как «милое семейство, которое держит на нашей улице бакалейную лавочку», после чего Эрнан ткнул его кулаком в бок и сказал громко и отчетливо:

— А я его называю просто Моргенбладет, потому что он каждую неделю обязательно спрашивает про «Моргенбладет», и

вот теперь... теперь... знаешь что, Моргенбладет? Нет, ты этого не знаешь, но я тебе скажу, как сказал бы мой отец, отец моего отца и отец отца моего отца: если у мужчины есть воля и напор, то его воля свершится. Начиная с этой субботы включительно в моем магазинчике будет продаваться «Моргенбладет». Ради тебя! — И Эрнан, оглядевшись, громко и отчетливо выговорил: — Ну, Моргенбладет, где эта женщина, на которой ты собрался жениться?

По комнате прокатился смешок, а Ярле пробурчал нечто в том духе, что «Моргенбладет» во многих отношениях переоценена в качестве еженедельной газеты, и поскорее переключился на исполнение обязанностей хозяина. И это переключение прошло плавно и естественно. Он осознавал, что на нем лежит ответственность за то, чтобы все почувствовали себя в своей тарелке. Он вовсе не привык к большим компаниям; нельзя было сказать, чтобы та жизнь, которую он вел последние несколько лет, или его отроческие годы каким-либо образом готовили его к светским мероприятиям, но он инстинктивно ощутил, что роль хозяина заключается в том, чтобы быть наблюдателем или, может быть, своего рода групповодом. Ярле наблюдал, как детишки скупились в одном уголке, как это принято у детишек, и налаживают социальные связи так же быстро, как мухи. Он наблюдал, как Марисабель, Сара и Грета беседуют друг с другом, сворачивая салфетки замысловатым образом и раскладывая их по стоящим на столе тарелкам. Он наблюдал, как Роберт Гётеборг в своем трико движется к Эрнану с приветливой улыбкой, довольный и явно обрадованный тем, что ему выпала возможность облачиться в этот интимный наряд, плотно облегавший его тело, и как он говорит: «Ага, попробую-ка угадать — вы из Венесуэлы?» Эрнан кивнул, несколько ошарашенный, и уже скоро Ярле слышал, как Роберт Гётеборг сам себя характеризует — *ни на что не претендуя* — как настоящего фаната географии. Хассе и Арилль тоже присоединились к двум этим мужчинам, так что толстый ковбой теперь рассказывал стройному, несколько змеевидному Питеру Пэну о своей родной Венесуэле, о ее культуре и обычаях, а рядом стояли, внимательно слушая разговор, волшебник с маниакальными чертами лица и его упрямый друг с еврейской бородой.

Ярле заметил, что, когда собрались гости, Анетта все время оказывалась как-то в стороне от всех. Ему не удавалось понять, держится ли она сама на заднем плане из смущения или это другие не обращают на нее внимания, и он подумывал, не следует ли ему осуществить какой-нибудь социальный маневр для вовлечения ее в компанию бергенских интеллектуалов. Но он

не стал этого делать. Можно задаться вопросом — почему? Но он не сделал этого. Он стоял и наблюдал за ее одиночеством. Он несколько раз окинул ее взглядом — украдкой, исподтишка. «Вон там стоит мое самое фатальное соитие», — думал он, но он пришел к выводу, что раз уж семь лет тому назад на его долю выпало завалить и оплодотворить какую-то молоденькую девчонку, то во многих отношениях выбор, сделанный им той запойной ночью 1990 года, оказался неплохим. Можно было бы, разумеется, сказать, что Хердис — это совершенная, картинная красавица, что она воплощает на земле ходячий эстетический идеал, представляющий собой редкую комбинацию чего-то глубоко порнографического и одновременно исполненного достоинства, почти сакрального; и можно было бы, разумеется, сказать с той же степенью уверенности, что Грета — это ходячий уникум, поразительно оригинальное создание со столь же редкой комбинацией какого-то низменно-животного начала и сказочной, высокочтимой гордости, но точно так же можно было поддаться обаянию этой солидной и теплой простоты, явившейся из Шеена. Потому что Анетта Хансен обладала тем, чего не могли предложить обе другие, как думал Ярле; и ему показалось, что он и сам знает чем — *нормальностью*. В ней были метры и метры нормальности. Литры и килограммы. И, как полагал он, вдохновленный собственной смекалкой, это-то ни Хердис, ни Грете не светит — стать простыми, нормальными и славными. Они бы никогда не почувствовали себя неудобно в компании, они никогда не стояли бы вот так в сторонке, как Анетта, в уголке, забытые — всеми остальными. Даже если бы они стремились к тому, чтобы стать *нормальными*, до последнего вздоха, это бы им ни за что не удалось. Но хотя Ярле и думал все эти мысли, хотя взгляд его постоянно перемещался с принцессы Дианы, которая умела складываться в супершар, и с кролика с черепашьими глазами на колдунью, с которой он когда-то переспал по пьянке, он все-таки не подошел к Анетте и не завязал с ней разговора. Он сам себе не смог бы объяснить почему; и он почувствовал облегчение, заметив, что Хердис обнаружила одиночество своей товарки и подошла к ней. И, приблизившись всего на какой-нибудь метр, он смог расслышать разговор, продвигавшийся через пень колоду.

— Как интересно, — сказала Анетта тоном, который, как ему послышалось, можно было истолковать как неспритворно заинтересованный. — Надо же. Феминизм, в самом деле?

— Да, — ответила Хердис, — за это важно бороться.

— Да, конечно, очень важно! — согласилась Анетта, и голос у нее стал выше на полтона. — Конечно, очень важно бороться за

феминизм, да. Я и сама так всегда говорю: женщины не менее важны, чем мужики, но, знаете, стоит мне что-нибудь такое феминистическое упомянуть при Трунне, так он просто на стенку лезет.

— Да? — откликнулась на это Хердис и сделала значительную паузу. — Но позвольте тогда спросить: что вы имеете в виду, говоря, что он «на стенку лезет»?

— Ну, это я просто выразилась так, — услышал Ярле ответ Анетты, и ему показалось, что по ее голосу можно было почувствовать, что она слегка покраснела, устыдившись того, что не сумела выразиться точнее. — Нет, он меня не бьет, ничего такого. Но все равно он дурак. То есть я просто хочу сказать, что если кто-нибудь заводит разговоры о борьбе за права женщин при тех мужиках, с которыми я вместе работаю, или при Трунне, то они сразу начинают издеваться и насмехаться и говорят, что все эти ибсеновские бредни я могу оставить при себе или что феминистки — это лесбиянки, которых никто трахать не хочет. — Анетта смущенно засмеялась. — Да, или что это такие тетки, которые всегда сидят, уткнувшись носом в книгу, и не знают настоящей жизни, или он еще говорит, что только скучающие богатые наследницы не могут найти себе другого дела, как только жаловаться на мужиков.

За спиной Ярле повисла тишина.

— Ой, — сказала Анетта, — ой, что это я тут разболталась, несу всякую чушь, мне просто не часто удастся поговорить с кем-нибудь на моем уровне, понимаете? Не поможете мне с угощением? Детей-то ведь нужно накормить! — Она засмеялась. — Не похоже, чтобы кто-нибудь еще собирался этим заняться. А вы, Хердис, я забыла, а вы как познакомились с Ярле?

Позади него снова стало тихо, и так, что стало слышно дребезжание рюмок и прочей посуды.

— Н-у-у, как вам сказать? — протянула Хердис. — Ну, мы... мы просто знакомые, вот и все. Познакомились на академической ниве.

— На академической ниве? А это где?

— Что значит — где?

— Ну, я просто о ней никогда не слышала, — сказала Анетта. — Но я, с другой стороны, почти нигде и не бывала.

«Гм, — подумал Ярле и попробовал спокойнее отнестись к тому, что услышал. — Так она, значит, и не знает, что такое академическая нива. Она, значит, думает, что это такое место, судя по тому, что она говорит. На ее слух, академическая нива — это примерно того же рода вещь, как, ну, там, Французская Ривьера или Золотые Пески».

Ну как к этому отнести? Посмеяться над этим? Громко расхохотаться? Или лучше воспринять это как сильную сторону Анетты, то, что она настолько непостижимо нормальна, что даже не знает, что такое академическая нива?

За его спиной Хердис попыталась выпутаться из этой ситуации, сказав, что она и сама не так уж много путешествует, но Париж и Берлин она все же повидала, и Нью-Йорк, естественно, и Дублин, и Лиссабон, и Санкт-Петербург, и Кубу, и Сидней, и Рейкьявик — это удивительное место; на что Анетта вздохнула:

— Да-а, конечно, у нас столько путешествовать не получается. Но зато в прошлом году мы съездили в

— Данию.

— А у вас с Ярле... — Хердис замялась. — У вас ведь это давняя история?

Он навострил уши.

— Да-а... — (Тон Анетты он с разочарованием квалифицировал как безучастный.) — Вы, конечно, знаете, как там у нас с Ярле вышло. Я же его совсем не знаю.

Гм. Это, конечно, было именно так, как она и сказала, но все равно ему было обидно слышать, что она именно так это сформулировала, так просто и без прикрас, перед человеком, которого она не знала.

— Конечно-конечно, — сказала Хердис. — Но зато вот что из этого получилось. У вас такая замечательная дочь!

— Это да, Лотта чудесная, — услышал он слова Анетты. — Я не представляю себе, как бы я могла жить без нее.

— Но... — (По голосу Хердис Ярле показалось, что Анетта начинает становиться ей интересна.) — Но вы же родили ребенка, когда вам было пятнадцать, так ведь?

Он слегка повернул голову в их направлении и смог увидеть, как они стоят рядышком возле кастрюль для сосисок. Хердис, все так же ошеломляюще похожая на Диану, и в самом деле с любопытством присматривалась к Анетте.

— Да уж, совсем еще девчонкой была, — подтвердила Анетта.

— Но как же так по... — Хердис запнулась. — Я хотела спросить: вы об этом не пожалели?

Анетта подняла глаза и заметила, что Ярле смотрит на них. Она слегка улыбнулась ему, потом повернулась к Хердис, и взгляд у нее был какой-то дерзкий, как у настоящей колдуньи, как он подумал, чуть ли не мстительный, и она показалась ему очень стильной.

— Да нет, — сказала Анетта, — о чем же жалеть? Ни секунды. Если у вас когда-нибудь будут свои дети, вы поймете, о чем я

говорю.

— Да, разумеется. — Хердис преувеличенно усердно закивала.

Неужто она покраснела? Ярле почудилось, что на ее щеках зардело вечернее солнце, чего он раньше за ней никогда не замечал.

Дослушав их разговор, который Ярле охарактеризовал бы как непреднамеренно возникшую бабскую разборку и который он нашел и грустным, и интересным, и в значительной мере даже бахтинским по духу, он схватил поднос с обсыпанными сахарной пудрой булочками с корицей и решил обнести гостей угощением, чтобы ни у кого не создалось впечатления, что в его хозяйстве что-то плохо налажено. Ребятишки-то уже позапускали свои жадные пальчики в горку булочек, но не отказались взять еще по одной и уплели их моментально с большим удовольствием. Эрнан, Роберт Гётеборг, Арилль и Хассе вовсю погрузились в дискуссию о венесуэльской политике, но тоже взяли по булочке; так же поступили и Сара с Марисабель, беседовавшие возле окна. Когда он повернулся к Анетте и Хердис, то увидел, что к ним присоединилась Грета, которая как раз заканчивала свое высказывание предложением: «В воскресенье он отмочил такое, что у меня чуть не лопнуло терпение, но какая зато смышленная и самостоятельная у вас дочка», на что Хердис кашлянула и сказала: «Верноверно».

Руки у Ярле слегка дрожали, когда он подошел к этому красочному женскому трио и протянул им блюдо:

— Ну что, по булочке? — Он изобразил под полицейскими усами самую лучезарную улыбку, на какую только был способен.

Кролик, колдунья, принцесса.

Все они по очереди потянулись к блюду, и каждая в своей неподражаемой манере обхватила булочку пальцами и понесла ее ко рту. У Греты пальцы были несколько корявые, короткие и морщинистые, с коротко подпиленными, а может, и обкусанными ногтями, и держали они булочку крепко и без ужимок.

Левой рукой она вытащила длинные вставные зубы, приоткрыла милые кроличьи губки, которые не могли полностью скрыть того, что рот у нее был похож на мордочку грызуна, и обхватила ими булочку.

Анетта поднесла булочку ко рту, держа ее средним и большим пальцами, и только теперь Ярле обратил внимание на изогнутые острые ногти, покрытые темно-красным лаком, на ее суховатых руках. Она так и застыла, задержав булочку на полпути к театрально накрашенному рту с полными губами колдуньи.

Из них троих Хердис взяла булочку последней. При

сомкнутых губах она проделала обворожительное движение нижней частью лица, будто слегка пососала собственный язык, а потом протянула вперед обе руки — обе руки, что его потрясло, будто она готовилась принять в них что-то очень важное или собиралась обеими руками пожать кому-то руку, — и поднесла булочку ко рту, держа ее кончиками восьми изящных пальчиков сразу, в то время как большие пальцы были приподняты и отведены чуть в сторону.

И вот теперь они там стояли, все три, и ели.

«Девочки мои, — подумал он. — В каком-то смысле».

Грета, надо сказать, уминала булочку с большим аппетитом. Кроличьи щеки ходили ходуном, и в том же ритме, в котором трудились челюсти, накрахмаленные уши раскачивались на ее голове, как колосья на ветру.

Анетта ела неторопливо и опрятно, вовсе не как ожидаешь от колдуньи, а скорее как нормальная девушка, каковой она и была, и время от времени высовывала самый кончик языка, чтобы убедиться, что к губам не прилипли крошки.

Хердис отказалась от двуручного захвата булочки; теперь она стояла и ела ее, сложив три пальца в элегантно аранжированную композицию, при которой булочка счастливо покоилась на большом пальце, сверху же ее поддерживали указательный и средний, а левая ладонь образовывала ковшичек на уровне груди, чтобы ловить крошки, если таковые вдруг — посыпались бы. Ее губы открывались и закрывались, как створки раковины.

Взгляд Ярле медленно скользил с одной на другую, он слушал, о чем они разговаривают.

— Здорово ты придумал! — сказала Грета, сложила губы трубочкой и вытерла пальцем уголки рта.

— Да, Ярле, какой ты молодец! — сказала Анетта и плотно прижала верхнюю губу к нижней, как частенько делают женщины после того, как нанесут на них помаду.

— Я и не думала, что в тебе скрываются такие таланты, — сказала Хердис и произвела мучительно знакомое Ярле движение верхней губой, при котором у нее слегка затрепетали ноздри.

Ярле вздохнул.

— Ну что я могу сказать? — ответил он на выдохе, размышляя о том, что когда-то наверняка и целовал, и покусывал пухлые губы Анетты, и размышляя о всем том, что рот Хердис вытворял с большинством частей его тела, и размышляя о том, как наверняка было бы необычайной радостью пообжиматься с такой девушкой, как Грета. — Ну что я могу сказать? — повторил он залихватски. — В любом человеке таится много такого, о чем он и не подозревает, не так разве?

Они улыбнулись, все три, и он на какое-то мгновение ощутил, что им восхищаются.

— Да. — Ярле осмелел в сложившейся ситуации. — Кролик, колдунья, принцесса. Ты и ты. Вот мы тут вместе стоим, да, вы, три девушки, и я, — и как вам это?

У Анетты нервно забегали глаза, Грета в шутку замахнулась на него и засмеялась, а Хердис приложила кончик среднего пальца горизонтально к полуоткрытому рту — так делают, если порежутся слегка, — и легонько пососала его. И на взгляд Ярле — так ему показалось, во всяком случае, — ее глаза заволокла нежная дымка и стерла последние мелкие отличия между ней и принцессой Дианой.

Взяв булочку и себе и поразмышляв над тем, как же это так могло случиться, что Хердис его бросила всего несколько дней тому назад, а он все же состоит в таких возбуждающих отношениях с ней, но одновременно ощущает радостное и к тому же, что немаловажно, новое влечение и к Грете, и к Анетте, и оно во многих отношениях было столь же мощным, что и желание повторить прежние цирковые кунштюки меж ляжек Хердис; угостившись булочкой и пытаясь за поеданием булочки поприглушить эротическое замешательство, которое просто преследовало его, так он это воспринимал, но все равно думая при этом также и о трех своих девочках, Ярле хлопнул в ладоши, как должен был сделать, по его представлениям, хозяин и отец.

Хлопнул он громко, три раза подряд:

— Внимание! Слушайте все! Я надеюсь, вы теперь все друг с другом перезнакомились, и теперь настало время Лотте открыть свои подарки.

Лотта вспорхнула с пола, где она сидела вместе с другими ребятами, и в напряженном ожидании вытянулась перед книжной полкой, на которой рядом выстроились подарки. Ярле подал Анетте знак, чтобы она подошла поближе. «Это нам нужно делать вместе, — думал он, — как родителям, какой бы странной ни казалась эта мысль».

Анетта подошла и встала рядом с Ярле. Им обоим казалось очень необычным, что вот они. раньше только переспавшие разок друг с другом и все. вдруг должны были взять бразды правления в свои руки — вместе.

— Ой, а с чего же мне начать? — напряглась Лотта.

— Мне кажется, — сказал Ярле, — что стоит начать с тех подарков, которые ты привезла с собой из дому.

Анетта помогала Лотте читать, что было написано на открытках, приложенных к подаркам из Шеена, но, надо сказать, Лотта умела читать совсем не так плохо, как опасался Ярле. Ему

вновь представилась возможность наблюдать, насколько согласованно действуют мать и дочь и как по их мимике, по их жестам видно было, что они провели вместе все эти семь лет. Ему стало грустно, когда он осознал, сколько же всего они пережили совместно и сколько всего он прозевал, потому что это, как ни крути, осталось в прошлом. Лотта распаковывала один подарок за другим: куклу Барби от лучшей подруги, шикарную лиловую курточку от тех бабушки с дедушкой, конвертик с деньгами от дяди с тетей — «Они мне всегда денежки дарят, почему они мне всегда денежки дарят, мама?»

После того как были открыты шеенские подарки, образовав на полу груды оберточной бумаги, которую Сара потихоньку разбирала, разглаживая и аккуратно складывая, наступила очередь подарков от новых друзей из Бергена.

— Мы вполне можем назвать эту компанию твоей бергенской семьей, — сказал Ярле, что было встречено спонтанными аплодисментами со стороны всех присутствующих. — Вот. — Он снял с полки какой-то завернутый в бумагу предмет. — Здесь у нас подарок от Хердис и Роберта.

Он протянул ей подарок, который оказался книжкой, — ну разумеется, шведская повесть для детей. «Да-да, — подумал Ярле. — Фантазия участников академических тусовок безгранична. Обязательно надо было подарить *книгу*, да, феминистка и швед просто не могли обойтись обыкновенной *игрушкой*».

Лотта присела в изящном книксене и обняла их обоих, что, похоже, растрогало Хердис и Роберта, и это Ярле почему-то не понравилось.

После них настал черед Эрнанова семейства; они принесли Лотте два подарка: изящно упакованный наборчик наклеек с принцессами от Ингрид и большого плюшевого мишку с красным бантом на шее от всей семьи; на животе у него было написано: «Я люблю тебя». Эрнан крепко-крепко обнял Лотту и сказал переводя взгляд с Ярле на Анетту и опять на Ярле, пока его строгие глаза наконец не остановились надолго на Анетте, — что с обоими родителями ей очень повезло.

Пока разворачивался процесс разглядывания подарков, Ярле заметил, как оживляются взрослые, когда Лотта переходит к подарку, принесенному именно ими. Он видел, как они гордо вскидывали голову, какими умильными становились их взгляды, когда с открыточки зачитывалось их имя. Особенно бросилось это в глаза, когда дошла очередь до Хассе, который просто не мог устоять на месте, пока Ярле читал: «Лотте от дяди Хассе». Он и так уже беспокойно переминался с ноги на ногу, а теперь

торопливо подошел к ним. Он взял подарок из рук Лотты и обратился ко всем присутствующим:

— Да, это сильно, то, что здесь происходит. Неделька выдалась чер... извините, неслабая у нас выдалась неделька, да уж. — Он посмотрел на Анетту, потом на Лотту, наконец на Ярле. — Мне кажется, я чувствую, что мне нужно кое-что сказать. Ярле.

Мы ведь все знаем Ярле. Он настойчив. Не останавливается на достигнутом. Вкалывает. Далеко не самый талантливый среди нас, но если ему и недостает блеска, то он компенсирует это тем, что пашет с полной отдачей, ведь так? — Хассе выбросил руку вправо, в сторону Ярле, кивнув остальным. — Так ведь?

Так. Он пашет. Как трактор. Многие полагают, что Ярле мыслит, не так ли? Но он не этим занят, он просто шпарит напропалую, а при этом воображает себе, будто он мыслит. Извини, пожалуйста, Лотта, я тебе скоро отдам подарок. Не важно. Это была чер... sorry, невероятно напряженная неделя. Вдруг в Бергене объявилась вот она, Шарлотта Исабель Хансен. — Возникла в нашем маленьком мирке. Приземлилась здесь, как частичка пыльцы, и нас опылила. И что же происходит? — Хассе схватился за бок и скорчил жуткую гримасу. — Простите, все эта سرا... извините, это все проклятая спина. Не важно.

Что происходит? Буду говорить только за себя. Когда я отсюда шел домой ночью с воскресенья на понедельник, мне тогда еще пришлось посидеть с Лоттой, когда Ярле заявился домой, — ты ведь помнишь, Лотта? — вот вы тогда бы меня видели! У меня нет детей. Я даже не дядя. Нет, сейчас-то я, конечно, дядя! Но я вот к чему веду: со времен своего собственного детства я и близко к детям не подходил. Правда, у меня есть сестра, но она — это просто минное поле какое-то! Не важно. Для некоторых из вас такое существование непостижимо, я это знаю. Что, например, могут думать наши венесуэльские друзья о моей жизни, которую в гораздо большей степени наполняет теория литературы, чем дети? А? Позвольте высказать предположение — вам жалко меня. Да-а. Я вам кажусь одиноким китом в загадочной полутьме океана, и кто знает, кто знает, может, вы и правы. Может, именно это-то и представляет собой Хассе — космически одинокого кита. А что Сара об этом думает? Позвольте мне снова высказать предположение — она склонила голову набок, она перебирает воспоминания в своей богатой памяти — памяти, полной реминисценций о продуктовых карточках и кубинском кризисе, но еще и о погремушках и плюшевых мишках, и она думает, что жизнь Хассе достойна сожаления. Или вы, Анетта? Да, и здесь я могу предположить то

же самое — Хассе, думает она, увидев его вот сейчас впервые, Хассе же не живет. У него сердце пылью присыпано. Да. Да. И все вы правы. Но так уж получилось. Хассе... и подобные ему... Хассе живет в бездетном мире, и я при этом не имею в виду бездетность в смысле способности вынашивания детей, но как особую сферу, я понятно объясняю? *В нашем мире детей нет.* Понимаете? Их нет! Мы читаем о них в книгах, но мы никогда с ними не встречаемся. Повторяю: *никогда.*

Мы никогда и близко не подходим к детскому саду. Мы никогда не смотрим детские передачи по телевизору. В нашем окружении не попадается ничего *детского*. И это, милые мои, — да, Лотта, я знаю, что все это тяжело слушать, и я знаю, что тебе хотелось бы, чтобы дядя прекратил болтать, но подожди только еще самую малость, потому что дядя Хассе очень много думал о... об этом, обо всем этом, эти мысли не приходили мне в голову до тех пор, пока я не очутился на пути к себе домой поздно вечером в воскресенье! Вы поймите! Поймите только, впрочем, вы понимаете, сколь судьбоносным оказалось для Хассе, что ему пришлось посидеть вот так, держа в своей руке эту вот детскую ручку, в ночь на понедельник и услышать, как этот чудесный маленький человек называет его *дядя Хассе*? — Он сгреб было ручонку Лотты в свою, но тут же снова схватился за бок и судорожно сжал зубы. — Простите, ужасно больно, кошмар. Не важно. Чудесный — маленький человек. Это великое дело. Это такое, к дья... извините, это такое великое дело. Анетта. Ярле. Фантастика. Фантастика! Я вот хочу спросить сколько глупостей ты успел натворить за эту неделю, Ярле?

Ярле дернулся:

— Как, что?..

— Ну что «что»? — продолжал Хассе все на той же ноте. — Немало. Немало. Наплел всяких басен, изворачивался, врал — я что имею в виду? Какое еще «вольво»? Вот Лотта пришла ко мне и сказала, что у тебя есть машина, что у тебя «вольво», но она в ремонте! Да у тебя даже прав нет! И вот эта соседка твоя — что это ты там ей нагородил, что у Арилле проблемы с печенью и почками? Ярле, Ярле, Ярле. А с твоим научным руководителем — сорваться вот так с места среди ночи и — и вот твоя любовница, а мы и не знали о ней! Нет-нет, так не пойдет, Ярле. Нельзя так.

Ярле закрыл глаза, и сглотнул, и услышал, как тихо стало вокруг, и представил себе, как кипит мама, как бушует Анетта, как злорадствует Роберт Гётеборг, как даже Хердис опустила глаза.

— Или совсем наоборот? — спросил Хассе решительно. — Или можно и так? На самом-то деле! Ах нет. Нет-нет, совершенно

очевидно, что так нельзя. Но!

Но. Трудность-то вот в чем. Да-а. Вот в чем! Понимаете ли вы? Понимаете ли вы то, что Хассе — да, дядя Хассе — понял? Это великое дело. Это чертовски великое дело. И это заслуга Лотты. Вот это-то я и хотел сказать. Я сильно сомневаюсь в том, что я после этого смогу оставаться собой прежним. Я сам себе всегда представлялся вороном или орлом, — сказал Хассе, обратив взгляд внутрь себя, как если бы он обращался к самому себе, — а вот теперь? Теперь я себя вижу скорее... да-а... как бы это сказать? Павлином? Да-а. Вот это-то я и хотел сказать, Лотта. — Он повернулся к девочке. — Это-то я и хотел сказать. С днем рождения тебя от дяди Хассе.

Пока Хассе говорил, воцарилась тишина. Сара, которая еще раньше с ним познакомилась и которая всегда считала его пустозвоном, была потрясена и тронута. Хердис, которой он никогда не нравился, но которая всегда признавала его блестящие способности, запустила два пальца в свою дианинскую челку, сама этого не заметив, и подумала, что Хассе в каком-то отношении оказался человеком без границ.

Лотта развернула бумажный сверток и достала из него длинную черную деревяшку. Она покрутила ее в руках, будто ожидала, что та развернется в красочный веер. Нахмурилась и посмотрела на Хассе:

— Что это?

— Это волшебная палочка, Лотта, — сказал Хассе серьезно. — С ее помощью ты можешь добиться, чтобы мир стал ровно таким, как тебе хочется.

— Правда могу?

Хассе кивнул:

— Хочешь, чтобы мир превратился в супершар — в супершар, который ты могла бы подбросить в воздух?

Лотта смотрела на него во все глаза.

— Если захочешь, он таким и станет, — сказал Хассе.

После церемонии, сопровождавшей передачу подарка Хассе, никто к Ярле не подошел и не отругал его, чего он опасался вплоть до этой минуты. Лотта распаковала большую плитку молочного шоколада от Арилля, который потряс накладной бородой и пробубнил, что шоколад казался ему самой вкусной вещью на свете, когда он был маленьким, и что дети его братьев и сейчас очень любят шоколад. Потом настал черед Греты и Даниэля, которые подарили Лотте шикарную книжку-раскраску и большую рисовальную доску с набором цветных карандашей, плюс к этому Даниэль преподнес большую картинку, которая должна была изображать Бэтмена и Лотту у мамы в рабочем

кабинете в тот день, когда Ярле болел.

Ярле стало жарко под полицейской фуражкой, когда он увидел, что у Анетты лоб сморщился в озабоченные складки, как только речь еще раз зашла о той его злосчастной вылазке в город, но и на сей раз дальше этого не пошло.

— Ну вот, — сказала Лотта, ткнув пальчиком в сторону неразвернутых подарков, число которых резко сократилось. — Теперь только четыре осталось! Там и от тебя есть, бабушка?

Сара в своем костюме клоуна шагнула вперед:

Да, Лотта, есть, конечно.

Тогда я хочу его сейчас распаковать. Можно, папа?

Ярле кивнул:

— Конечно можно.

Лотта взяла в руки красиво упакованный подарок. Что-то маленькое и жесткое, во что воткнута открытка. Она сначала хочет прочитать, что написано на открытке, заявила она и протянула ее Ярле:

— Прочитаешь, папа?

Он развернул открытку и прочитал:

— «Дорогая Лотта! Ты — подарок, который получила я. Спасибо тебе за это. Крепко-крепко обнимаю. Бабушка в день твоего семилетия».

Потом Лотта достала из коробки куклу со старомодным лицом и пушистыми ресницами. Она подняла ее на вытянутых руках, чтобы лучше разглядеть.

— Ее зовут Сара, — объявила Лотта. — В честь тебя, бабушка.

Девочка повернулась и схватила два подарка, одинаковые по размеру:

— А эти тогда от кого, а?

— Ах, эти! — сказал Ярле. — Они от меня и от мамы, вот.

— Они же выглядят совсем одинаково, — удивилась Лотта.

Анетта и Ярле посмотрели друг на друга, будто она про них так сказала.

Ярле подумал, что у его дочери глаза Анетты, и еще ему показалось, что рот и нижняя часть лица — у нее похожи на его. Лотта открыла подарки.

— Два тамагочи! — восторженно воскликнула она.

Она подняла их повыше и показала гостям. — Два тамагочи! Папа! Мама! Ведь это... это... это-то я больше всего и хотела! И одного я теперь назову Шарлоттой, а другого пусть зовут Исабель!

Она прижала обоих к груди одновременно, и Ярле это показалось странноватым. Тут Анетта указала на последний сверток, еще оставшийся на книжной полке:

— Ну, вот у тебя еще один остался.

Лотта была занята распаковыванием тамагочи, но оторвалась от этого дела и вопросительно посмотрела на последний сверток:

— А он от кого?

— Да ведь ты знаешь это.

Лотта опешила. Она попробовала улыбнуться, но у нее не получилось, и Ярле видел, что она застеснялась из-за того, что не может сообразить, от кого этот подарок.

— Ты ведь это знаешь, Лотта, — повторила Анетта. Лотта огляделась в ожидании подсказки:

— Разве знаю?

Анетта улыбнулась, она также была смущена происходящим:

— Ну конечно ты это знаешь.

У Лотты заметался взгляд.

— Разве? Нет, я не знаю.

— Ну-у же, Лотта, — сказала Анетта, — ну знаешь же.

— Нет, — повторила Лотта, — я не знаю!

Анетта потрепала ее по парику, как будто хотела поскорее отряхнуть этот непонятный момент.

— Да он же от отца, — сказала Анетта.

Все примолкли. Кто-то переступил с ноги на ногу, кто-то моргнул, кто-то потер руки. В глазах у Лотты заблестело, она опустила их к полу, как, видел Ярле, она делала и раньше не раз, когда мир оказывался слишком сложным, и никто не шелохнулся и не пошел за ней, когда она взяла подарок и вместе с ним медленно двинулась через всю гостиную в свою комнату, сказав:

— Тогда я пойду к себе. Хочу там открыть подарок от моего отца.

Лотта закрыла за собой дверь. Устроилась поудобнее на матрасе. Всклипнула и провела рукой по губам. Она представила себе его большие руки, которые когда-то дома, в Шеене, подбрасывали ее в воздух, потом ловили ее, и он смеялся так, что все лицо разбегалось морщинками. Представила себе его сильное тело, как он брал ее с собой на лыжные прогулки, на прогулки в лес и на фьорд. Почему его нет здесь? Почему его тут не должно быть? Комната показалась ей холодной и гадкой, и она легла на матрас, сжимая в темноте пакет. «Ведь это ты мой отец, — шепнула она. — Папа ведь мне не отец, ведь это ты мой отец. Почему ты должен переезжать куда-то? Почему ты не можешь жить у нас, со мной и с мамой, как раньше?»

Лотта прижала подарок к груди, закрыла глаза и решила, что вот теперь пусть все остановится. «Может, на этом все может кончиться? — подумала она. — Если я решу, чтобы все на этом кончилось, может, и кончится? Может, тогда больше ничего не

будет случаться? Если я просто буду здесь лежать, лежать, лежать и лежать не шевелясь, может быть, мир про меня тогда забудет и больше ничего не случится?»

Через некоторое время она услышала, что стучат в дверь. Тихонько. Лотта плотно зажала уши руками и сказала себе, что мир остановился. И тут она заплакала.

Но что же в этом было странного? В том, что Шарлотта Исабель заплакала, лежа на матрасе в кабинете у Ярле?

Вошла Анетта и легла рядом с ней. Она погладила ее по спине, она прижалась к дочери, и, крепко обняв дочь, она сказала:

— Девочка моя! Мама здесь.

— А где отец? — всхлипнула Лотта.

— Он дома, — прошептала Анетта. — А ты не откроешь подарок, который он для тебя передал? Он просил меня отвезти его тебе, вот так. Для него это было очень важно. И еще я должна тебя от него поздравить с днем рождения, Шарлотта Исабель.

Лотта сглотнула, всхлипнула и села на матрасе. Подарок она держала в руках.

— Но, мама, если я его открою, отец никуда не денется?

— Нет, нет, нет, — сказала Анетта спокойно. — Отец никогда, никогда никуда не денется.

Лотта медленно и осторожно развернула оберточную бумагу. В ней оказался кулончик, и на нем была надпись: «Лотте на семь лет от отца». Анетта надела украшение ей на шейку, и Шарлотта Исабель в изнеможении вновь повалилась на матрас. Она стиснула кулон в кулачке и закрыла глаза.

Так они и лежали там, Анетта с дочерью. Лотта очень долго молчала, а потом спросила:

— Где отец теперь будет жить?

— Да на нашей же улице, только поближе к железной дороге, — ответила Анетта.

— А, — шепнула Лотта.

— Да-да, — сказала Анетта, — так что все не так уж и плохо.

— Но, мама, мама, — прошептала Лотта, — ты что, больше не любишь отца?

Анетта постаралась дышать ровнее.

— Нет, Лотта, — ответила она, — больше не люблю.

— А я люблю, — сказала Лотта.

— Да, конечно любишь.

— Но ты что, теперь любишь папу, что ли, раз ты не любишь отца?

— Нет. — Анетта криво улыбнулась сама себе. — И его не люблю.

Лотта, успокоенная, кивнула:

— Тебе не обязательно заводить нового дядю.

Анетта кивнула:

— Нет, совсем не обязательно, у меня же есть ты. Знаешь что? — сказала Анетта, отметив, что дыхание Лотты стало ровнее.

— Мм?

— Знаешь что? Может, сделаем сюрприз всем остальным?

Лотта села и посмотрела на свою маму. Слезы высохли, и она снова стала собой прежней.

— Догадалась?

Лотта улыбнулась и кивнула.

— Знаешь, о чем я думаю? О том, что у тебя так хорошо получается!

Лотта сложила губы трубочкой, а потом они расплылись у нее в заговорщицкой улыбке.

— Ну что, давай, а? Просто откроем дверь и сделаем им сюрприз?

Тельце Лотты приняло свои обычные очертания, и Анетте было видно, как она быстренько настраивается на то, что им предстоит.

Они открыли дверь. В гостиной царил тягостная атмосфера — из-за всех этих озабоченных лиц, которые так долго их дожидались, которые шептались друг с другом и думали серьезные мысли. Кролик. Бэтмен. Клоун. Питер Пэн и принцесса Диана. Два маленьких мишки, божья коровка, лягушка и цыпленок. Толстый ковбой и его жена-индианка. Волшебник и его друг с еврейской бородой. Полицейский.

Шарлотта Исабель маленькими шагами вышла на середину комнаты. Она кашлянула и прочистила горло.

— Дорогие гости! — сказала она. — Спасибо большое, что вы пришли ко мне на деньрождение. А теперь я вам спою песенку, которой меня научил отец, он же играет на гитаре. Он живет в Шеене, и он просил меня всем вам передать от него привет, говорит мама. И эту песенку мы уже в школе пели, Сюзанна и я. Она называется «Завтра»^[28].

И она запела:

Ведь будет день
И завтра,
Я знаю точно, что и завтра
Встанет солнце.

Мечты о близком
Завтра
Разгонят тучи темные

В конце.

И если день уныл и сер,
То знай,
Что он минует скоро,
И повторяй:

«Я знаю, встанет солнышко
И завтра!
Продержись еще немножечко —
До завтра!»

Ведь завтра.
Чудесное завтра
Близко от нас совсем.
Я люблю тебя, завтра!

Tamagotchi is a tiny pet from cyberspace who needs your love to survive and grow ^[29]

Ура этому миру! Он прекрасен.

Честное слово.

И эти слова надо повторять снова и снова.

И как бы весомо их ни произносить, всё будет мало. Мир всегда прекрасен. И у нас есть выбор: хотим мы принять его или не хотим?

Когда Ярле был маленьким, в 1970-е и 1980-е годы, он принимал мир с упоением. Ему казалось, что мир сияет. Он обожал его. Он просто, к черту, обожал его. Он обожал девчонок в непромокаемых штанах для рыбалки, натянутых высоко на попу, с тугим ремешком на талии. Он обожал их спортивные джемперы, которые они каждый день заправляли в брюки, будто делали это для него одного. Он обожал белые теннисные носки с полосочками по верхнему краю. Он обожал смурфиков, он обожал игровую приставку «Вик-20», он обожал карточки с фото участников рок-группы «Кисс», комедию «Охотники за привидениями», утенка Дональда, американский фильм «Слава», компьютерную игру «Донки Конг», команду «Ливерпуль» и джинсы «Ливайс-501». Он обожал детский сериал «Скала Фрэгглов», он обожал немецкий детективный сериал «Деррик», он обожал принцессу Диану, горный велосипед «Апачи», жевательную резинку «Хубба-Бубба», озонный слой и группу «А-ха». Он обожал фильм «Карате-кид», он обожал кубик Рубика, он обожал кримплен, и диджея Пэта Шарпа, и рюкзаки «Милле», и аятоллу Хомейни, «Звездные войны», немецкую панк-группу «Слайм», сериал «Династия», змейку Рубика, фильм «Инопланетянин», одежду «Поко-Локо», телесериал «Маппет-шоу», Рональда Рейгана, «Дюран-Дюран», плееры «Уокман», брейк-данс, концерты «Лайв Эйд»! Он не мог дождаться утра, чтобы встать, потому что каждый день был готов преподать ему лакомый урок: там, в этом мире, открытиям нет конца.

Когда говорят, что все дети принимают мир, то это, разумеется, так, но этому наблюдению не хватает точности. Истина печальнее. Многие дети отрезаны от участия в своей прекрасной современности. Ярле не раз приходилось сталкиваться с этим — у некоторых одноклассников были родители, которые ему казались современными и молодыми, таким детям удавалось участвовать в современной жизни совсем иначе, чем ему самому, у которого родители не были ни

современными, ни достаточно молодыми; его родители скептически относились к современности, в которой рос Ярле, и желали поэтому оградить его от всяческих новомодных штучек и затей. Существует множество факторов, обусловленных классово, географически и так далее, из-за которых истинное положение дел, а именно представление о том, что суть детства и отрочества — охватить и воспринять как можно больше из того, что может предложить взрывообразно расширяющееся время, кажется ужасным. Такое представление о смысле детства рассматривается как нарушение прав ребенка, происходящее практически в каждой семье дни напролет. И вот тут-то становится вдруг крайне важным не позволять своему ребенку участвовать в том, что на данный момент представляет собой самое модное явление, господствующую музыкальную форму и так далее. А подумайте, вдруг это и есть истина? Что дети появляются на земле, чтобы набраться современности, что современность существует, чтобы дети могли нахвататься ее и чтобы все это мелькало в таком быстром темпе, что ни у кого не было бы и минутки передохнуть: на следующей неделе верхнюю строчку хит-парада займет другая мелодия! На следующей неделе модным будет совсем другой причесон! Не отставай! А отстанешь — так место тебе в доме престарелых, и все, что тебе остается, — это осознать, что в 1982 году все остальные смотрели «Инопланетянина», а ты нет! Все остальные в 1984-м носили популярную среди хоккеистов стрижку «рыбка», а ты нет! Всем остальным купили «Ливайс-501», а тебе нет!

Именно такого рода размышления, только более академичные по форме, легли в основу того факта, что Ярле за несколько дней до дня рождения Шарлотты Исабель купил тамагочи: у всех остальных тамагочи в 1997 году был, а у нее не было. Эти размышления еще не полностью выкристаллизовались, но у Ярле было такое ощущение, что в его собственных отношениях с современностью что-то не так. То и дело в памяти всплывали разные детские воспоминания, и чаще всего они сопровождались сентиментальным сердцебиением, а это сентиментальное сердцебиение чаще всего было вызвано тем, что на ум ему приходили разные *вещи* из его детства. Вот именно что вещи! Тут надо иметь в виду, что Ярле, как студент-старшекурсник, изучающий литературоведение, был уже как следует обработан по академической моде своего собственного времени, и если и было какое человеческое чувство или понятие, которое у части интеллигенции вызывало отторжение, более того, считалось прямо-таки смехотворным и над которым потешались так, как могли в дни его детства потешаться над карликом, так

это была сентиментальность. В тех кругах, где вращался Ярле, сентиментальность без жалости и сострадания смешивали с грязью. В то время как общество в целом скорее с умилением встречало проявления сентиментальности, для академического сообщества сентиментальность представляла собой реальную проблему.

Они не желали и слышать о ней. Им казалось, что она липнет к их пальцам, как сироп. Им это представлялось отвратительным. Роман, или стихотворение, или новелла — сентиментальны, говаривали они, и это означало, что произведение ужасно. Натасканный на такой ход мыслей, Ярле выработал особый мыслительный рефлекс, который начинал давать о себе знать, если вдруг кто-нибудь без всякого стеснения окунался в воды своего собственного прошлого, — вот как раз так и случилось с ним теперь, когда он начал размышлять о покупке тамагочи для Лотты, и это вызвало в его памяти разные вещи из его детства. Иными словами, для Ярле предаваться подобным мыслям оказалось небеспроблемным. Он был просто не в состоянии, думая так, не чувствовать себя дураком или посмешищем, поскольку к этому понуждал его академический образ мыслей его собственного времени. Тем не менее все эти чувства в нем присутствовали. Тем не менее они ощущались остро и настоятельно и — отважится ли он признать это? — были искренними. Все эти его вещи. Вся эта ужасная сентиментальность, которую он, вопреки себе же, чувствовал. Можно было бы ожидать, что его будут посещать события прошлого, но нет, чаще всего это были *вещи*. Игра «Донки Конг», погрузившись в которую он не раз сидел в то время. Смурфики, все эти мелкие фигурки смурфиков, которые он выстраивал на подоконнике своей комнаты. И — осенило вдруг его, и он застеснялся собственного простодушия — со столь невероятно большой радостью! С такой баснословно большой радостью!

И неужели он мог лишить Лотту такой радости?

Когда она впервые подкинула ему это японское словечко — «тамагочи», он отреагировал как упертый старый хрыч, подумав, что надо же знать меру со всеми этими дурацкими игрушками, мало ей, что ли, карандаша и листка бумаги — сиди себе и рисуй? Или взяла бы сходилa в лес погулять, на дерево бы влезла?

Но он сам за собой заметил это — в один из сравнительно редких моментов интроспекции. Сентиментально или нет, но именно это и составляло содержание всего его детства. Тот или другой из ребяташек с его улицы или из его школы притаскивал с собой то лизун, то йо-йо или приходил подстриженный под

«рыбку», и он был от этого в восторге, и он чувствовал, как в нем бушует жажда тоже получить это, — а он не получал. Родители дарили ему книги.

Они брали его с собой в походы по горам и записывали его в скауты. «Так что решено, — думал он, — раз Лотте так хочется тамагочи, пусть получит тамагочи. Каким бы смехотворным это ни казалось!»

А с какой же радостью она приняла этот подарок!

Спев «Завтра» для честной компании, Лотта очистила беспокойную совесть своего отца, оставшегося дома, в Шеене, и поспала к своим тамагочи.

То, что ей их досталось два, совсем ее не смущало, как видел Ярле, — наоборот. Она распаковала их и поскорее начала игру, и было очевидно, что она уже большой специалист по этим мелким и незнакомым Ярле игрушкам. А какой эффект это произвело на других ребятишек, которые были у них в гостях! Они теснились вокруг Лотты, как муравьишки, ручки у них так и чесались повертеть игрушки, а глаза так и горели, когда они следили за тем, как она достает из упаковки свои японские цацки.

То, что они не были столь же материальными, как мишка или пожарная машина, но все равно могли привести ребенка в восторг, казалось Ярле удивительным.

Но потом он разглядел то счастье, которым светились детские тельца, оттого что они сами могли *создавать* этих маленьких зверюшек. И, как и других взрослых гостей, его потянуло к ребятишкам, и он через плечо заглядывал к ним, сидевшим на полу и смотревшим, как Лотта умело нажимает в разных местах на этих крошек, не больше черпачка столовой ложки. Невероятно, подумал он. Значит, там внутри возникает своего рода... *жизнь*? Какое-то существо приходит в мир, начинает танцевать на маленьком экране, и вы, таким образом, оказываетесь как бы родителями этого существа, даете ему имя, и приходится его кормить, заботиться о нем, следить, чтобы ему было хорошо, следить, чтобы у него была еда, водить его в туалет. От него было трудно оторваться. Между тамагочи и его родителями быстро возникала тесная и неразрывная связь. И еще очень хитро она была запрограммирована, эта японская игрушка, в том смысле, что, если с ней на какое-то время переставали играть, она начинала пищать. Лежала, и издавала жалобный писк, и требовала внимания.

И так они лежали и пищали, оба тамагочи, когда гости уже разошлись.

А до этого они все играли в колечко, и ели сосиски, и задували свечи на торте, и с бульканьем выдували через

соломинки пузыри воздуха в стаканах с лимонадом, и смешивали в тех же стаканах разные сорта лимонада, и как Роберт Гётеборг, так и Сара держали речь, у каждого совершенно разного рода: швед упирал на то, что детство — это пространство игр, забав и разгула фантазии, в то время как Сара говорила о чувстве защищенности и близости. Хассе остаток праздничного дня пришлось провести, лежа на диване, поскольку спина у него так разболелась, что держаться в вертикальном положении он никак уже не мог; все это к вящей радости малышни, затеявшей игру, которую божья коровка Ингрид назвала «Помоги больному волшебнику»: игра эта основывалась на том исходном положении, что мир не устоит без здорового волшебника; заключалась игра в том, что ребяташки носились взад-вперед, таская Хассе бинты, и пластырь, и еду, и питье, он же включился в эту игру с огромной радостью: «Э нет, волшебник Хассе еще, пожалуй, не полностью выздоровел! А йод у вас есть? А есть у вас литий? Мне нужен еще один бинт, Даниэль! Спроси-ка, нет ли у Питера Пэна запасного?»

Сам Ярле провел последние минуты праздничного вечера, наблюдая за Хердис Снартему и стараясь убедить себя в том, что он больше никогда не будет о ней думать. Ну и пусть, повторил он себе, позволив взгляду на несколько секунд задержаться там, где ее бедра плавно переходили в ляжки. Он пытался доказать себе, что в каком-то смысле отпустил ее от себя лучшим человеком, во всяком случае обогатившимся еще одним опытом, и что именно эта форма богатства могла ей оказаться необходимой теперь, когда она подумывала о том, не навести ли ей лыжи в сторону дома и состояния и не посвятить ли себя деньгам вместо феминизма.

В конце концов, как раз когда все засобирались уходить, он попросил внимания и поблагодарил их за то, что они пришли к Шарлотте Исабель на день ее семилетия, и он надеется, сказал он, что они так и останутся для Лотты ее бергенской семьей.

И вот теперь тамагочи лежали там и пищали.

Сара и Ярле убрали в квартире после ухода гостей, а Анетта почитала Лотте принесенную из библиотеки книжку и помогла ей подготовиться ко сну. Девочка страшно устала, щеки пылали, она сидела, держа на коленях пони, и никак не могла уследить за сюжетом, потому что и Шарлотта, и Исабель распищались вовсю. Ярле и Анетта пришлось в конце концов отобрать у нее японских киберзверюшек; они убрали их на самую верхнюю полку стеллажа и сказали, что она сможет поиграть с ними завтра, но Лотте никак не удавалось выкинуть их из головы.

— Бедненькие, — говорила она, когда они пищали. — Вот сейчас Исабель хочет кушать. — В ее глазах появилась грусть. —

А теперь Шарлотте надо в туалет, — сказала она озабоченно.

Когда Лотту удалось наконец загнать в постель, сняв с нее наряд Энни, но согласившись с тем, что ей можно лечь спать, не смывая веснушек, то она сказала, что это они будут виноваты, если ночью тамагочи умрут.

— Умрут? — удивился Ярле.

— Да, — пробормотала девочка, еле живая от усталости. — Если за ними не ухаживать, они умрут.

— Неужели умрут?

— Да, — печально воскликнула Лотта. — Вам придется нянчить Шарлотту и Исабель и не ложиться!

Нянчить их? Нянчить виртуальные игрушки?

— Ну конечно, мы обязательно посидим с ними, — сказала Анетта и погладила дочку по голове.

— И звук нельзя отключать, потому что тогда вы не услышите, если им что-нибудь понадобится!

— Нет-нет, разумеется, мы не будем отключать звук, — пообещала Анетта спокойно, а потом пела дочке песенки, пока та не заснула.

Ярле посмотрел на двух этих тамагочи, которые лежали на верхней полке стеллажа с книгами и пищали, и в животе у него возникло такое странное ощущение, которого он не мог бы выразить словами.

Лотта заснула, и Лотте исполнилось семь лет. Квартира превратилась в себя прежнюю: после того как все было убрано на свои места, она постепенно лишилась деньрожденного глянца. Ярле снял форму, отлепил усы, смыл грим полицейского и понес Грете стулья, которые они у нее одолжили. Благодаря ее за помощь, он пытался заглянуть ей в глаза, и ему показалось, что он разглядел там нечто, что могло бы — кто знает? — обещать некое продолжение. Она улыбнулась и склонила царственногущей голову набок, что он истолковал как знак того, что ему тут будут рады.

В гостиной лежали и пищали тамагочи. Сара присела выпить чашечку кофе, костюм клоуна она уже сняла. Анетта смыла краску с волос и грим колдуньи с лица. Тамагочи пищали. Ярле налил чашечку кофе Анетте и себе тоже. Они уселись на диван, а Сара — на стул напротив. На Берген опустилась темнота, шел тихий вечерний дождик, и Ярле показалось, что в квартире тоже стало очень тихо, пока вдруг снова не запищали тамагочи.

— А этих там нельзя выключить? — Сара покосилась на книжный стеллаж.

— Нет. — Ярле пожал плечами. — Они вроде умрут тогда.

— Вот в этом-то и весь смысл, — сказала Анетта. — Чтобы

поддерживать в них жизнь. Поэтому-то я и не хотела ей дарить такого. Ребята на нашей улице там, дома, совсем с ума посходили, играя с ними. Все время ревут из-за того, что с их тамагочи что-нибудь не так. А если звук выключить, так они просто на стенку лезут.

Ярле кивнул.

— Но что ж тут поделаешь? — Анетта потянулась. — Нельзя же детей разочаровывать.

— Нет, — согласился Ярле, — ни в коем случае.

Разговор как-то не клеился. Сара задавала поверхностные вопросы о том, откуда Анетта родом, чем занимаются ее родители, как им живется в Шеене. Анетта отвечала вежливо и рисовала безмятежный образ молодой норвежской женщины — с домом, и мужем, и ребенком. Сара спросила, хорошо ли она отдохнула на юге, и Анетта, на секунду отведя глаза, сказала:

— Спасибо, в общем неплохо. Хорошо иногда вырваться из дому.

А тамагочи всё пищали.

— Надо все-таки сделать с ними что-то, — сказал Ярле и подумал, что можно было бы убрать их в шкаф или еще куда.

— Да, — сказала Анетта, — они ведь и правда умрут, если мы ничего не сделаем.

Сара сказала, что хочет уже пойти лечь.

— А вы можете еще посидеть поговорить. Вам ведь... — Она криво улыбнулась. — Да, вам ведь есть о чем поговорить.

Пока Сара плескалась в ванной, Ярле так и сидел, опустив руки на колени. Анетта сказала, что Берген — очень красивый город, во всяком случае то, что она успела увидеть.

— Да, конечно, — согласился он, — красивый, ничего не скажешь.

— Горы такие, — продолжила Анетта. — Все эти домики деревянные.

— Да, — повторил Ярле.

Мимо прошла Сара, сказала, что день рожденья прошел прекрасно, пожелала им спокойной ночи и ушла спать.

— Нда, — сказал Ярле.

— Да-а-а, — эхом отозвалась Анетта.

А тамагочи опять запищали.

— Надо, наверное... да, посмотреть, что там с ними такое, — предложил Ярле.

— Да, можем взять по одному.

Ярле поднялся и подошел к стеллажу, потянулся за тамагочи:

— Ага, вот они, тебе дать Шарлотту или Исабель? Она пожалала плечами:

— Ну, в общем-то не все ли равно, правда?

Он кивнул и дал ей одного.

— Знаешь что? — Ярле попробовал изобразить на лице всю уверенность, на какую был способен. — Может, раздавим бутылочку красного? Или по пиву лучше? Ну смотри... или, может, поздно уже?

Она взглянула на него, и у Ярле сложилось впечатление, что она тоже изо всех сил старалась изобразить уверенность в себе.

— Ну да, почему бы и нет? Давай. Красного тогда? Ярле быстро вышел на кухню, испытав облегчение оттого, что она не стала кривляться.

— Почему нет? — Он достал с полки бутылку дешевого красного вина. — Почему нет? У тебя Шарлотта или Исабель?

— Исабель, — донеслось из комнаты. — Ее надо покормить.

Он достал бокалы и откупорил бутылку. Принес все это в гостиную и разлил вино.

— Ну так, а у меня, значит, Шарлотта. — Он взял тамагочи в руку. — Да. И ее тоже надо покормить, я вижу. Ну что, за твое здоровье тогда? — сказал он и поднял фужер.

Анетта кивнула:

— И за твое, Ярле. — Она посмотрела ему в глаза. Он отвел взгляд и сосредоточился на экранчике тамагочи. Нажимая на кнопки, он моргнул несколько раз подряд, совершенно этого не желая.

— Ага, посмотри-ка. Вот Шарлотта ест, а? Ей понравилось.

Анетта зашлась в смехе — совсем как дочка.

— И Исабель тоже. — Она сделала большой глоток вина.

— Ну что? — сказал он так небрежно, как только мог. — Да, интересно... — Он кашлянул. — Интересно все получилось. Девяносто девятый год, понимаешь, и вот — да, и вот мы тут сидим.

Она отхлебнула еще вина, и он сделал то же самое.

— Да-а, — протянула Анетта, — та еще ночка была.

Он сглотнул.

— Да-а. Эй, смотри скорее! — сказал он неестественно оживленным тоном. — Смотри-ка, зов природы. Шарлотта хочет писать.

Анетта снова зашлась смехом, и он снова услышал, как похож ее смех на смех Лотты.

— Ага, и Исабель тоже. — Она посмотрела на него. — Я так волновалась, Ярле.

Он поднял взгляд:

— Да, я понимаю.

— Я не вполне осознавала, что делаю, — сказала она,

облегчая совесть, — так много всего навалилось, и у нас с Трунном коса нашла на камень, и я просто не знала, что же делать, и никак было с мыслями не собраться, и вот... Ну не была я ни на каком юге, но ты ведь это сразу понял, как это глупо было с моей стороны... Я не знаю, почему я... я...

— Послушай, — оборвал он ее. — Все нормально. Правда. Я все понимаю. Ничего не надо... ничего не надо мне объяснять. Как получилось, так и получилось. Все в порядке. Я ведь... да, я ведь не... я же тут в воскресенье тоже, ну и...

Она кивнула:

— Да, твоя мама мне рассказала. И Хассе...

Он опустил глаза.

— Только обещай мне, — сказала Анетта, — что ты так больше никогда не будешь делать.

— Не буду, — прошептал он.

— Ты мне должен пообещать.

— Да-да. Обещаю.

Тамагочи у Анетты запищал. Оказалось, он заболел и ему нужно было дать лекарство. Она дала ему то, что требовалось, и отложила его в сторону. Анетта повернулась к Ярле, поджала под себя ногу и, сидя на диване, медленно крутила в руках бокал с вином.

Ярле почувствовал, что ему нужно бы сделать то же самое, и он изо всех сил старался не покраснеть, откладывая в сторону тамагочи и беря в руки бокал.

Он посмотрел на Анетту. Губы у нее стали слегка влажными, а щеки на вид были мягкими и теплыми.

— Я... странно так... — начала она.

— Да. — Он кивнул.

— Должно же было что-то в этом быть?

Анетта провела пальцем по краешку бокала. Она выпила до дна, и он снова наполнил бокалы — и ее, и свой собственный.

— Я хочу сказать... — Она кивком поблагодарила его. — Я имею в виду... между нами. — Рот у нее приоткрылся, и она сделала еще глоток. — Ты так не думаешь?

— Да. — Ярле почувствовал, что стало трудно дышать. Как-то вдруг все сжало в груди и в животе, а глаза забегали совершенно помимо его воли.

Запищал тамагочи у Ярле, и он неуверенно посмотрел на Анетту:

— А что сделать?..

Она пожала плечами:

— Да пусть просто лежит.

Ярле отодвинул японскую зверушку подальше на край стола

и, уставившись в пространство, спросил:

— А ты помнишь что-нибудь?

— Не очень много.

— Угу, — сказал он. — И я тоже нет.

— Но... — Она опустила глаза и осторожно pokrutila бокал в руках. — Но твое лицо я навсегда запомнила. С той самой ночи, понимаешь. На следующий-то день, когда я проснулась, ты уже ушел, и... ну, все так ужасно было, когда я обнаружила, что у меня будет ребенок, там и мама, и отец, и вообще, ну... но я твое лицо той ночью запомнила навсегда.

Он кашлянул:

— Правда?

Она кивнула:

— Угу. Это было хорошо. Я это имела в виду, когда написала, что нам было хорошо. У тебя был такой голодный вид!

— Seriously?

Тамагочи так и остались лежать на столе, рядышком, как две сестренки, и время от времени они попискивали, требуя внимания, а Ярле осторожно стянул с Анетты джинсы. Он расстегнул застежку лифчика как можно спокойнее, потому что ему казалось, что он должен делать все не торопясь и обстоятельно, и он осторожно погладил пальцами ее прелестные груди, потому что кому же хочется, чтобы его собственная мать услышала, как он проводит время с девушкой? Анетта приоткрыла рот, чтобы им удобнее было целоваться, чтобы они могли почувствовать, каково это — обнимать друг друга, и он улегся у нее между ног и скоро забыл, что ему нужно быть спокойным и обстоятельным, и почувствовал в себе голод, и почувствовал, что Анетта рада этому, и почувствовал, как ее руки обхватили его за спину, и, пока тамагочи снова снова принимались пищать, он подумал, что она красивая, и еще подумал, что вот теперь это произойдет во второй раз, и что же в этом может быть плохого, они же родители Шарлотты Исабель, и завтра они уедут, так что если это должно произойти, то должно произойти сейчас.

Ведь будет день и завтра!

Когда они в пятницу, 12 сентября 1997 года, вышли из зеленой двустворчатой двери дома на Мёлен-прис в Бергене, Сара сощурилась от теплого осеннего света, пробивавшегося сквозь кроны деревьев Нюгорс-парка, а Анетта сказала, что Берген действительно очень красив, когда показывается этой вот своей стороной, когда воздух так прозрачен и свеж. Шарлотта Исабель собезьянничала и тоже зажмурила глаза, как бабушка. Кожа сложилась в морщинки, уголки губ скользнули вверх, и блики света играли на белых, оттенка слоновой кости, передних зубках. Может быть, их не пустят в самолет, сказала она, со всеми этими подарками, которых у нее такая куча.

Ярле застегнул молнию своей короткой черной куртки и тихонько покачал головой. Он чувствовал себя прямо-таки нехорошо. В животе бурлило, ладони вспотели, ноги были как ватные. Он нес рюкзачок Шарлотты Исабель, битком набитый всем, что она привезла с собой в Берген, плюс еще тем, что ей подарили на день рожденья. Плакат со «Спайс-Гёрлз» они оставили висеть в ее комнате, и девочка оторвалась от него с тяжелым сердцем, но Ярле уверил Лотту в том, что он не станет вешать там снова портрет строгого немца. «Нет-нет, — сказал он, — «Спайс-Гёрлз» никто и пальцем не тронет, этому плакату обеспечено коронное место в комнате, которая навсегда останется твоей».

«Заболеваю я, что ли?» — подумал он и попробовал разобраться в своих ощущениях.

Но вроде бы и на это не было похоже, скорее, он чувствовал какое-то рассеянное по всему телу неприятное ощущение, что-то такое, что ему не удавалось полностью ухватить, словно в теле у него вдруг завелась стайка ласточек. Из-за того ли это, что они с Анеттой переспали друг с другом? Нет, не из-за этого же! Он посмотрел на нее украдкой. Она открыла сумку, бежевую дамскую сумочку, и, достав темные очки, нацепила их на нос. Чуть-чуть странно было сегодня встать и смотреть, как она накладывает косметику, закалывает волосы, как она чистит зубы, готовит завтрак для дочери — батон и сырок, но нет, не это мучило его.

Лотта шла между родителями. Анетта расчесала ей спутавшиеся за ночь волосы и заплела из них смешные, как у Пеппи Длинныйчулок, косички, подскакивавшие у нее на голове, когда она время от времени начинала подпрыгивать в своих легких туфельках. Она шла в своей лиловой курточке, за спиной у

нее висел розовый рюкзачок-яблоко, и в одной руке она держала свою пони. Тамагочи, сытые и удовлетворенные, так как она целое утро провозилась с ними, лежали в разных карманах куртки.

Когда они поднялись на вершину холма Ньюгорс-хёйден, Лотта отдала пони бабушке и протянула одну руку Ярле, а другую Анетте. Неприятное ощущение все разрасталось в его теле, между желудком и сердцем росла какая-то пустота, и, когда девочке захотелось, чтобы они сосчитали «и раз, и два, и три» и подкинули ее в воздух, он почувствовал, как убыстрятся его пульс.

— И раз, и два, и-и-и-и... три!

Ноги Шарлотты Исабель взлетели к небу, затылок запрокинулся, и она завизжала от восторга.

— Я все думаю, что теперь с принцессой Дианой? — сказала Лотта, когда они у отеля «Норвегия» садились в идущий в аэропорт автобус.

— А, она наверняка на небе, я думаю, ей там хорошо. — Анетта достала деньги.

Сара положила свою руку на руку Анетты и настояла на том, чтобы заплатить за всех, и он слышал, пока они рассаживались в автобусе, как Лотта вздохнула и сказала:

— Да-а. Жалко, что нельзя ходить в гости к тем, кто уже на небе.

Ярле не стал возражать, хоть и считал, что глупо прививать детям представления, которые они не могут воспринять критически.

В автобусе он оказался на сиденье рядом с Сарой, девочки сидели рядом с ними через проход, и он повернул голову к окошку. На небе ни облачка. Только прозрачный мелькающий белый свет. Он слышал, как чуть в стороне от него разговаривают Анетта и Лотта; он же смотрел, как мимо проплывает Берген; он смотрел, как город исчезает, будто никогда больше не вернется. Ему слышны были их голоса — голос Анетты, его незамысловатое и красивое звучание, и голос Лотты, который был таким светлым и легким.

Они беседовали о пингвинах, как слышал он, о пингвинах, и карнавале, и принцессе Диане.

Он сглотнул. Это было неприятно. Его подташнивало. Подташнивало, и он ощущал какое-то беспокойство.

— Папа!

Он обернулся.

Лотта перегнулась через подлокотник:

— Бабушка!

Сара посмотрела на свою внучку.

— Вы же можете просто поехать с нами! Правда же, мама, они могут просто поехать с нами? Им же не обязательно оставаться здесь, ведь правда? Мы же можем купить билеты на самолет и для них, и тогда они тоже с нами полетят, и вы можете спать у нас дома на диване, и мы вам покажем наш дом, и мы ведь можем устроить деньрождение еще раз? Правда, мама, правда ведь можно? — Лотта смотрела на Анетту большими глазами, исполненными надежды, она посмотрела на бабушку, кивая всей верхней частью тела, и она улыбнулась Ярле, обнажив промежутки между зубами.

Они стояли рядышком, глядя на табло, показывающее время отправления.

— Вон, — сказала бабушка. — Вот это твой самолет. Берген — Осло. Тринадцать пятьдесят.

Лотта сказала, что она пока умеет читать не все буквы, но что когда они увидятся в следующий раз, когда она приедет в Ставангер навестить бабушку, например, или когда бабушка приедет в Шеен навестить ее, например, то она наверняка сумеет прочитать ей целую книжку. Лотта внезапно замолчала, взгляд ее заволокла белесая пелена, примерно как стакан заполняется молоком, и она повернулась к Ярле:

— Папа, ты же недорассказал мне историю про принцессу до конца!

Ярле, у которого было теперь такое ощущение, что весь живот похолодел, сглотнул, посмотрев на нее:

— Разве недорассказал?

— Нет! Конечно недорассказал!

Он заморгал:

— А может, и правда недорассказал?

— Нет! Она вот пришла в то место, в ту долину, где она собиралась отдохнуть после долгого пути, и там она присела отдохнуть, но тут она увидела что-то такое... такое... там что-то такое страшное было, папа! Ты сам сказал! Что-то такое... да, что-то страшное...

Ярле посмотрел на дочь. Многими чертами лица, казалось, она походила на мать, в то время как пухловатые губы были не совсем такими, как у Анетты, а глаза — такие глаза он видел у себя самого.

В горле встал ком.

— А знаешь что, Лотта? Я вот подумал: если ты хочешь узнать, что было дальше, то приезжай ко мне опять. Приедешь?

Лотта кивнула:

— Да.

Когда они зарегистрировали багаж, Лотте понадобилось в туалет. Сара сказала, что может проводить ее, и Лотта обрадовалась этому. Ярле и Анетта остались стоять возле эскалатора.

— И что? Ну, как теперь-то будет, а? — Он пропускал под пальцами движущиеся поручни.

— А? Не знаю, вообще-то. — сказала Анетта. — Нам надо, наверное...

— Да-а.

— Я хочу сказать, будем на связи, хорошо?

Он кивнул.

— Я не знаю... — Она замолкла на минутку. — Я хочу сказать, я не знаю, насколько... ну, насколько ты сможешь быть отцом, как ты думаешь?

Он поднял на нее глаза.

Насколько он сможет быть отцом? Он опять сглотнул, неприятное ощущение в теле усилилось, холод растекся по рукам и добрался до висков.

— Да я и сам толком не знаю, пожалуй.

— Но... вы же хорошо ладили с Лоттой, разве нет?

Он огляделся. Он видел прибывающих пассажиров, и он видел улетающих пассажиров, он видел людей с чемоданами, людей с рюкзаками, людей, поглядывавших на наручные часы, папашу, который тащил за собой ревущего малыша, молодую женщину, торопливо прошедшую мимо них с измученным выражением на лице.

— Когда она приехала... — сказал он, и у него возникло ощущение, что он находится вне собственного тела. — Когда она приехала, я не был этому рад. Когда ты мне прислала то письмо, я разозлился, и все.

— Ты понимаешь? Я просто рассердился. Я просто не мог поверить, что ты... мне это показалось невероятным... Ну, не знаю. Всю неделю я думал, что это всего одна неделя в моей жизни, и я в общем-то просто ждал, когда она закончится, понимаешь? Что она закончится, и я смогу снова заняться своими делами, и что все это снова исчезнет из моей жизни.

Анетта смахнула слезинку, которая застыла на краешке века.

— А вчера-то хорошо же было, — прошептала она.

Он кивнул в третий раз:

— Меня не было там, когда она была маленькая.

— Нет, — прошептала она. — Тебя там не было.

— Я не хочу, чтобы вы уезжали, — сказал он.

Они поднимались по эскалатору и Лотта смеялась, потому что эскалатор — это так весело, самая веселая штука в мире,

сказала она. Дома, в торговом центре, она всегда каталась на эскалаторе вместе с отцом, и отец всегда называл эскалатор поскакатором.

Они подошли к контролю безопасности.

— Ну что же, пора прощаться. — Анетта обняла Сару и сказала, что было очень приятно с ней познакомиться. Она взяла ее руку в свою и сказала, что очень бы хотела видиться с ней почаще.

— Милая моя! — Сара погладила ее по щеке. — Я же Лоттина бабушка. Берегите себя, девочки мои!

Ярле и Анетта смущенно обнялись, и оба почувствовали, прижавшись друг к другу, легкую дрожь в теле и вспомнили, чем они занимались накануне вечером.

Лотта повисла у бабушки на шее и сказала, что она ее любит не меньше, чем других бабушку с дедушкой, и Сара не удержалась и заплакала:

— Девочка моя, что-то бабушка совсем разнунилась.

— Ну вот, нам теперь пора, — сказала Анетта.

Ярле опустил на корточки:

— Шарлотта Исабель.

Лотта сделала несколько шажков вперед и встала перед ним. Она покачивалась с боку на бок на внешних краешках туфелек и сконфуженно смотрела в пол.

— Папа!

— Мм?

— А хочешь, я тебе дам одного своего тамагочи?

— Хочу, — сказал он и услышал, у него задрожал голос.

— А кого ты хочешь тогда — Шарлотту или Исабель?

— Ну, — сказал он, — это уж ты сама решай.

Она достала их из кармана, повертела в руках, вертела и оценивающе разглядывала, потом протянула одного ему и сказала, что даст ему Исабель. Ярле принял дар и сказал, что это очень щедрый подарок, и у Лотты задрожали уголки губ, и она заплакала и сказала, что будет очень по нему скучать и что он должен очень внимательно следить за Исабель, чтобы она не умерла, а если она начнет умирать, то пусть он позвонит ей, сказала она, пусть он тогда сразу позвонит, тогда она скажет, что он должен сделать.

Они прошли контроль безопасности. Ярле слышно было, как его дочь говорит одному из охранников, что у них нет с собой ничего опасного, одни только подарки, и, когда она вышла с другой стороны, она обернулась и посмотрела на него.

Он поднял руку и помахал.

Сара прижала обе ладони к губам.

Лотта улыбнулась во весь рот и помахала обоим, и Ярле подумал: «Я твой папа, Шарлотта Исабель Хансен».

Они скрылись из виду.

Он тяжело вздохнул и посмотрел на Сару. Она кивнула ему. Что уж тут скажешь? Они тихонько пошли к эскалатору.

— Ведь будет день и завтра!

Ярле остановился. Он повернул голову.

За рамкой контроля безопасности стояла маленькая девочка, которой только что исполнилось семь лет. Она помахала рукой, и она крикнула как можно громче:

— Ведь будет день и завтра, папа!

И убежала.

О романе

Туре Ренберг — один из самых популярных сегодня норвежских писателей, автор сборников рассказов, книг для детей и романов; кроме того, Ренберг — авторитетный литературный критик и профессиональный музыкант. Первая же книга Ренберга, изданная в 1994 году (сборник новелл «Спящий клубок»), получила премию за лучший литературный дебют, и с тех пор практически каждая его новая публикация отмечена престижными наградами. Наибольшей любовью читателей пользуется серия романов Ренберга о молодом человеке по имени Ярле Клепп, и в первую очередь роман «Шарлотта Исабель Хансен», который в 2008 году был признан самой успешной книгой года и удостоен премии книготорговцев (Booksellers' Prize), хотя соперничать ему пришлось с произведениями таких признанных мастеров, как Эрленд Лу, Ю Несбё и Ларе Соби Кристенсен. Роман издан на десяти языках и уже экранизирован. Восторженно принявшие роман читатели и критики разных стран усматривают в книгах Туре Ренберга некоторое сходство с творчеством англичанина Ника Хорнби («Hi-Fi», «Мой мальчик»).

notes

Примечания

«Кто-то должен пойти к людям, должен любить людей и стараться показать им свою любовь» (англ.) — слова леди Дианы из ее телевизионного интервью. — *Здесь и далее примеч. переводчика.*

Роберт Фредерик Зионн Гелдоф (р. 1951) — ирландский музыкант, актер, общественный деятель.

Шевр — нежный сыр из козьего молока.

Акевит — национальная норвежская водка.

Liberte, Egalite, Fraternite, ou la Mort: «Свобода, Равенство, Братство — или Смерть» (*фр.*) — лозунг Великой французской революции.

Морис Бланшо (1907–2003) — французский писатель, мыслитель, эссеист.

Я девочка-Барби в мире Барби, давай, Барби, пошли зажигать!
(англ.)

Мой маленький пони! (*англ.*) — Имеется в виду игрушка, созданная в конце 80-х годов по мотивам популярных мультсериалов.

«Девичья власть» (*англ.*) — название песни группы «Спайс-Гёрлз».

«Три исследования о Гегеле. Аспекты, Опытное содержание, Skoteinos, или Как следует читать Гегеля» — одна из известнейших работ Теодора В. Адорно (1903–1969), немецкого философа и социолога Франкфрутской школы.

Хассе цитирует отрывки из стихотворения еврейского немецкоязычного поэта Пауля Целана из сборника «Роза никому»:

Все по-другому, не так, как ты думаешь, не так, как я думаю,
знамя все еще веет,
малые тайны все еще у себя,
тень их отброшена, ею
жив ты, жив я, живы мы.
(Пер А. Глазовой).

Не правда ли? (*фр.*)

Ах, ну конечно, конечно (*фр.*).

Ах нет, нет (*фр.*)

Я не знаю! (фр.)

Чайку, друг мои? (*фр*)

Благодарю (*фр.*).

Благодарю (*фр.*)

«Приправь свою жизнь перчиком» (*англ.*) — песня «Спайс-Гёрлз»

«Первый виртуальный домашний питомец» (англ.).

Тур Ульвен (1953–1995) — культовый норвежский поэт, творчество которого проникнуто экзистенциальным пессимизмом в духе Шопенгауэра.

Не жалею ни о чем (*фр.*).

«Значимость утраченной памяти» (*англ.*) — аллюзия на цикл из шестнадцати романов М.Пруста «В поисках утраченного времени».

«Если хочешь быть моим возлюбленным» (*англ.*) — песня группы «Спайс-Гёрлз».

Энни — персонаж популярного одноименного американского мюзикла для детей, обаятельная сиротка.

Папаша Ворбакс — персонаж американского мюзикла «Энни», богатый промышленник, приютивший сиротку Энни.

«Кью» (The Cure) — английская рок-группа.

«Завтра» — песня из мюзикла *«Энни»*.

Тамагочи — это крошечный домашний питомец из киберпространства, которому, чтобы выживать и расти, необходима твоя любовь (*англ.*).